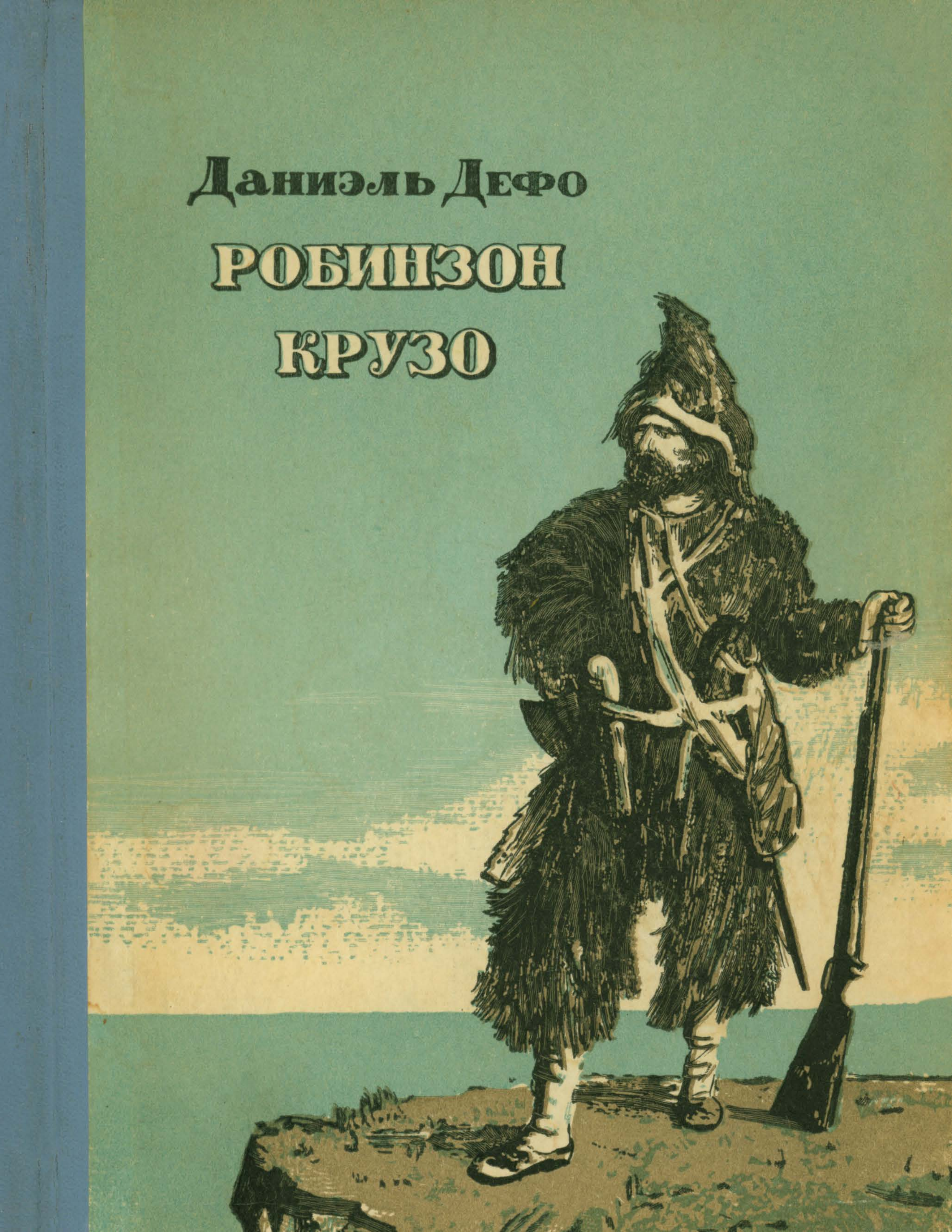

Даниэль Дефо
РОБИНЗОН
КРУЗО

ДАНИЭЛЬ ДЕФО

ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО

моряка из Иорка,
написанные
им самим

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО БССР
Редакция юношеско-детской литературы
Минск 1954



РИСУНКИ ЖАНА ГРАНВИЛЯ



ГЛАВА I

Я родился в 1632 году. Мой отец занимался торговлей; он жил в Гулле, а впоследствии, оставив дела, переселился в Иорк.

У меня было два старших брата. Один служил в английском пехотном полку и был убит в сражении с испанцами под Дюнкирхеном. Что сталось со вторым моим братом — не знаю.

Отец мой дал мне довольно хорошее образование; сначала я учился дома, затем окончил городскую школу. Отец прочил меня в юристы, но я и слышать не хотел об этом. Я обладал пылким воображением; с малых лет я только и думал, что о путешествиях в дальние заморские страны. С годами эта страсть всецело заполонила меня; я решил во что

бы то ни стало осуществить свою заветную мечту и отправиться в плаванье.

Отец мой, человек степенный и умный, догадывался о моих намерениях и очень ими огорчался. Однажды утром он позвал меня в свою спальню, которую давно уже не покидал из-за тяжёлой болезни, и принялся меня увещевать. Он спросил, какие другие причины, кроме дурных, бродяжнических наклонностей, могут побуждать меня покинуть отчий дом и родную страну, где мне нетрудно выйти в люди, приобрести видное положение и жить в довольстве. Не лучше ли, говорил он, умоляюще простирая ко мне руки, пройти свой жизненный путь тихо и спокойно, чередуя труд с приятными развлечениями, нежели ринуться очертя голову, в омут нужды, страданий, неописуемых бедствий? Не тягчайшее ли это из безумств — обречь себя на существование, полное приключений, невзгод, смертельных опасностей?

Отец говорил долго, с жаром. Просьбы образумиться, бросить ребячество, не покидать престарелых родителей перемежались с горестными предостережениями.

— Придёт время, — закончил он, — когда ты горько пожалеешь о том, что остался глух к моим советам, но тогда уже будет поздно; некому будет помочь тебе в беде, и ты неминуемо погибнешь.

При последних словах слёзы заструились из глаз старика, и, закрыв лицо руками, он от волнения оборвал свою речь.

Я был искренно растроган его увещаниями — да и кого бы они не тронули? Я твёрдо решил бросить мысль о путешествиях и остаться на родине, как этого желали отец и мать. Но все мои старания совладать с собой были тщетны; я не мог превозмочь страсти к морю. И вот, через несколько недель после моей беседы с отцом, я, во избежание новых уговоров, порешил тайно бежать из дому Всё же я сделал последнюю попытку добиться согласия родителей: выбрав время, когда моя мать, как мне показалось, была в спокойном и весёлом расположении духа, я сказал ей, что мои помыслы всецело поглощены желанием видеть чужие края; если, в угоду родителям, я пристроюсь к какому-нибудь делу, у меня всё равно не хватит терпения заниматься им; пусть лучше, убеждал я её, отец отпустит меня добровольно, не то я буду вынужден обойтись без его разрешения. Я напомнил матушке, что мне уже восемнадцать лет, а в эти годы поздно учиться ремеслу и поздно готовиться в

юристы. Если даже, уступив настояниям отца, я определюсь в писцы к стряпчему, всё равно я заранее могу сказать, что убегу от своего хозяина, не дотянув срока обучения, и уйду в море. Я просил мать воздействовать на батюшку: пусть он позволит мне предпринять одно-единственное путешествие по морю: если жизнь мореплавателя придётся мне не по вкусу, я вернусь домой и никуда уже не уеду; и я давал ей слово удвоенным прилежанием наверстать потерянное время.

Мои слова сильно разгневали матушку. Она сказала, что бесполезно заговаривать с отцом об этом, так как он отлично понимает, в чём моя польза, и не согласится отпустить меня. Она удивлялась, как я ещё могу думать о подобных бреднях после моей беседы с отцом, который убеждал меня так кротко и нежно. Конечно, прибавила она, если я хочу себя погубить, родители бессильны воспрепятствовать этому; но я могу быть уверен, что ни она, ни отец никогда не дадут своего согласия на мою затею.

Впоследствии я узнал, что хотя матушка и отказалась ходатайствовать за меня перед отцом, однако передала ему наш разговор от слова до слова. Озабоченный таким оборотом дела, отец со вздохом сказал ей:

— Мальчик мог бы быть счастлив, оставшись на родине; но если он пустится в чужие края, он будет самым жалким, самым несчастным существом, какое когда-либо рождалось на земле. Нет, я не могу дать ему своё согласие.

Только без малого через год после описанных переговоров я вырвался на волю. В течение всего этого времени я упорно оставался глух ко всем предложениям заняться каким-нибудь ремеслом или поступить на службу и зачастую упрекал отца и мать в том, что они не дают мне избрать то занятие, к которому меня влекут мои природные склонности.

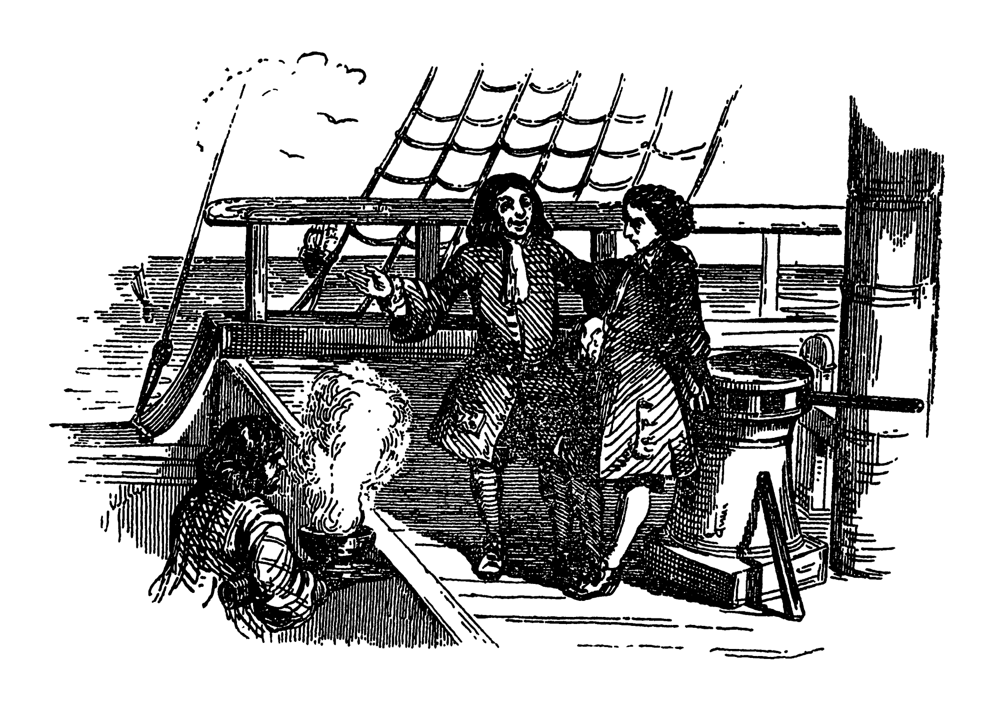
Однажды, когда я был в Гулле, куда заехал случайно, на сей раз без всякой мысли о побеге, один мой приятель, отправлявшийся в Лондон на корабле своего отца, стал уговаривать меня уехать с ним, пуская в ход обычную у моряков приманку, что проезд мне ничего не будет стоить. И вот, не спросясь ни у отца, ни у матери, даже не уведомив их ни единым словом, ни минуты не подумав о том, какие последствия может повлечь за собой мой опрометчивый поступок, я в недобрый — видит бог! — час, первого сентября 1651 года, взошёл на корабль моего приятеля, отправлявшийся в Лондон. Никогда, я думаю, бедствия мо-

лодых искателей приключений не начинались так рано и не продолжались так долго, как мои. Не успел наш корабль выйти из устья Эмбера, как подул сильный ветер и началась жесточайшая качка. До того дня я никогда не бывал в море и не могу выразить, до чего мне стало плохо и какое смятение я испытывал. Только тогда я серьёзно задумался над тем, как бессовестно я поступил, тайно покинув престарелых родителей и нарушив сыновний долг. Все добрые советы стариков, слёзы отца, мольбы матери ожили в моей памяти, и совесть сурово упрекала меня за пренебрежение к их увещаниям.

Тем временем ветер крепчал, и по морю ходили высокие волны; хотя эта буря и отдалённо не походила на то, что я много раз испытал впоследствии, и даже на то, что мне довелось увидеть спустя несколько дней, но и этого волнения было достаточно, чтобы ошеломить такого новичка, ничего не смыслившего в морском деле, каким я был тогда. Всякий раз, когда на корабль обрушивалась волна, я ждал гибели, и всякий раз, когда корабль скатывался с гребня волны, я был уверен, что морская пучина поглотит нас. И в этой му́ке душевной я поминутно клялся, что если только судьба пощадит меня, если нога моя снова ступит на твёрдую землю, — я тотчас же вернусь под родительский кров и никогда, покуда жив, не ступлю больше на корабль; я клялся последовать отцовскому совету и никогда больше не подвергать себя тем невзгодам, какие переживал в эти страшные часы.

Однако этих трезвых и благоразумных мыслей хватило у меня ровно на то время, покуда длилась буря; на другое утро ветер стал стихать, волнение несколько улеглось, и я начал понемногу привыкать к морю. Всё же, я ещё весь этот день был грустен и сосредоточен (впрочем, я не совсем ещё оправился от морской болезни). Но к концу дня погода прояснилась, ветер прекратился, и наступил чудесный тихий вечер; солнце зашло без единой тучки и на другое утро встало такое же ясное; впервые в жизни увидел я эту чарующую, восхитительную картину — бескрайную водную гладь, озарённую ярким солнцем.

Ночью я отлично выспался, морскую болезнь как рукой сняло. Я был очень весел и с удивлением смотрел на море, которое ещё вчера грозно бушевало и ревело, а затем в такое короткое время затихло и приняло столь привлекательный вид. И тут-то, словно для того, чтобы заставить меня навсегда забыть все благие намерения, ко мне подошёл мой при-



ятель, уговоривший меня ехать с ним, и, хлопнув меня по плечу, весело сказал:

— Ну что, Боб, как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Бьюсь об заклад, — не на шутку испугался, а? Признайся, ведь испугался вчера, когда задул ветерок?

— Ветерок? Хорош ветерок! Я и представить себе не мог такой страшной бури.

— Бури? Ах ты, дурачок! По-твоему, это буря? Да что ты! Это сущая безделица! Дай нам хорошее судно да побольше простору — мы такого пустяка и не заметим! Ну, да ты ведь ещё неопытный моряк, Боб. Пойдём-ка лучше, сварим себе пунш и забудем обо всём. Взгляни, какой чудесный день!

Чтобы сократить эту печальную часть моей повести, скажу прямо, что дальше пошло, как принято у моряков: сварили пунш, началась пирушка, я напился почти допьяна и потопил в вине все покаянные мысли о прошлом моём поведении и все благие намерения, принятые на буду-

щее время. Словом, так же, как после бури волны улеглись и на море наступило полное спокойствие, так утихло и моё смятение. Страх перед гибелью в бездне морской исчез, прежние мои желания проснулись с удвоенной силой, и все клятвы, все обещания, которые я давал себе в те страшные часы, были начисто позабыты. Правда, иной раз эти покаянные мысли ещё тревожили меня, но я гнал их прочь, боролся с ними, словно с приступами болезни, и, беспечно пьянствуя в весёлой компании, скоро восторжествовал над этими, как я их называл, припадками; в какие-нибудь пять-шесть дней я одержал такую полную победу над своей совестью, какой только может пожелать себе юнец, решившийся не обращать на неё внимания.

На шестой день по выходе в море мы пришли на Ярмутский рейд[1]. Ветер после бури всё время был встречный, так что мы подвигались очень тихо. В Ярмуте мы были вынуждены бросить якорь и простояли семь или восемь дней, дожидаясь попутного ветра, чтобы войти в реку. За это время на рейд пришло много судов из Ньюкастля. Впрочем, мы не простояли бы так долго и вошли бы в реку вместе с приливом, если бы ветер не крепчал с каждым днём. Но Ярмутский рейд считается такой же хорошей стоянкой, как и гавань, а якоря́ и якорные канаты у нас были надёжные; поэтому наши люди, не ожидая никакой опасности, нимало не тревожились и по обычаю моряков делили свой досуг между сном и развлечениями. Однако на восьмой день утром ветер ещё усилился, и на судне закипела работа: нужно было как можно скорее убрать стеньги[2] и принять все меры к тому, чтобы судно могло безопасно держаться на рейде. К полудню начался шторм; корабль стало сильно раскачивать; он несколько раз черпнул воду бортом, и раза два нам показалось, что нас сорвало с якоря. Тогда капитан приказал бросить второй якорь. Таким образом, мы держались против ветра на двух якорях.

Тем временем море разбушевалось во всю. Растерянность и страх читались теперь даже на лицах бывалых моряков. Я несколько раз слышал, как сам капитан, проходя по палубе, бормотал вполголоса: «Нам

---

[1] **Рейд** — водное пространство у берега моря, представляющее собой удобную якорную стоянку для судов.

[2] **Стеньга** — вертикальный брус, составляющий продолжение мачты.

не сдобровать! Мы погибли!», что не мешало ему, однако, умело распоряжаться и зорко наблюдать за работами по спасению корабля. В первые минуты переполоха я оцепенел от ужаса: я неподвижно лежал в своей каюте под лестницей и даже не отдавал себе отчёта в том, что́ я чувствовал. Затем, сделав над собой огромное усилие, я вышел из каюты на палубу; никогда в жизни не приходилось мне видеть такой зловещей картины: по морю ходили пенящиеся валы вышиной с гору, и каждые три-четыре минуты на нас опрокидывалась такая гора. Когда, собравшись с духом, я оглянулся вокруг, я понял, в каком мы бедственном положении. На двух тяжело нагруженных суднах, стоявших на якоре неподалёку от нашего корабля, матросы обрубили все мачты, чтобы облегчить вес. Кто-то из наших матросов крикнул, что корабль, стоявший впереди, в полумиле от нас, затонул. Ещё два судна, на которых не оставалось ни одной мачты, сорвало с якорей и унесло в открытое море, на волю разъярённой стихии. Мелкие суда держались лучше других, но два или три из них тоже унесло в море, они промчались мимо нас, едва не задев наш корабль бортами.

Вечером штурман и боцман заявили капитану, что для спасения судна нужно срубить фок-мачту[1]. Капитану очень этого не хотелось, но боцман стал доказывать ему, что если фок-мачту оставить, судно затонет, и он согласился; а когда снесли фок-мачту, грот-мачта[2] начала так качаться и так сильно раскачивать судно, что пришлось снести и её.

Можете судить, что́ должен был испытывать всё это время я — совсем новичок в морском деле, незадолго перед тем так испугавшийся небольшого волнения. Но самое худшее было ещё впереди. Буря продолжала свирепствовать с неимоверной силой; по признанию самих моряков, им никогда не случалось видеть такого ненастья. Судно у нас было крепкое, но из-за тяжёлого груза глубоко сидело в воде, и его так немилосердно качало, что на палубе поминутно вопили: «Сейчас нас захлестнёт!». Пожалуй, для меня было большим благом, что я не вполне ещё понимал значение этого слова. Буря бушевала всё неистовее. В довершение всех бедствий вдруг среди ночи один из матросов, спустившись в трюм поглядеть, всё ли там в порядке, закричал, что судно дало

[1] Фок-мачта — передняя мачта на корабле.
[2] Грот-мачта — средняя мачта.

течь, а через несколько минут другой донёс, что вода поднялась уже на четыре фута[1].

Тогда раздалась команда: «Все к помпам!». Когда я услыхал эти слова, у меня замерло сердце, и я от страха упал навзничь на палубу. Но матросы растолкали меня, говоря, что если до сих пор я только мозолил им глаза и от меня не было никакого проку, то хоть теперь-то я должен потрудиться наравне со всеми. Я встал, подошёл к помпе и усердно принялся выкачивать воду. В это время несколько мелких грузовых судов, которые не могли выстоять против ветра, снялись с якоря и вышли в открытое море. Когда они проходили мимо нас, капитан приказал выпалить из пушки, чтобы дать знать, в какой мы смертельной опасности. Не понимая значения этого выстрела, я вообразил, что судно наше разбилось или вообще случилось что-то ужасное; словом, я так испугался, что лишился чувств. Но так как каждому тогда было впору заботиться о спасении собственной жизни, то на меня не обратили внимания, и никто не поинтересовался узнать, что́ со мной приключилось. Какой-то матрос стал к помпе на моё место, отодвинув меня ногой и оставив лежать без помощи; все были уверены, что я умер; прошло немало времени, пока я очнулся и снова взялся за работу.

Мы продолжали качать, но вода поднималась в трюме всё выше. Было очевидно, что корабль затонет, и хотя буря начинала понемногу стихать, однако не было надежды, что он сможет продержаться на воде, покуда мы войдём в гавань; капитан продолжал палить из пушки, взывая о помощи. Наконец одно мелкое судёнышко, стоявшее впереди, рискнуло спустить шлюпку, чтобы спасти нас. Люди изо всех сил гребли по бурлящим волнам, рискуя своей жизнью ради спасения нашей. Шлюпка приблизилась к нашему кораблю, но из-за сильного волнения не могла к нему причалить. Тогда наши матросы бросили длинный канат с буйком. После долгих напрасных попыток матросам шлюпки удалось наконец поймать конец каната. Мы подтянули шлюпку под нашу корму и все до единого спустились в неё. Но буря не стихала, и добраться до судна, пославшего нам шлюпку, не было никакой возможности. Поэтому, с согласия экипажа шлюпки, было решено грести по ветру, стараясь, насколько возможно, держать ближе к берегу. Наш ка-

---

[1] Фут — около трети метра

питан обещал матросам шлюпки, что заплатит за неё их хозяину, если она разобьётся о прибрежные скалы. Итак, частью на вёслах, частью подгоняемые ветром, мы направились к северу в сторону Уинтертон-Несса, постепенно заворачивая к земле.

Не прошло и четверти часа с той поры, когда мы отчалили от корабля, как он на наших глазах стал погружаться в воду. И тут-то впервые я понял, что́ значит слово «захлестнёт». Должен, однако, сознаться, что я только мельком взглянул на тонущий корабль, ибо с момента, когда я сошёл, или, лучше сказать, когда меня втащили в шлюпку, я был в полубесчувственном состоянии — частью от страха, частью от мыслей о ещё предстоящих мне злоключениях.

Покуда люди усиленно работали вёслами, чтобы направить шлюпку к берегу, мы всякий раз, когда её подбрасывало волной, могли видеть, что́ там делается: на взморье собралась большая толпа, все суетились и бегали, готовясь подать нам помощь, когда мы подойдём поближе. Но мы подвигались очень медленно и добрались до земли, только пройдя Уинтертонский маяк; там, между Уинтертоном и Кромером, береговая линия загибается к западу, и её выступы несколько умеряют силу ветра. Здесь мы пристали и, с великим трудом, но всё-таки благополучно выбравшись на сушу, пошли пешком в Ярмут. В Ярмуте к нам отнеслись весьма участливо: городские власти отвели нам хорошие помещения, а частные лица — купцы и судовладельцы — снабдили нас деньгами в достаточном количестве, чтобы доехать до Лондона или до Гулля, — куда мы захотим.

О, почему мне не пришло тогда в голову вернуться в Гулль, а оттуда в родительский дом! Как все мы, и родители и я сам, были бы счастливы! Трезвый голос рассудка настойчиво призывал меня вернуться домой, но я не в силах был побороть своё влечение к путешествиям и не внял ему. Снова я пошёл наперекор трезвым доводам и внушениям разума и пренебрёг тем столь наглядным уроком, который получил при первой же попытке вступить на новый путь.

Сын нашего судохозяина, мой приятель, так решительно помогавший мне укрепиться в моём пагубном решении, присмирел теперь больше меня: в первый же раз, как он заговорил со мной в Ярмуте — это случилось только через два или три дня после нашего спасения, так как нас поместили в разных домах, — я заметил, что тон его резко изменился

и что он, повидимому, сильно удручён всем, что произошло. Хмуро покачивая головой, он спросил меня, как я себя чувствую. Объяснив своему отцу, случайно оказавшемуся в Ярмуте, кто я такой, он рассказал ему, что я предпринял это плаванье в виде опыта, в будущем же намереваюсь объездить весь свет. Тогда его отец с озабоченным, суровым видом сказал мне: «Молодой человек! Вам больше никогда не следует пускаться в море: видно, вам не суждено быть мореплавателем».— «Почему же, сэр?— возразил я.— Разве вы тоже не будете больше плавать?» — «Это другое дело, — отвечал он: — мореходство — моя профессия и, следовательно, моя обязанность. Но вы-то ведь пустились в море в виде опыта, и опыт этот был до крайности неудачен. Прошу вас, — прибавил он, — объясните мне толком, ктó вы такой и чтó побудило вас предпринять это плавание?» Я чистосердечно рассказал ему свою историю. Узнав, что я, пойдя против воли родителей, тайно покинул отчий кров и что старики терзаются неизвестностью о моей судьбе, он разгневался и всердцах сильно разбранил меня. Несколько успокоившись, он стал горячо убеждать меня воротиться домой. «Молодой человек! — сказал он в заключение. — Пусть это бедствие послужит вам на пользу, пусть то несчастье, свидетелем которого вы стали, будет вам жестоким, незабываемым уроком и побудит вас зажить той мирной, спокойной жизнью, к которой вас склонял отец».

Я не нашёлся, чтó возразить ему. Вскоре после того мы расстались, и я больше никогда его не видел. У меня было немного денег, и я отправился в Лондон сушей. И по дороге в Лондон, и в самом городе на меня часто находили сомнения; я подолгу раздумывал о том, какой род жизни мне избрать — воротиться ли домой, или пуститься в новое плавание.

Что касается возвращения в родительский дом, то стыд заглушал самые веские доводы моего разума: мне представлялось, как надо мной будут смеяться все наши соседи и как мне будет совестно смотреть в глаза не только отцу и матери, но и всем нашим знакомым. С тех пор я часто размышлял о том, до чего непоследовательна природа человеческая, особенно в молодые годы. Люди стыдятся не своих проступков, а признания в них и чистосердечного раскаяния, побуждающего к тем благородным делам, которые одни только могут исправить пагубные последствия дурных.

ГЛАВА II

В таком состоянии я пребывал довольно долго, не зная, что предпринять и какое избрать поприще Вернуться домой мне не хотелось. Пока я раздумывал, память о перенесённых бедствиях мало-помалу изглаживалась, ослабевал также и без того слабый голос рассудка, побуждавший меня вернуться к отцу; кончилось тем, что я отложил всякую мысль о возвращении и стал мечтать о новом путешествии

Вскоре мне представилась возможность пуститься в дальний путь; я сел на корабль, направлявшийся в Гвинею. Итак, я вновь стал странствовать

Вот как это случилось. Обычно молодые бездельники — а я в ту пору был таким бездельником — попадают в столице в дурную компанию, быстро сбиваются с пути и плохо кончают. Я избежал этой участи. Вскоре после приезда в Лондон у меня завязались дружеские отношения с одним капитаном, человеком честным и прямодушным, который незадолго перед тем плавал к берегам Африки, в Гвинею, где вёл торговлю с туземцами Этот рейс оказался очень прибыльным для него, и он собирался в скором времени снова отправиться туда Я ему понравился — в те годы я был приятным собеседником — и, узнав о моём непреодолимом желании повидать свет, он предложил мне ехать с ним, заверив, что мне это плаванье ничего не будет стоить, что на корабле я буду его гостем Он подал мне мысль захватить с собой кое-что для торговли и указал, какие именно предметы находят сбыт у туземцев.

Я принял это предложение и отправился в путь, захватив с собой небольшой груз По указаниям капитана, я закупил различных побрякушек и безделушек на сорок фунтов стерлингов Этими деньгами меня снабдили родственники, с которыми я был в переписке и которые, как я полагаю, убедили моего отца или, вернее, мать помочь мне хоть небольшой суммой в этом первом моём предприятии Благодаря полному бескорыстию моего друга-капитана, я в Гвинее продал этот товар с изрядным барышом.

Путешествие в Гвинею было, можно сказать, единственным удачным из всех моих начинаний; этим я обязан моему другу Он не ограничился тем, что взял меня на свой корабль В пути он, кроме того, занимался со мной математикой и навигационным делом; я научился вести

корабельный журнал, делать наблюдения и вообще узнал много такого, что необходимо знать моряку. Ему доставляло удовольствие передавать мне свои знания, а мне — учиться у него. Словом, в это путешествие я сделался и моряком, и купцом: я выручил за свой товар пять фунтов и девять унций золотого песку, за который, по возвращении в Лондон, получил без малого триста фунтов стерлингов. Эта удача преисполнила меня честолюбивыми мечтами.

Но даже и в это плаванье на мою долю выпало немало невзгод, и главное — я почти всё время хворал, схватив сильнейшую тропическую лихорадку, следствие нестерпимо жаркого климата; та местность, где мы дольше всего оставались, лежит между пятнадцатым градусом северной широты и экватором.

Итак, я сделался купцом, ведущим торговлю с Гвинеей. На моё несчастье, мой друг капитан вскоре по возвращении на родину умер, и я решил снова отправиться в Гвинею уже на свой страх и риск. Я отплыл из Англии на том же корабле, командование которым перешло теперь к помощнику умершего капитана. Это было самое злополучное путешествие, какое когда-либо предпринимал человек. К счастью, я взял с собой меньше ста фунтов из нажитого капитала, а остальные двести фунтов отдал на хранение вдове моего покойного друга, которая распорядилась ими весьма добросовестно; но в пути меня постигли несказанные бедствия.

Начались они с того, что однажды на рассвете за нашим кораблём, шедшим между Канарскими островами и материком Африки, погналось турецкое пиратское судно из Салеха. Оно неслось за нами на всех парусах. Мы тоже подняли паруса, но, видя, что пират нас догоняет и неминуемо настигнет через несколько часов, приготовились к бою. У нас было двенадцать пушек, у турок — восемнадцать. Около трёх часов пополудни разбойничий корабль нагнал нас, но пираты сделали большую ошибку: вместо того чтобы подойти к нам с кормы, они подошли с борта, где у нас было восемь пушек. Мы навели на их корабль все эти пушки и дали залп, после чего он отошёл немного подальше, ответив предварительно на наш огонь не только пушечным, но и ружейным залпом из двух сотен ружей. Впрочем, у нас никого не задело: ряды наши остались сомкнутыми. Затем враги снова приготовились к нападению, а мы — к обороне. Подойдя к нам на этот раз с другого борта,

пираты взяли нас на абордаж[1]. Человек шестьдесят ворвалось к нам на палубу, и все они первым делом бросились рубить мачты и снасти. Мы встретили их ружейной пальбой и пиками, и дважды очищали от них нашу палубу. Тем не менее, так как корабль наш был приведён в негодность и трое наших людей убито, а восемь ранено, то в заключение — я сокращаю эту печальную главу моего рассказа — мы принуждены были сдаться, и нас, несчастных пленников, отвезли в Салех — морской порт, принадлежащий маврам.

Участь моя оказалась менее горестной, чем я того опасался в первую минуту. Меня не увели, как остальных наших людей, в глубь страны, ко двору султана. Капитан пиратского корабля, напавшего на нас, решил сделать меня своим невольником, так как я был молод, проворен и ловок.

Итак, волею судьбы я из преуспевающего купца превратился в жалкого невольника. Эта разительная перемена сокрушила меня. Вот когда я вспомнил горькие слова моего отца, что придёт время, когда некому будет выручить меня из беды и утешить! Мне казалось: теперь-то меня постигла худшая из бед. Увы! то было лишь начало тех тяжких испытаний, через которые, как покажет продолжение моего рассказа, мне предстояло пройти. Мой новый хозяин, вернее сказать, — господин, взял меня к себе в дом, и я предполагал, что буду сопровождать его в предстоящих набегах пиратов на морские суда. Эта мысль была моим единственным утешением. Я твёрдо верил, что рано или поздно его изловит какой-нибудь испанский или португальский военный корабль, и тогда мне будет возвращена свобода. Но надежда моя скоро рассеялась, ибо, уходя в море, он оставлял меня дома присматривать за его садом и вообще исполнять чёрную работу, обычно возлагаемую на рабов; по возвращении же из набега он отправлял меня караулить своё судно.

С первого же дня неволи я ни о чём не думал, кроме побега. Карауля корабль, я ночи напролёт измышлял всевозможные способы вырваться на свободу, но не находил ни одного, который сулил бы успех. Да разве можно было надеяться, что такая попытка увенчается успехом? Ведь мне не у кого было искать помощи! Среди невольников не

---

[1] Взять на абордаж — значит зацепить борт неприятельского корабля баграми, чтобы приблизить его и взобраться на палубу.

было никого, кому я мог бы довериться. Я был совершенно одинок. Целых два года я изнывал в неволе, теша себя мечтою о свободе, но не видя и проблеска надежды на избавление.

В начале третьего года случилось одно происшествие, с новой силой оживившее во мне мысль о побеге, и я решил наконец предпринять попытку вырваться на волю.

Однажды мой хозяин оставался на суше дольше обыкновенного и не снаряжал свой корабль; я слыхал, что у него в ту пору не было денег. Сидя без дела, он постоянно, раз или два в неделю, а в хорошую погоду и чаще, выходил на ялике на взморье ловить рыбу. В каждую такую поездку он брал с собой меня и подростка-мавра, и мы развлекали его, как умели. А так как я, кроме того, оказался весьма искусным рыболовом, то иногда он посылал за рыбой меня с этим подростком — его звали Ксури — под присмотром старика-мавра, которому очень доверял.

И вот однажды, жарким тихим утром, мы вышли на взморье. Когда мы отплыли, поднялся такой густой туман, что мы потеряли берег из виду, хотя до него от нас не было и полутора миль Мы стали грести наобум, гребли весь день и всю ночь, и с наступлением утра увидели вокруг открытое море; оказалось, вместо того, чтобы приблизиться к берегу, мы отплыли от него по меньшей мере на шесть миль. В конце концов мы добрались до дому, хотя не без труда и с некоторой опасностью, так как с утра задул довольно свежий ветер; можно себе представить, как все мы проголодались

Наученный этим неприятным приключением, мой хозяин на будущее время решил быть осмотрительнее и объявил, что никогда больше не выедет на рыбную ловлю без компаса и без провизии После захвата нашего корабля он оставил себе самую большую нашу шлюпку с боковым парусом; теперь он приказал своему корабельному плотнику, тоже невольнику-англичанину, построить на этой шлюпке в средней её части небольшую рубку или каютку, как на барже; позади каютки он велел оставить место для одного человека, который должен был править рулём и управлять гротом, а впереди — для двоих, чтобы крепить и убирать остальные паруса Каютка была низенькая и очень уютная, довольно просторная, так что в ней можно было спать троим и разместить стол и шкафчики для провизии, там мой хозяин держал для себя хлеб, рис, кофе и бутылки со спиртными напитками.

Мы часто ходили за рыбой на этой шлюпке, и так как я был наиболее искусный рыболов, то хозяин никогда не выезжал без меня. Однажды он собрался в путь за рыбой или просто прокатиться, уж не помню, с двумя-тремя важными маврами. Для этой поездки он заготовил продовольствия больше обыкновенного и ещё с вечера отослал всё на шлюпку. Кроме того, он приказал мне взять у него на судне три ружья с необходимым количеством пороху и зарядов, так как помимо ловли рыбы им хотелось ещё поохотиться на берегу.

Я сделал всё, как он велел, и на другой день с утра ждал на шлюпке, вымытой до блеска и совершенно готовой к приёму гостей, с поднятыми вымпелами и флагом. Однако хозяин пришёл один и сказал, что его гости отложили поездку из-за какого-то важного дела. Затем он приказал нам троим — мне, Ксури и пожилому мавру — отправиться, как всегда, на взморье за рыбой и сразу принести улов к нему домой, так как его друзья будут ужинать у него. Я выслушал его, как всегда, с покорным, смиренным видом, но, как только он ушёл, начал поспешно готовиться не к рыбной ловле, а к дальнему путешествию. Наконец-то мне представился долгожданный случай бежать, и я твёрдо решил не упустить его. Ведь в моём распоряжении сейчас была отличная шлюпка. Я не только не знал, куда направлю свой путь, но и не задумывался над этим. Всякая дорога для меня была хороша, лишь бы вырваться из неволи.

Я прибег к хитрости: первым делом я внушил старику-мавру, что мы должны запасти побольше еды, так как хозяйскую провизию нам нельзя трогать. Он согласился со мной и немного погодя притащил в шлюпку большую корзину сухарей и печенья и три кувшина пресной воды. Я знал, где стоит у хозяина ящик с винами (захваченными, как это показывали ярлычки на бутылках, с какого-то английского корабля), и покуда мавр был на берегу, я переправил их на шлюпку и поставил в шкафчик, как будто они были ещё раньше приготовлены для хозяина. Кроме того, я принёс большой кусок воску, фунтов в пятьдесят весом, да прихватил моток пряжи, топор, пилу и молоток. Всё это очень нам пригодилось, особенно воск, из которого мы впоследствии делали свечи. Я пустил в ход ещё и другую хитрость, на которую мавр тоже попался по своему простодушию. Его имя было Измаил, а все звали его Моли, или Мули. Вот я и сказал ему:

«Моли, у нас в шлюпке есть хозяйские ружья. Что если бы ты добыл немножко пороху и зарядов? Может быть, нам удалось бы подстрелить себе на обед двух-трёх куликов. Хозяин держит порох и дробь на корабле, я это знаю». — «Хорошо, я принесу», — сказал он и принёс кожаный мешок с порохом, весом фунта в полтора, если не больше, и другой, где было фунтов пять-шесть дроби. Он захватил также изрядное количество пуль. Всё это мы уложили. Кроме того, в хозяйской каюте нашлось еще немного пороху, который я пересыпал в одну из бывших в ящике бутылок, предварительно опорожнив её. Запасшись, таким образом, всем необходимым для дороги, мы вышли из гавани на рыбную ловлю. Караульные сторожевой башни, охранявшей вход в гавань, знали, кто мы такие, и наше судёнышко тотчас пропустили. Отойдя от берега не больше как на милю, мы убрали парус и стали готовиться к ловле. Ветер был северо-северо-восточный, что не отвечало моим планам, потому что, дуй он с юга, я мог бы наверняка доплыть до испанских берегов, по крайней мере до Кадикса; но откуда бы ни дул теперь ветер, одно я твёрдо решил: не теряя ни минуты, убраться подальше от этого ужасного места, а остальное предоставить судьбе.

Прошло несколько часов; я нарочно не вытаскивал удочек, даже когда рыба клевала. Наконец сказал мавру: «Тут у нас дело не пойдёт; хозяин не поблагодарит нас за такой улов. Надо отплыть подальше». Не подозревая подвоха с моей стороны, мавр согласился, и так как он был на носу шлюпки, — поставил паруса. Я сел на руль, и когда шлюпка отошла мили на три в открытое море, лёг в дрейф [1], как будто затем, чтобы приступить к рыбной ловле. После этого я передал мальчику руль, подошёл к мавру сзади, нагнулся, словно рассматривая что-то, обхватил его обеими руками и бросил за борт. Мавр сейчас же вынырнул, потому что плавал, как пробка, и стал умолять о пощаде; он жалостно просил, чтобы я взял его на борт, клянясь, что поедет со мной хоть на край света. Плыл он так быстро, что догнал бы шлюпку очень скоро, так как ветра почти не было. Тогда я взял в каюте ружьё и прицелился в старика, говоря, что не желаю ему зла и не сделаю ему ничего дурного, если он оставит меня в покое. «Ты

[1] Лечь в дрейф — означает расположить паруса на судне так, чтобы оно оставалось почти неподвижным.



хорошо плаваешь, — продолжал я, — на море тихо, так что тебе ничего не стóит доплыть до берега, и я не трону тебя; но только попробуй подплыть близко к шлюпке, и я мигом прострелю тебе голову, потому что я решил любой ценой вернуть себе свободу». Тогда он поворотил к берегу и, я уверен, добрался до него без всякого затруднения, так как был отличным пловцом.

Когда он отплыл достаточно далеко, я повернулся к мальчику и сказал ему: «Ксури! Если ты будешь верен мне, я сделаю тебя боль-

шим человеком, но если ты не погладишь своего лица в знак того, что не изменишь мне (то есть не поклянёшься бородой Магомета и его отца), я и тебя брошу в море». Мальчик улыбнулся, глядя мне прямо в глаза, и отвечал так чистосердечно, что я не мог не поверить ему. Он поклялся, что будет мне верен и поедет со мной хоть на край света.

ГЛАВА III

Покуда мавр не скрылся из виду, я держал курс прямо в открытое море, лавируя против ветра. Я делал это нарочно, чтобы он, как и всякий здравомыслящий человек на его месте, подумал, что мы идём к Гибралтарскому проливу. В самом деле: можно ли было предположить, что мы намерены направиться на юг, к тем поистине варварским берегам, где целые полчища негров со своими ладьями окружили бы и убили бы нас, где стоило нам ступить на землю, и нас растерзали бы хищные звери или ещё более безжалостные дикие существа в человеческом образе?

Делая вид, что я направляюсь на северо-запад, к Гибралтару, я надеялся этим сбить погоню со следа. Но как только стало смеркаться, я изменил курс и стал править на юг, слегка уклоняясь к востоку, чтобы не слишком удаляться от берегов. Дул свежий ветерок, и наша шлюпка шла таким хорошим ходом, что на другой день в три часа пополудни, когда впереди в первый раз показалась земля, мы были уже не менее как на полтораста миль южнее Салеха, далеко за пределами владений марокканского султана, да и всякого другого из тамошних владык; по крайней мере, берег казался совершенно безлюдным.

Но натерпевшись страху у мавров, я так боялся снова попасться им в руки, что, пользуясь благоприятным ветром, целых пять дней плыл, не останавливаясь, не приставая к берегу, не бросая якоря. Через пять дней ветер переменился на южный, и так как, по моим соображениям, наши преследователи уже должны были отказаться от погони, то я решил подойти к берегу и стал на якорь в устье какой-то маленькой речки. Какая это была речка и где она протекает: в какой стране, у какого народа и под какой широтой, — я не имел понятия. Я не видел на берегу людей, да и не желал их увидеть; мне нужно было только запастись пресной водой. Мы вошли в эту бухточку под вечер и решили,

как только стемнеет, добраться вплавь до берега и осмотреть местность. Но когда наступили сумерки, с берега донеслись такие ужасные звуки— такой неистовый рёв, лай и вой неведомых диких зверей, что бедняга Ксури чуть не умер со страху и стал упрашивать меня не сходить на берег до наступления дня. «Хорошо, Ксури, — сказал я ему, — но, может быть, днём мы там увидим людей и от них нам придётся, пожалуй, ещё хуже, чем от тигров и львов». — А мы пальнём в них из ружья, — сказал он со смехом, — они и убегут». (От невольников-англичан Ксури, с грехом пополам, научился говорить по-английски). Я был рад, что мальчик так весел, и, чтобы поддержать в нём бодрость духа, дал ему хлебнуть вина из хозяйских запасов. Данный им совет в сущности был недурён, и я последовал ему. Мы бросили якорь, но бодрствовали всю ночь напролёт. Часа через два—три после того, как мы стали на причал, мы увидели на берегу огромных зверей — каких, мы и сами не знали: они подходили к самому берегу речки, бросались в воду, плескались и барахтались в ней, очевидно, чтобы освежиться, и при этом так отвратительно визжали, ревели и выли, как я в жизни никогда не слыхал

Ксури страшно перепугался, да, правду сказать, и я тоже. Но ещё больше испугались мы оба, когда услыхали, что одно из этих страшилищ плывёт к нашему судёнышку; мы не видели его, но по тому, как оно отдувалось и фыркало, могли заключить, что это было свирепое животное чудовищных размеров. Ксури утверждал, что это лев — быть может, так оно и было, по крайней мере, я не уверен в противном, — и кричал, что нужно поднять якорь и убраться подальше. «Нет, Ксури, — отвечал я, — нам незачем подымать якорь; мы только отпустим канат подлиннее и выйдем в море· они не погонятся за нами туда». Но не успел я это сказать, как увидел неизвестного зверя на расстоянии каких-нибудь двух вёсел от шлюпки. Признаюсь, я слегка струхнул, однако сейчас же схватился за ружьё; как только я выстрелил, животное повернуло назад и поплыло к берегу.

Невозможно описать, что за адский рёв и вой поднялись на берегу и дальше, в глубине материка, когда раздался мой выстрел. Отсюда я заключил, что здешние звери никогда не слыхали этого звука. Я окончательно убедился, что нам и думать нечего о высадке в этих местах в течение ночи, но можно ли будет рискнуть высадиться днём — тоже

было неизвестно; попасть в руки какого-нибудь дикаря не лучше, чем угодить в когти льву или тигру; по крайней мере, эта опасность страшила нас нисколько не меньше.

Но так или иначе, здесь или в другом месте — нам необходимо было сойти на берег, так как у нас не оставалось ни капли воды. И опять-таки возникал вопрос: где и как высадиться? Ксури объявил, что если я его пущу на берег с кувшином, то он постарается раздобыть пресной воды и принесёт её мне. А когда я спросил его, отчего же идти ему, а не мне, и отчего ему не остаться в лодке, в ответе мальчика сказалась такая искренняя привязанность, что я был глубоко растроган. «Если придут дикие люди, — сказал он, — то они съедят меня, а вы уплывёте». — «Так вот что, Ксури, — сказал я, — отправимся вместе, а если придут дикие люди, мы убьём их, и они не съедят ни тебя, ни меня». Я уговорил мальчика поесть сухарей и выпить немного вина; затем мы подтянулись поближе к земле и, соскочив в воду, направились к берегу вброд, не взяв с собой ничего, кроме оружия да двух кувшинов для воды.

Я не хотел удаляться от берега, чтоб не терять из виду шлюпку; я сильно опасался, как бы вниз по реке к нам не спустились в своих челноках дикари. Но Ксури заметил низинку на расстоянии приблизительно одной мили от берега и побежал туда с кувшином. Вдруг я увидел, что он мчится назад ко мне. Подумав, что за ним погнались дикари или он испугался хищного зверя, я бросился к нему на помощь, но, подбежав поближе, увидел, что через плечо у него висит что-то большое. Оказалось, что он убил какого-то зверька вроде нашего зайца, но другого цвета и с более длинными ногами. Мы оба были рады этой дичи, и мясо убитого животного оказалось очень вкусным; но ещё больше меня обрадовала новость, с которой спешил ко мне Ксури: он нашёл хорошую пресную воду и не видел диких людей.

Потом оказалось, что нам совсем не нужно было так хлопотать, чтобы достать пресной воды: в той самой речке, в устье которой мы стояли, только немного повыше, вода была совершенно пресная, так как прилив не очень далеко заходил в речку. Итак, наполнив наши кувшины, мы сготовили превкусный обед из убитого зайца и приготовились продолжать путь, не найдя в этой местности никаких следов человека.

Так как я уже побывал однажды в этих местах, то мне было хорошо известно, что Канарские острова и острова Зелёного Мыса недалеко от-

стоят от материка. Но теперь у меня не было с собой навигационных приборов, и поэтому я не мог определить, на какой широте мы находимся; с другой стороны, я не знал в точности, или во всяком случае не помнил, на какой широте лежат эти острова; таким образом, мне неизвестно было, где их искать и когда именно следует свернуть в открытое море, чтобы направиться к ним; знай я это, мне было бы нетрудно добраться до какого-нибудь из них. Но я был уверен, что сто́ит мне плыть вдоль берега, покамест я не доберусь до той части его, где англичане ведут меновую торговлю с туземцами, и я встречу какое-нибудь английское купеческое судно, совершающее свой обычный рейс, а оно подберёт нас и доставит в Англию.

По всем моим расчётам, мы находились теперь против той береговой полосы, что тянется между владениями марокканского султана и землями негров. Это пустынная, безлюдная область, населённая одними дикими животными: негры, боясь мавров, покинули её и ушли дальше на юг, а мавры нашли невыгодным селиться здесь, на бесплодной почве; вернее же всего, что тех и других распугали тигры, львы, леопарды и прочие хищники, которые водятся здесь в несметном количестве. Таким образом, для мавров эта область служит только местом охоты, на которую они отправляются целыми полчищами, по две, по три тысячи человек сразу. Неудивительно поэтому, что на протяжении чуть ли не ста миль мы видели днём лишь пустынную, безлюдную местность, а по ночам не слыхали ничего, кроме воя и рёва диких зверей.

Два раза в дневную пору мне показалось, что я вижу вдали пик Тенерифа — высокую гору на Канарских островах. Я даже пробовал сворачивать в море в надежде добраться туда, но оба раза встречный ветер и сильное волнение, опасное для моего утлого судёнышка, принуждали меня повернуть назад, так что, в конце концов, я решил не отступать более от моего первоначального плана и плыть вдоль побережья.

После того как мы вышли из устья речки, мне ещё несколько раз приходилось приставать к берегу для пополнения запасов пресной воды. Однажды ранним утром мы стали на якорь у какого-то высокого мыса; вода уже прибывала, и мы ждали полного прилива, чтобы подойти поближе к берегу. Вдруг Ксури, у которого глаза были, вероятно, зорче моих, тихонько окликнул меня и прошептал, что нам лучше отойти подальше от берега: «Поглядите, какой страшный зверь лежит вон там и

крепко спит». Я посмотрел в ту сторону, куда показывал мальчик, и, действительно, увидел страшилище. Это был огромный лев, лежавший на берегу, под нависшей скалой. «Послушай, Ксури,— сказал я,— ступай на берег и убей этого зверя». Мальчик испуганно взглянул на меня и пролепетал: «Мне — убить его! Да он меня разом проглотит!» Я не стал ему возражать, велел только не шевелиться; взяв самое большое ружьё, я зарядил его двумя кусками свинца и порядочным количеством пороху; в другое ружьё я вскатил две большие пули, а в третье (всего у нас было три ружья) — пять пуль поменьше. Хорошенько прицелившись зверю в голову, я выстрелил из первого ружья; но он лежал в такой позе, прикрыв морду лапой на уровне глаз, что заряд попал ему в лапу и перебил кость выше колена. Зверь вскочил, грозно рыча, но, почувствовав боль в раненной лапе, сейчас же свалился наземь, потом приподнялся на трёх лапах и испустил такой ужасный рёв, какого я в жизни своей не слыхал.



Я был немного сконфужен тем, что не попал ему в голову, однако, не медля ни минуты, взял второе ружьё и выстрелил зверю вдогонку, так как он заковылял было прочь от берега; на этот раз я стрелял метко. Я увидел, как лев упал и, издавая какие-то слабые, хриплые звуки, стал корчиться в предсмертных судорогах. Тут Ксури набрался храбрости и стал проситься на берег. «Ладно, ступай»,— сказал я. Мальчик прыгнул в воду и поплыл к берегу, работая одной рукой, а другой крепко держа ружьё. Подойдя вплотную к распростёртому на земле зверю, он приставил дуло ружья к его уху и выстрелил; этим выстрелом он его прикончил.

Я очень гордился тем, что убил льва, но мясо его было несъедобно, и мне было жаль зарядов, потраченных на эту добычу. Но Ксури объявил, что он хочет кое-чем поживиться от убитого зверя, и когда мы вернулись на шлюпку, попросил у меня топор. «Зачем тебе топор?» — спросил я. «Отрубить льву голову»,— отвечал он. Однако на это у мальчика нехватило сил; он отрубил только лапу, которую и притащил с собой. Она была чудовищных размеров.

Тут мне пришла мысль, что, может быть, нам пригодится шкура льва, и я решил попытаться снять её. Мы отправились с Ксури на берег, но я не знал, как взяться за это дело. Ксури оказался гораздо искуснее меня.

Эта работа заняла у нас целый день. Наконец шкура была снята; мы растянули её на крыше нашей каютки, дня через два солнце просушило её, и потом она служила мне постелью.

После этой остановки мы ещё дней десять-двенадцать продолжали держать курс на юг, стараясь как можно экономнее расходовать наш запас продовольствия, начинавший быстро истощаться, и сходя на берег только за пресной водой. Я поставил себе целью добраться до устья Гамбии или Сенегала, вообще до мест, расположенных невдалеке от Зелёного Мыса, так как надеялся встретить там какое-нибудь европейское судно: я знал, что если я его не встречу, мне останется только или пуститься в открытое море на поиски этих островов, или погибнуть на побережье среди дикарей. Мне было известно, что все европейские суда, куда бы они ни направлялись — к берегам ли Гвинеи, в Бразилию или в Ост-Индию, — проходят мимо Зелёного Мыса или островов того же названия; словом, я был убеждён, что моя жизнь зависит от того, встречу ли я в моих скитаниях какой-нибудь европейский корабль.

Итак, ещё дней десять мы плыли по намеченному мною направлению. Я обнаружил, что прибрежная полоса обитаема: в двух-трёх местах мы видели на берегу людей, которые, в свою очередь, смотрели на нас. Мы могли также различить, что они были чёрные как смоль и совершенно голые. Один раз я хотел было сойти к ним на берег, но Ксури, мой мудрый советчик, сказал: «Не ходи, не ходи». Тем не менее, я стал держать ближе к берегу, чтобы можно было вступить с ними в разговор. Они должно быть поняли моё намерение и долго бежали вдоль берега за нашей шлюпкой. Я заметил, что они не были вооружены, кроме одного, державшего в руке длинную тонкую палку. Ксури сказал мне, что это копьё и что дикари мечут копья очень далеко и замечательно метко; поэтому я держался в некотором отдалении от них и объяснялся с ними знаками, как умел, стараясь главным образом дать им понять, что мы нуждаемся в пище. Они, в свою очередь, знаками растолковали мне, чтобы я остановил свою лодку и что тогда они принесут нам съестного. Как только я спустил парус и лёг в дрейф, двое из них побежали куда-то и через полчаса, или того меньше, принесли два куска вяленого мяса и немного какого-то зерна; мы не знали, что́ это было за мясо и что́ за зерно, однако изъявили полную готовность принять и то и другое. Но тут возник новый вопрос: как получить это продовольствие? Мы не решались сойти на берег, боясь дикарей, а они, в свою очередь, боялись нас не меньше, чем мы их. Наконец они нашли выход их этого затруднения, одинаково безопасный для обеих сторон: сложив на берегу зерно и мясо, они отошли подальше и стояли, не шевелясь, покуда мы не переправили их дары на шлюпку; затем они воротились на прежнее место. Мы знаками выразили им свою признательность, так как ничем больше не могли их отблагодарить.

Но нам тут же представился случай оказать им огромную услугу. Не успели мы отойти от берега, как вдруг со склона горы сбежали два огромных зверя и ринулись прямо к морю. Один из них, как нам казалось, гнался за другим: был ли это самец, преследовавший самку, играли ли они друг с другом или дрались,— мы не могли разобрать, как не могли бы сказать и того, было ли это обычное явление в тех местах или исключительный случай; я думаю, впрочем, что последнее предположение более вероятно, так как, во-первых, хищные звери редко показываются днём, а во-вторых, мы заметили, что люди на берегу, особенно женщины,

страшно перепугались. Только человек, державший копьё, остался на месте; все остальные пустились бежать. Но звери неслись прямо к морю и не пытались напасть на людей. Они бросились в воду и стали плавать, словно прибежали на берег единственно для развлечения. Вдруг один из них подплыл довольно близко к шлюпке. Я этого не ожидал, но всё же не растерялся; зарядив поскорее ружьё и приказав Ксури зарядить оба другие, я приготовился встретить врага. Как только он приблизился к нам на расстояние ружейного выстрела, я спустил курок, и пуля попала ему прямо в голову; в тот же миг он погрузился в воду, потом вынырнул и поплыл назад к берегу, то исчезая под водой, то снова появляясь на поверхности. Он, видимо, боролся со смертью, захлёбываясь водой и исходя кровью; немного не доплыв до берега, он издох и камнем пошёл ко дну.

Невозможно передать, до чего были поражены бедные дикари, когда они услышали грохот и увидели огонь ружейного выстрела: некоторые из них чуть не умерли со страху и попáдали на землю, словно мёртвые.

Но видя, что зверь пошёл ко дну и что я знаками предлагаю им подойти поближе, они ободрились и столпились на берегу. Им, видно, не терпелось вытащить убитого зверя. Я нашёл его по кровавым пятнам на воде и, зацепив верёвкой, перебросил конец её дикарям, а те притянули его к берегу. Животное оказалось леопардом редкой породы с пятнистой шкурой необычайной красоты. Стоя вокруг него, дикари воздевали руки к небу в знак изумления: они не могли понять, чем я его убил.

Второй зверь, испуганный огнём и треском моего выстрела, выскочил на берег и убежал назад в горы; за дальностью расстояния я не мог разобрать, чтó это был за зверь. Я заметил, что неграм очень хочется поесть мяса убитого леопарда, и решил, что, пожалуй, полезно будет представить дело так, будто я дарю им его. Я знаками показал им, что они могут взять зверя себе. Они очень благодарили меня и, не теряя времени, принялись за работу. Ножей у них не было, они действовали заострёнными кусочками дерева, и однако сняли шкуру с мёртвого зверя так быстро и ловко, как мы бы не сделали этого и ножом. Они предложили мне мясо, но я знаками объяснил, что дарю его им, а попросил только шкуру, которую они мне отдали очень охотно. Кроме того, они принесли мне новый запас продовольствия, гораздо больше прежнего; я охотно взял его, хоть и не знал, чтó это за припасы. Затем я знаками попросил у них

воды: взяв один из наших кувшинов, я опрокинул его вверх дном, чтобы показать, что он пуст и что его надо наполнить. Они прокричали что-то своим, стоявшим поодаль. Немного погодя, появились две женщины с большим сосудом из обожжённой (должно быть, на солнце) глины и оставили его на берегу, как и провизию. Я отправил Ксури со всеми нашими кувшинами на берег, и он доверху наполнил их водой.

Запасшись, таким образом, мясом, водой, кореньями и зерном, я расстался с гостеприимными неграми и в течение ещё одиннадцати дней продолжал путь в прежнем направлении, не приближаясь к берегу. Наконец милях в пятнадцати впереди я увидел узкую полосу земли, далеко выступавшую в море. Погода была тихая, и я свернул в открытое море, чтобы обогнуть эту косу. В тот момент, когда мы поровнялись с её оконечностью, я ясно различил милях в шести от берега со стороны океана другую полосу земли и заключил вполне основательно, что узкая коса — Зелёный Мыс, а полоса земли, видневшаяся вдали — один из островов того же названия. Но они были очень далеко, я не решался направиться к ним, и не знал, что предпринять. Я понимал, что если меня застигнет свежий ветер, то я, пожалуй, не доплыву ни до островов, ни до мыса.

Ломая голову над разрешением этого вопроса, я присел на минуту в каюте, предоставив Ксури править рулём, как вдруг услышал его крик: «Господин! Господин! Парус! Корабль». Простодушный мальчик перепугался до смерти, вообразив, что это какой-нибудь из кораблей его хозяина, посланный за нами в погоню; но я-то знал, как далеко мы ушли от мавров и был уверен, что нам не может угрожать опасность с этой стороны. Я выскочил из каюты и сейчас же не только увидел корабль, но даже различил, что это — португальский корабль; сначала я подумал, что он направляется к берегам Гвинеи. Но присмотревшись внимательнее, я убедился, что судно идёт в другом направлении и не повернёт к земле. Тогда я поднял все паруса и понёсся в открытое море, решив сделать всё, что только возможно, чтобы этот корабль заметил мою шлюпку.

Впрочем, я скоро убедился, что, даже идя полным ходом, мы не успеем подойти к нему близко и что он пройдёт мимо, прежде чем можно будет дать ему сигнал; но в ту минуту, когда я начинал уже отчаиваться, наше судёнышко увидели с корабля в подзорную трубу и, должно быть, предположили, что это шлюпка с какого-нибудь потерпевшего крушение европейского судна. Корабль убавил паруса, чтобы дать мне возмож-

ность подойти. Это меня ободрило. У нас на шлюпке был кормовой флаг с корабля нашего бывшего хозяина-англичанина; я стал махать этим флагом в знак того, что мы терпим бедствие, и, кроме того, выстрелил из ружья. Они увидели флаг и дым от выстрела,— самого выстрела они не слыхали; корабль лёг в дрейф, ожидая нашего приближения, и спустя три часа мы причалили к нему.

Меня спросили, кто я, по-португальски, по-испански и по-французски, но я не знал ни одного из этих языков. Наконец один матрос, шотландец, заговорил со мной по-английски, а я объяснил ему, что я — англичанин и убежал из Салеха от пиратов, державших меня в неволе. Тогда меня и моего спутника пригласили на корабль и приняли весьма любезно. Нашу шлюпку, со всем, что в ней было, тоже взяли на борт.

Легко представить себе восторг, охвативший меня, когда после всех пережитых бедствий и треволнений я почувствовал себя на свободе! Я немедленно предложил капитану всё мое имущество в награду за моё избавление, но он великодушно отказался, говоря, что ничего с меня не возьмёт и что все мои вещи будут возвращены мне в полной сохранности, как только мы придём в Бразилию, куда судно направлялось. «Со мной,— сказал он, — легко могло случиться то же, что и с вами, и как бы я был счастлив, если бы вы таким же образом пришли мне на помощь! Те же опасности, от которых я избавил вас, ежечасно угрожают мне! Кроме того, мы ведь завезём вас в Бразилию, а от вашей родины это очень далеко, и вы умрёте там с голоду, если я лишу вас имущества. Неужели я спас вам жизнь для того лишь, чтобы отнять её? Нет, нет, сеньор инглезе [1], я довезу вас до Бразилии даром, а ваши вещи дадут вам возможность пожить там и оплатить ваш проезд на родину».

Капитан оказался великодушным не только на словах, но и на деле; он в точности исполнил своё обещание. Он распорядился, чтобы никто из матросов не смел прикасаться к моему имуществу, затем составил подробную опись всех моих вещей и взял их под свой присмотр, а опись передал мне, чтобы потом, по прибытии в Бразилию, я мог получить по ней всё своё добро, вплоть до трёх глиняных кувшинов.

Что касается моей шлюпки, действительно превосходной, то капитан захотел купить её для своего корабля и спросил, сколько я хочу за неё. На это я ответил, что никогда не забуду его великодушия по отношению

---

[1] Англичанин (*португал.*).

ко мне и ни в коем случае не стану назначать цены за свою шлюпку, а предоставляю это ему. Тогда он сказал, что выдаст мне письменное обязательство уплатить за неё восемьдесят червонцев по прибытии в Бразилию, но, добавил он, если там кто-нибудь предложит мне больше, то он даст мне такую же цену. Кроме того, он предложил мне шестьдесят червонцев за Ксури. Тут я призадумался, как мне быть: я нисколько не боялся отдать мальчика капитану — я знал, что ему будет хорошо, — но мне было жалко расстаться со своим верным спутником, который так самоотверженно помогал мне обрести свободу. Я изложил капитану свои сомнения, и он признал их справедливость, но предложил мне для моего успокоения, что он выдаст мальчику обязательство через десять лет отпустить его на свободу, если тот примет христианство. Это меняло дело. А так как, к тому же, сам Ксури выразил желание перейти к капитану, то я и уступил его.

ГЛАВА IV

Наш переезд до Бразилии совершился вполне благополучно, и после двадцатидвухдневного плавания мы вошли в бухту Тодос-лос Сантос, или Всех Святых. Итак, я избавился от самого великого бедствия, какое только может постичь человека: я уже не был рабом, и теперь мне оставалось решить, как устроить свою жизнь.

Я никогда не забуду благородного поведения капитана португальского корабля. Он ничего не взял с меня за проезд, честнейшим образом возвратил мне все мои вещи и дал мне сорок дукатов за львиную шкуру и двадцать — за шкуру леопарда, вообще, купил всё, что мне хотелось продать, в том числе ящик с винами, два ружья и остаток воска. За всё это я выручил двести двадцать червонцев и с этим капиталом сошёл на берег Бразилии.

Вскоре капитан ввёл меня в дом одного своего знакомого, владельца большой сахарной плантации и сахарного завода. Я прожил у него довольно долго и благодаря этому ознакомился с культурой сахарного тростника и с производством сахара. Видя, как хорошо живётся здешним плантаторам и как быстро они богатеют, я решил поселиться в Бразилии и тоже заняться этим делом. На все свои наличные деньги я купил участок земли и стал составлять план моей будущей плантации и

усадьбы. Я решил вложить в это предприятие и те деньги, которые оставил на хранение в Лондоне, у вдовы своего приятеля-капитана.

У меня был сосед по плантации, португалец из Лиссабона. Он находился приблизительно в таких же условиях, как я. Мы были с ним в самых приятельских отношениях. У меня, как и у него, оборотный капитал был весьма невелик, и первые два года мы оба едва могли прокормиться доходами с наших плантаций. Но по мере того, как мы расширяли возделываемые земли, наши дела улучшались; на третий год каждый из нас засадил часть своей земли табаком и разделал к следующему году по новому большому участку под сахарный тростник.

Но увы! благоразумие никогда не было моей отличительной чертой. С течением времени я стал тяготиться жизнью на плантации. Я понял, что навязал себе на шею дело, не имевшее ничего общего с моими природными склонностями. Однообразное, полное трудов и забот существование, которое я вёл теперь, было прямо противоположно той кочевой, богатой приключениями жизни, о которой я мечтал, ради которой покинул родителей и пренебрёг их советами. Трудясь на плантации, я часто с горечью говорил себе, что прозябать так, как сейчас, я мог бы и в Англии, не забираясь за пять тысяч миль от родины, в чужую страну, где у меня нет друзей, где я никогда не получу даже весточки от родных и близких.

Однако я не давал бесплодным сожалениям и мрачным мыслям отвлекать меня от работы. В следующем году я продолжал возделывать свою плантацию с большим успехом и собрал пятьдесят тюков табаку сверх того количества, которое я уступил соседям в обмен на предметы первой необходимости. Все эти пятьдесят тюков, весом по сотне с лишком фунтов каждый, лежали у меня просушенные, совсем готовые к отправке в Лиссабон. Итак, я преуспевал; но по мере того, как дела мои расширялись, в моей голове зарождались замыслы и планы, совершенно неосуществимые при моих скромных средствах. Я не хотел довольствоваться теми житейскими благами, которыми располагал. Во мне всё усиливалось желание разбогатеть как можно скорее, любым способом. Оно-то и явилось для меня причиной таких бедствий, какие вряд ли кому-либо пришлось испытать.

Живя в Бразилии почти четыре года и значительно расширяя свои дела, я, само собою разумеется, не только изучил португальский язык, но и познакомился с моими соседями-плантаторами, а также и с купцами из

Сан-Сальвадора, ближайшего к нам портового города. Я часто рассказывал им о двух моих поездках к берегам Гвинеи, о том, как ведётся торговля с тамошними неграми и как легко там за безделицу, за какие-нибудь бусы, ножи, ножницы, топоры, стекляшки и тому подобные мелочи, приобрести не только золото и слоновую кость, но даже купить у вождей негритянских племён невольников для работы на плантациях в Бразилии.

Мои рассказы они слушали очень внимательно и подолгу расспрашивали меня об этих краях. Однажды вечером нас собралась небольшая компания — несколько человек моих знакомых плантаторов и купцов, и мы оживлённо беседовали на эту тему. На следующее утро трое из моих собеседников явились ко мне и объявили, что, пораздумав хорошенько над тем, что я им рассказал накануне, они пришли ко мне с весьма серьёзным предложением. Взяв с меня слово, что всё, что я от них услышу, останется в тайне, они сказали мне, что хотят снарядить корабль в Гвинею за золотым песком, слоновой костью и рабами для своих плантаций. Затем они предложили мне отправиться на этом корабле в Гвинею и там взять на себя сбыт товаров, которыми они его нагрузят. Они добавили, что мне ни гроша не придётся вложить в это предприятие, а за свой труд я получу такую же долю прибыли, как каждый из тех, кто участвует в снаряжении корабля и закупке товаров.

Что и говорить, — это предложение было бы заманчиво, если бы речь шла о человеке, не имеющем собственной плантации, за которой нужен был присмотр и которая обещала со временем приносить большой доход. Для меня, владельца такой плантации, помышлять о подобном путешествии было величайшим безрассудством.

Но мне словно на роду было написано самому становиться виновником своих несчастий. Как прежде я был не в силах побороть своего влечения к путешествиям и не внял добрым советам отца, так и теперь я не мог устоять против столь соблазнительного предложения. Словом, я ответил плантаторам, что с радостью поеду в Гвинею, если в моё отсутствие они возьмут на себя присмотр за моим имуществом и распорядятся им по моим указаниям в случае, если я не вернусь. Они торжественно обещали мне это, скрепив наш договор письменным обязательством; я же, с своей стороны, сделал формальное завещание на случай моей смерти: свою плантацию и движимое имущество я завещал португальскому капитану, который спас мне жизнь, но с оговоркой, чтобы он взял себе только поло-

вину той суммы, которую выручит от продажи моей движимости, а половину отослал в Англию.

Словом, я принял все меры для сохранения моего имущества и поддержания порядка на моей плантации. Прояви я хоть малую долю этой мудрой предусмотрительности в вопросе о собственной пользе, составь я себе столь же ясное суждение о том, что́ я должен и чего не должен делать, я, наверное, никогда бы не бросил столь удачно начатого и многообещающего предприятия, не пренебрёг бы столь благоприятными видами на успех и не пустился бы в путешествие по морю, всегда связанное с большими опасностями.

Но меня торопили, и я охотнее повиновался велениям моей разгорячённой фантазии, чем голосу рассудка. Корабль был снаряжён, нагружен подходящим товаром, и всё было устроено так, как я условился со своими компаньонами. В недобрый час, первого сентября 1659 года, я снова вступил на палубу корабля. Это был тот самый день, в который восемь лет назад я убежал от своих родителей, — тот день, когда я ослушался их и так нелепо распорядился своею судьбою.

Наше судно было вместимостью около ста двадцати тонн; на нём было шесть пушек и четырнадцать человек экипажа, не считая капитана, юнги и меня. Тяжёлого груза у нас не было, весь он состоял из тех пустячных вещиц, которые обычно в ходу при меновой торговле с неграми — из ножниц, ножей, топоров, зеркалец, стекляшек, раковин, бус и тому подобных малоценных мелочей.

Как уже сказано, я взошёл на корабль первого сентября, и в тот же день мы снялись с якоря. Сначала мы направились к северу вдоль берегов Бразилии, рассчитывая свернуть к африканскому материку, когда дойдём до десятого или двенадцатого градуса северной широты: таков в те времена был обычный курс судов. Всё время, покуда мы держались берегов Бразилии, до самого мыса св. Августина, стояла прекрасная погода, было только чересчур жарко. От мыса св. Августина мы повернули в открытое море и вскоре потеряли из виду землю. Мы держали курс приблизительно на остров Фернандо-де-Норонья, то есть на северо-восток. Остров Фернандо остался у нас по правой руке. После двенадцатидневного плавания мы пересекли экватор и находились, по последним наблюдениям, под 7 градусом 22 минутами северной широты, когда

неожиданно поднялся жестокий шторм. Это был настоящий ураган. Он налетел с юго-востока, затем стал дуть с северо-запада и, наконец, забушевал с северо-востока с такой чудовищной силой, что в течение двенадцати дней мы могли только носиться по ветру и, отдавшись на волю судьбы, плыть, куда нас гнала разъярённая стихия. Нечего и говорить, что все эти двенадцать дней я ежечасно ожидал гибели, да и никто на корабле не надеялся остаться в живых.

Но наши беды не ограничились тем ужасом, который нам внушала буря: один из матросов умер от тропической лихорадки, а двоих — матроса и юнгу — смыло с палубы. На двенадцатый день шторм стал стихать, и капитан произвёл по возможности точные вычисления. Оказалось, что мы находимся приблизительно под одиннадцатым градусом северной широты, но что нас отнесло на целых 22 градуса долготы к западу от мыса св. Августина. Мы были теперь недалеко от берегов Гвианы или северной части Бразилии, выше устья реки Амазонки и ближе к реке Ориноко, более известной в тех краях под именем Великой Реки. Капитан спросил моего совета, куда нам взять курс. Так как судно дало течь и едва ли выдержало бы дальнее плавание, он полагал, что лучше всего повернуть назад, к берегам Бразилии.

Но я решительно восстал против этого. В конце концов, рассмотрев карты берегов Америки, мы пришли к заключению, что до самых Караибских островов не встретим ни одной населённой страны, где можно было бы найти помощь. Поэтому мы решили держать курс на Барбадос, куда, по нашим расчётам, можно было добраться в две недели; нам только пришлось бы немного уклониться от прямого пути, чтоб не попасть в течение Мексиканского залива. О том же, чтобы плыть к берегам Африки, не могло быть и речи: наше судно нуждалось в починке, а экипаж — в пополнении.

По всем этим причинам мы изменили курс и стали держать на запад-северо-запад. Мы рассчитывали дойти до какого-нибудь из островов, принадлежащих Англии, и получить там помощь. Но судьба судила иначе. Когда мы достигли 12 градусов 18 минут северной широты, нас захватил второй шторм. Столь же стремительно, как и в первый раз, мы понеслись на запад и очутились так далеко от обычных торговых путей, что даже если бы мы не погибли от ярости волн, нам вряд ли удалось бы вернуться на родину: вероятнее всего, нас съели бы дикари.

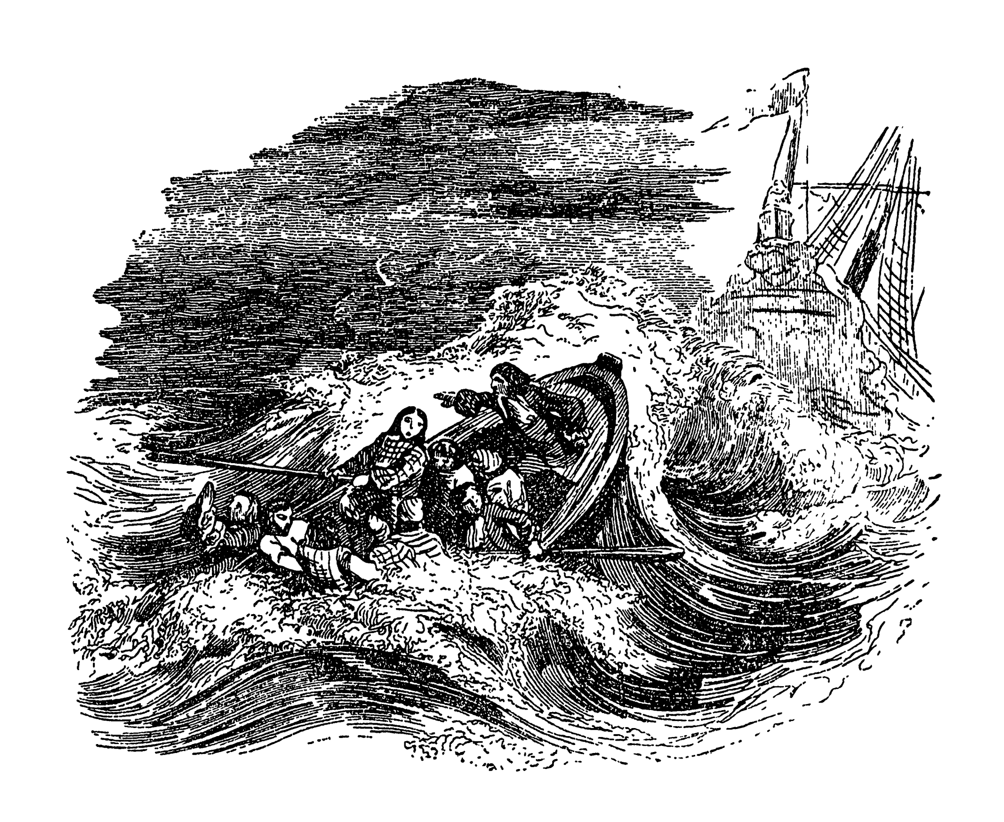
Однажды ранним утром, когда нас трепала буря, всё ещё не стихавшая, один из матросов крикнул: «Земля!»; но не успели мы выскочить из каюты, чтобы узнать, в какие края мы попали, как судно наше село на мель. От внезапной остановки волны мгновенно хлынули на палубу с такой силой, что мы уже считали себя погибшими; стремглав бросились мы вниз, в закрытые помещения, где и укрылись от брызг и пены.

Тому, кто не бывал в подобном положении, трудно представить себе, до какого отчаяния мы дошли. Мы не знали, где́ мы находимся, к какой земле нас прибило, остров это или материк, обитаемая земля или нет. А так как буря продолжала неистовствовать, хотя и с меньшей силой, то мы даже не надеялись, что наше судно продержится хоть немного, а не тотчас разобьётся в щепы, — разве только каким-нибудь чудом ветер вдруг перемениться. Словом, мы сидели, в ужасе глядя друг на друга и ежеминутно ожидая смерти. Единственным нашим утешением было то, что, вопреки всем ожиданиям, судно всё ещё было цело и капитан сказал, что ветер начинает стихать.

Но корабль так основательно сел на мель, что нельзя было надеяться на то, что он сдвинется с места, и в этом отчаянном положении нам оставалось только попытаться спасти свою жизнь какой угодно ценой. У нас было две шлюпки; одна висела за кормой, но во время шторма её разбило о руль, а потом сорвало, и она либо утонула, либо её унесло в море. Оставалась другая шлюпка, но удастся ли спустить её на воду? — это было очень сомнительно. А мешкать было нельзя; корабль мог каждую минуту расколоться на́двое; некоторые даже говорили, что он уже дал трещину.

В этот критический момент помощник капитана подбежал к шлюпке и с помощью остальных людей экипажа перебросил её через борт: мы все, четырнадцать человек, вошли в шлюпку, отчалили и, поручив себя милосердию божию, отдались на волю бушующих волн; хотя шторм поутих, всё-таки на берег набегали страшные валы, и море по справедливости могло быть названо бешеным.

Наше положение было поистине плачевно: мы ясно видели, что шлюпка не выдержит такого волнения и мы неизбежно потонем. Идти на парусе мы не могли: у нас его не было, да и всё равно он оказался бы бесполезным. Мы гребли к берегу с тяжёлым сердцем, словно люди, идущие на казнь: мы все отлично знали, что, как только шлюпка подойдёт



ближе к земле, её разнесёт прибоем на тысячу кусков. Подгоняемые ветром и течением, мы налегали на вёсла, своими руками приближая момент нашей гибели.

Какой перед нами окажется берег — скалистый или песчаный, крутой или отлогий, — мы не знали. Мы надеялись только на одно — попасть в какую-нибудь бухточку или залив, или в устье реки, где волнение было бы слабее и где мы могли бы укрыться с подветренной стороны. Это было бы спасением для нас. Но впереди не было видно ничего похожего на залив, и чем ближе подходили мы к берегу, тем страшнее казалась земля, — страшнее даже моря.

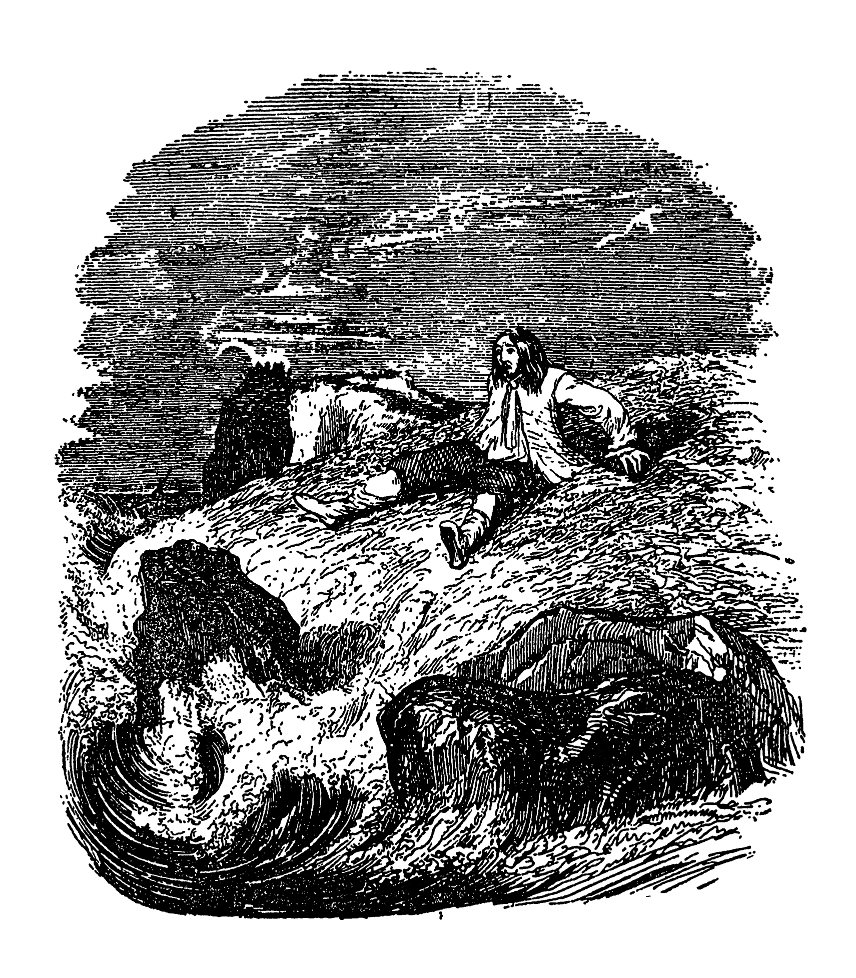
Мы отплыли, или вернее, нас отнесло, по моему расчёту, мили на четыре от того места, где застрял наш корабль, как вдруг гигантский вал набежал с кормы на нашу шлюпку, словно неся нам гибель в мор-

ской пучине. В один миг опрокинул он шлюпку, и не успели мы вскрикнуть, как очутились под водой, далеко и от шлюпки, и друг от друга.

Никакими словами не передать смятения, овладевшего мной, когда я погрузился в воду. Я очень хорошо плаваю, но я не мог сразу вынырнуть на поверхность, чтобы перевести дыхание, и чуть не задохся. Опомнился я лишь тогда, когда подхватившая меня волна, далеко пронеся меня в сторону берега, разбилась и отхлынула назад; я наглотался воды, я был полумёртв; я перевёл дух и немного пришёл в себя. Я надеялся достичь земли прежде, чем буду настигнут и снова подхвачен другой волной, но скоро увидел, что мне от неё не уйти; море гналось за мной, как разъярённый враг. Мне оставалось лишь одно: задержав дыхание, вынырнуть на гребень набегавшей волны и, напрягая все силы, плыть к взморью. Теперь самое главное было — справляться с волнами так, чтобы они подносили меня всё ближе к берегу, но не увлекали за собой, уходя назад в море.

Вскинувшийся огромный вал похоронил меня футов на двадцать-тридцать под водой. Затем меня подхватило и со страшной силой и быстротой понесло к земле. Я задержал дыхание и поплыл по течению, изо всех сил помогая ему. Я уже задыхался, как вдруг почувствовал, что поднимаюсь кверху; вскоре, к великому моему облегчению, мои руки и голова оказались над водой, и хотя мне удалось продержаться на поверхности не больше двух секунд, однако я успел перевести дух, и это придало мне силы и мужества. Меня снова захлестнуло, но на этот раз я пробыл под водой не так долго. Когда волна рассыпалась и отпрянула, я ценою огромных усилий не дал ей унести меня обратно, а поплыл дальше и вскоре почувствовал под ногами дно. Я простоял несколько секунд, отдышался и, собрав остаток сил, опрометью пустился бежать к земле. Но и теперь я ещё не ушёл от ярости моря; снова оно гналось за мной по пятам; ещё два раза меня подхватывало волнами и несло вперёд, к берегу, который в этом месте был очень отлогий.

Последний вал едва не стал для меня роковым: он с такой силой вынес, или, вернее, выбросил меня на утёс, торчавший из воды, что я лишился чувств и оказался совершенно беспомощным: удар в бок и в грудь совсем отшиб у меня дыхание, и если б в ту минуту море снова подхватило меня, я бы неминуемо захлебнулся. Но я пришёл в себя как раз вó-время: увидев, что сейчас меня опять накроет волной, я крепко уце-



пился за выступ утёса и, задержав дыхание, решил во что бы то ни стало продержаться там, покуда волна не схлынет. Ближе к земле волны были уже не столь высоки, и это мне удалось. Затем я снова пустился бежать и очутился настолько близко к берегу, что следующая волна хоть и перекатилась через меня, но уже не могла меня смыть и унести обратно в море. Пробежав ещё немного, я, к великой моей радости, почувствовал, что стою на твёрдой земле. Я стал карабкаться по скалам и вскоре в изнеможении опустился на поросший травой пригорок. Здесь я был в безопасности: море не могло настичь меня.

Мне думается, нет таких слов, которыми можно было бы передать с достаточной яркостью восторг человека, восставшего, можно сказать, из гроба. Ликуя, бегал я по берегу, разговаривал сам с собой, пел, прыгал, плясал.

Мысль о моём избавлении целиком захватила меня. Но вдруг я вспомнил о своих товарищах, которые все утонули, о том, что, кроме меня, не спаслось ни одной души; действительно, никого из этих людей я больше не увидел; от них и следов не осталось, кроме трёх шляп, одного колпака да двух непарных башмаков, выброшенных морем на берег.

Взглянув в ту сторону, где стоял на мели наш корабль, я едва мог рассмотреть его за высокими пенящимися волнами — так он был далеко; и я сказал себе: «Боже! Какое чудо, что я добрался до берега!».

Утешив себя этими мыслями о благополучном избавлении от смертельной опасности, я стал озираться вокруг, чтобы узнать, куда я попал и что́ мне прежде всего надо делать. Моё радостное настроение тотчас упало: я понял, что хотя я и спасся, но в будущем мне грозят несказанные ужасы и бедствия. Я промок до костей, а переодеться было не во что; мне нечего было есть, у меня не было даже пресной воды, чтобы подкрепить свои силы, а в будущем мне предстояло или умереть голодной смертью, или быть растерзанным хищниками. Но что всего хуже — я не имел при себе оружия, так что не мог ни охотиться за дичью для своего пропитания, ни обороняться от хищных зверей, которым вздумалось бы напасть на меня. У меня вообще не было ничего, кроме ножа, трубки да жестянки с табаком. Это составляло всё моё достояние. И, пораздумавши, я пришёл в такое отчаяние, что долго, как безумный, бегал по берегу. Когда настала ночь, я с замиранием сердца спрашивал себя, что́ меня ожидает, если здесь водятся хищные звери: ведь они всегда выходят на охоту по ночам.

Единственное, что я мог тогда придумать, это взобраться на росшее поблизости толстое, ветвистое дерево, похожее на ель, но с колючками, и просидеть на нём всю ночь. «Когда придёт утро,—сказал я себе,—я решу, какою смертью лучше умереть; жить в этом месте невозможно». Я прошёл с четверть мили в глубь страны посмотреть, не найду ли я пресной воды, и, к великой моей радости, нашёл ручеёк. Напившись и пожевав немного табаку, чтобы заглушить голод, я воротился к дереву, взобрался



на него и постарался устроиться таким образом, чтобы не свалиться в случае, если засну. Затем я вырезал для самозащиты коротенький сук, вроде дубинки, расположился поудобнее и от крайнего утомления крепко уснул. Я спал так сладко, как, я думаю, немногим спалось бы на моём месте, и проснулся свежим и бодрым, как никогда.

ГЛАВА V

Когда я открыл глаза, было уже около полудня. Погода прояснилась, ветер утих, и море больше не бушевало, не волновалось. Но меня крайне поразило то, что корабль очутился на другом месте, почти у подножья утёса, о который меня так сильно ударило волной: должно быть, за ночь

его приливом приподняло с мели и пригнало сюда. Теперь корабль стоял не дальше мили от того места, где я провёл ночь, и держался на воде почти прямо, следовательно, не был разбит; поэтому я решил побывать на нём, чтобы запастись провизией и другими необходимыми предметами.

Покинув своё убежище и спустившись с дерева, я ещё раз осмотрелся кругом, и первое, что я увидел, была наша шлюпка, лежавшая милях в двух вправо, на берегу, куда её, очевидно, выбросили волны. Я пошёл было в том направлении, думая дойти до неё, но оказалось, что в берег глубоко врезывалась бухта шириною с полмили; она преграждала путь. Тогда я повернул назад, ибо мне было важно попасть как можно скорее на корабль, где я надеялся найти что-нибудь для поддержания своего существования.

После полудня волнение на море совсем улеглось, и отлив был такой сильный, что мне удалось пóсуху подойти на четверть мили к кораблю. Тут я снова ощутил глубокое отчаяние, ибо мне стало ясно, что останься мы на корабле — все были бы живы: переждав шторм, мы бы благополучно перебрались на берег, и я не был бы, как теперь, несчастным отверженным, совершенно лишённым общества себе подобных. При этой мысли слёзы снова полились у меня из глаз. Но слезами горю не помочь, и я решил всё-таки добраться до корабля. Раздевшись почти донага, я пустился вплавь. Но когда я подплыл к кораблю, возникло новое затруднение: как на него взобраться? Он стоял на мелком месте, почти целиком выступал из воды, и уцепиться было не за что. Два раза я проплыл кругом него и во второй раз заметил обрывок каната. Удивляюсь, как он сразу не бросился мне в глаза! Канат свешивался так низко над водой, что мне, хотя и с трудом, удалось поймать его конец. Я взобрался по канату на бак[1] корабля. Судно дало течь, и в трюме было много воды: оно так увязло килем в твёрдой песчаной отмели, что корма была приподнята, а нос почти касался вóлн. Таким образом, вода не проникла в кормовую часть, и те вещи, которые там были сложены, не подмокли. Я сразу обнаружил это, так как, разумеется, мне прежде всего хотелось узнать, чтó именно было попорчено и чтó уцелело. Оказалось, во-первых, что весь запас провизии совершенно сух, а так как меня мучил голод, то я отправился в кладовую, набил карманы штанов сухарями и, продолжая осмотр, ел их на ходу, чтобы не терять времени даром. В кают-компании

[1] **Бак — носовая часть палубы.**

я нашёл бутылку рому и отхлебнул из неё несколько основательных глотков, так как мне нужно было набраться сил для предстоящей работы.

Разумеется, мне очень пригодилась бы лодка, чтобы перевезти на берег те вещи, которые, по моим соображениям, могли мне понадобиться. Но ведь бесполезно сидеть сложа руки и мечтать о том, чего нельзя раздобыть. Нужда развивает изобретательность, и я живо принялся за дело. На корабле были запасные мачты, стеньги и реи. Из них я решил построить плот.

Выбрав несколько брёвен полегче, я перекинул их за борт, обвязав предварительно каждое бревно канатом, чтобы их не унесло. Затем я спустился с корабля, притянул к себе четыре бревна и крепко связал их между собою с обоих концов, скрепив ещё сверху двумя или тремя коротенькими досками, положенными накрест. Плот отлично выдерживал тяжесть моего тела, но для большого груза был слишком лёгок. Я снова принялся за дело и с помощью пилы нашего корабельного плотника распилил запасную мачту на три куска, которые и приладил к своему плоту. Эта работа стоила мне неимоверного труда, но желание запастись по возможности всем необходимым для жизни поддерживало меня, и я довёл до конца дело, на которое при обыкновенных обстоятельствах у меня нехватило бы сил.

Теперь мой плот был достаточно крепок и мог выдержать порядочную тяжесть. Мне предстояло нагрузить его и уберечь груз от морского прилива. Над этим я раздумывал недолго. Прежде всего я положил на плот все доски, какие нашлись на корабле; на эти доски я спустил три сундука, принадлежавших нашим матросам, предварительно взломав в них замки и опорожнив их. Затем, прикинув в уме, что́ из вещей могло мне понадобиться больше всего, я отобрал эти вещи и наполнил ими все три сундука. В один я сложил съестные припасы: рис, сухари, три круга голландского сыру, пять больших кусков вяленой козлятины и остатки зерна, которые мы везли для кур, взятых с собой, и часть которого осталась, так как кур мы уже давно съели. Это был ячмень, перемешанный с пшеницей; потом, к великому моему разочарованию, оказалось, что его сильно попортили крысы. Я нашёл также несколько ящиков спиртных напитков, в том числе пять-шесть галлонов [1] арака, или рисовой водки, принадлежавших нашему шкиперу. Все эти ящики я поставил прямо на плот, так как

[1] Галлон — 4,54 литра.

в сундуках они не поместились бы, да и надобности не было класть их туда.

Пока я был занят погрузкой, начался прилив, и, к великому моему огорчению, я увидел, что мой камзол, рубашку и жилетку, оставленные мною на берегу, унесло в море. Таким образом, у меня остались из платья только чулки да холщовые коротенькие штаны, которые я не снял, когда плыл к кораблю. Это навело меня на мысль запастись одеждой. На корабле было довольно всякого платья, но я взял пока только то, что мне было необходимо в данную минуту; меня гораздо больше соблазняло многое другое, и прежде всего — рабочие инструменты. После долгих поисков я нашёл ящик нашего плотника, и это была для меня поистине драгоценная находка, которой я не отдал бы в то время за целый корабль, гружёный золотом. Я поставил на плот этот ящик, как он был, даже не заглянув в него, так как приблизительно знал, какие в нём инструменты.

Теперь мне осталось запастись оружием и зарядами. В кают-компании я нашёл два прекрасных охотничьих ружья и два пистолета, которые я переправил на плот вместе с пороховницей, небольшим мешочком дроби и двумя старыми заржавленными саблями. Я помнил, что у нас было три бочонка пороху, но не знал, где их хранил наш канонир. Однако, поискав хорошенько, я нашёл все три. Один оказался подмоченным, а два были совершенно сухи, и я перетащил их на плот вместе с ружьями и саблями. Теперь мой плот был достаточно нагружён, и я начал размышлять, как мне добраться до берега без паруса, без вёсел и без руля: ведь довольно было самого слабого порыва ветра, чтобы опрокинуть всё моё сооружение.

Три обстоятельства ободряли меня: во-первых, полное отсутствие волнения на море; во-вторых, — прилив, который должен был гнать меня к берегу; в-третьих, лёгкий ветерок, дувший тоже к берегу, и, следовательно, попутный. Итак, разыскав два или три сломанных весла от корабельной шлюпки, прихватив ещё две пилы, топор и молоток (кроме тех инструментов, что были в ящике плотника), я пустился в путь. Я надеялся попасть в какой-нибудь заливчик или речку, где мне будет удобно пристать с моим грузом.

Как я предполагал, так и вышло. Вскоре передо мной открылась маленькая бухта, и меня быстро понесло к ней. Я правил, как умел, стараясь держаться середины течения. Но тут, будучи совершенно незнаком с этим побережьем, я чуть вторично не потерпел крушения, и если бы

это случилось, я, право, кажется, умер бы с горя. Мой плот неожиданно наскочил одним краем на отмель, а так как другой его край не имел точки опоры, то он сильно накренился; ещё немного, и весь мой груз съехал бы в эту сторону и свалился бы в воду. Я изо всех сил упёрся спиной в сундуки, стараясь удержать их на месте, но не мог столкнуть плот с отмели, несмотря на все усилия. С полчаса простоял я, не смея шевельнуться, в этой крайне неудобной позе, покамест вода, всё прибывавшая, не приподняла опустившийся край плота, а спустя некоторое время вода поднялась ещё выше, и плот сам сошёл с мели. Тогда я оттолкнулся веслом на середину фарватера и, отдавшись течению, которое было здесь очень быстрое, вошёл, наконец, в бухточку или, вернее, в устье речки с высокими берегами. Я стал осматриваться, выбирая, где бы мне лучше пристать: мне не хотелось слишком удаляться от моря, ибо я на-



деялся когда-нибудь увидеть на нём корабль; поэтому я решил держаться как можно ближе к побережью.

Наконец я высмотрел на правом берегу речки крохотный залив, к которому и направил свой плот. С большим трудом провёл я его поперёк течения и вошёл в этот залив, упёршись в дно веслом, так как здесь было мелко. Но я снова рисковал вывалить весь мой груз: берег был настолько крут, что если бы только плот наехал на него одним концом, то неминуемо бы накренился другим, и моя поклажа была бы в опасности. Мне оставалось только выжидать ещё большего подъёма воды. Высмотрев удобное местечко, где берег образовывал ровную площадку, я пододвинул к ней плот и держал его как на якоре, упираясь в дно веслом; я рассчитал, что прилив покроет эту площадку водой. Так и случилось. Когда вода достаточно поднялась, я втолкнул плот на площадку, укрепил его с обоих концов при помощи вёсел, воткнув их в дно, и стал дожидаться отлива. Таким образом, мой плот со всем грузом оказался на сухом берегу.

Следующей моей заботой было осмотреть окрестности и выбрать себе удобное местечко для жилья, где бы мне и моему имуществу ничто не угрожало. Я всё ещё не знал, куда я попал: на материк или на остров, в населённую или в необитаемую страну; не знал, грозит ли мне опасность со стороны хищных зверей или нет. Приблизительно в полумиле от меня виднелся холм, крутой и высокий, повидимому господствовавший над грядою возвышенностей, тянувшейся к северу. Вооружившись ружьём, пистолетом и пороховницей, я отправился на разведку. Когда я с большим трудом взобрался на вершину холма, мне стала ясна моя горькая участь: я был на острове; со всех сторон расстилалось море, за которым нигде не видно было земли, если не считать торчавших в отдалении утёсов да двух островков, поменьше моего, лежавших милях в десяти к западу.

Я сделал и другие открытия: мой остров был совершенно невозделан и, судя по всем признакам, даже необитаем. Может быть, на нём и были хищные звери, но пока я ни одного не видал. Зато дичь там водилась в изобилии, но всё неизвестных мне пород, так что потом, когда мне случалось убить птицу, я никогда не мог определить по её виду, годится ли она в пищу или нет. Спускаясь с холма, я подстрелил большую птицу, сидевшую на дереве у опушки леса. Я думаю, это был первый выстрел, раз-

давшийся здесь с сотворения мира; не успел я выстрелить, как над лесом взвилась стая птиц; каждая из них кричала по-своему, но ни один из этих криков не походил на крики известных мне пернатых. Что касается убитой мною птицы, то, по-моему, это была разновидность нашего ястреба; она очень напоминала его окраской перьев и формой клюва, только когти у неё были гораздо короче. Её мясо отзывало падалью и не годилось в пищу.

Удовольствовавшись этими открытиями, я воротился к плоту и принялся перетаскивать вещи на берег. Это заняло у меня весь остаток дня. Я не знал, как и где мне устроиться на ночь. Лечь прямо на землю я боялся, так как не был уверен, что меня не загрызёт какой-нибудь хищный зверь. Впоследствии оказалось, что эти страхи были неосновательны.

Поэтому, наметив на берегу удобное местечко для ночлега, я огородил его со всех сторон сундуками и ящиками, а внутри этой ограды соорудил из досок нечто вроде шалаша. Что касается пищи, то я не знал ещё, как буду добывать себе впоследствии пропитание: кроме птиц да двух каких-то зверьков, вроде нашего зайца, выскочивших из леса при звуке моего выстрела, никакой живности я здесь не видел.

Но теперь я думал только о том, как бы забрать с корабля всё, что там оставалось и что могло мне пригодиться, прежде всего паруса и канаты. Поэтому я решил, если мне ничто не помешает, предпринять второй рейс к кораблю. А так как я знал, что при первой же буре его разобьёт в щепки, то счёл разумным отложить все другие дела, покуда не свезу на берег всё, что только смогу забрать. Я стал держать совет (с самим собой, конечно), захватить ли мне туда плот. Это показалось мне невыполнимым и, дождавшись отлива, я пустился вплавь, как в первый свой рейс. Только на этот раз я разделся в шалаше, оставшись в одной нижней рубахе, в холщовых штанах и в кожаных туфлях на босу ногу.

Как и в первый раз, я взобрался на корабль по канату, а затем сколотил новый плот. Но, умудрённый опытом, я сделал его не таким неуклюжим, как первый, и не так тяжело нагрузил. Я перевёз на нём много полезных вещей: во-первых, всё, что нашлось в запасах нашего плотника, а именно: два или три мешка с гвоздями, крупными и мелкими, большую отвёртку, десятка два топоров, а главное, такой необходимый предмет,

как точило. Затем я взял некоторые вещи из склада нашего канонира, в том числе три железных лома, два бочонка с ружейными пулями, семь мушкетов, ещё одно охотничье ружьё и немного пороху, а кроме того, большой мешок дроби.

Кроме перечисленных вещей, я забрал с корабля всё платье, какое нашёл, да прихватил ещё запасный парус, гамак и несколько тюфяков и подушек. Всё это я погрузил на плот и, к великому моему удовольствию, доставил на берег в полной сохранности.

Отправляясь на корабль, я слегка побаивался, как бы в моё отсутствие какие-нибудь хищники не уничтожили моих съестных припасов. Но, воротившись на берег, я не заметил никаких следов гостей. Только на одном из сундуков сидел какой-то зверёк, очень похожий на дикую кошку. При моём приближении он отбежал немного в сторону и остановился, потом присел на задние лапки и совершенно спокойно, без всякого страха, смотрел мне прямо в глаза, точно выражая желание познакомиться со мной. Я прицелился в него из ружья, но это движение было, очевидно, непонятно ему; он нисколько не испугался, даже не тронулся с места. Тогда я бросил ему кусочек сухаря, проявив этим большую расточительность, так как мой запас съестного был очень невелик. Как бы то ни было, я уделил ему этот кусочек. Он подошёл, обнюхал его, съел и облизнулся с довольным видом, точно ждал продолжения. Но я больше ничего ему не дал, и он ушёл.

Доставив на берег второй транспорт вещей, я хотел было открыть тяжёлые бочонки с порохом и понемногу перенести его, но раздумал и принялся сначала за сооружение палатки. Я сделал её из паруса и жердей, которые нарезал для этой цели в роще. В палатку я перенёс всё, что могло испортиться от солнца и дождя, а вокруг неё нагромоздил пустые ящики и бочки на случай внезапного нападения со стороны людей или зверей.

Вход в палатку я загородил снаружи пустым сундуком, поставив его боком, а изнутри заложился досками. Затем я разостлал на земле постель, в изголовье положил два пистолета, а рядом с тюфяком — ружьё и лёг. С момента кораблекрушения я в первый раз провёл ночь в постели. От усталости и изнурения я крепко проспал до утра, и немудрено: предыдущую ночь я спал очень мало, а весь день работал без передышки, сперва грузя вещи с корабля на плот, а потом переправляя их на берег.

Я думаю, никто никогда не устраивал для себя такого огромного склада всевозможных вещей. Но мне всего казалось мало: покуда корабль был цел и стоял на прежнем месте, покуда на нём оставалась хоть одна вещь, которою я мог воспользоваться, я считал необходимым пополнять свои запасы. Поэтому каждый день с наступлением отлива я отправлялся на корабль и всегда что-нибудь привозил с собою. Особенно удачным было третье моё путешествие. Я разобрал все снасти и взял с собой все верёвки, и трос, и бечёвки, какие могли уместиться на плоту. Я захватил также большой кусок запасной парусины, служившей у нас для починки парусов, и бочонок с подмокшим порохом, который я сначала оставил на корабле. В последнюю очередь я переправил на берег все паруса до последнего; мне только пришлось разрезать их на куски и перевозить по частям; для мореплавания они уже не могли мне пригодиться, и вся их ценность заключалась для меня в материале.

Но вот чему я обрадовался ещё больше. После пяти или шести таких экспедиций, когда я думал, что на корабле уже нечем больше поживиться, я неожиданно нашёл в трюме большую бочку с сухарями, три бочонка рому, ящик с сахаром и бочонок превосходной муки. Это был приятный сюрприз: я был уверен, что все оставшиеся на корабле запасы подмокли, и уже не рассчитывал найти там что-нибудь съедобное. Сухари я вывалил из бочки и перенёс на плот по частям, завёрнутыми в парусину. Всё это мне удалось благополучно доставить на берег.

На следующий день я предпринял новую поездку. Теперь, забрав с корабля решительно все вещи, какие под силу поднять одному человеку, я принялся за канаты. Каждый канат я разрезал на куски такой величины, чтобы мне было не слишком трудно управиться с ними, и таким образом перевёз на берег три длинных каната. Кроме того, я взял с корабля все железные части, какие только мог отодрать. Затем, обрубив все оставшиеся реи, я построил из них плот побольше, погрузил на него все эти увесистые предметы и пустился в обратный путь. Но на этот раз счастье мне изменило: мой плот был так неповоротлив и так тяжело нагружён, что я управлял им с большим трудом. Войдя в бухту, где было сложено остальное моё имущество, я не сумел провести его так искусно, как прежние, плот опрокинулся, и я упал в воду со всем своим грузом. Я не пострадал, так как это случилось почти у самого берега; но груз мой (по крайней мере значительная часть его) погиб; особенно я сожалел о

железе, которое очень бы мне пригодилось. Впрочем, когда вода спала, я, хотя и с великим трудом, но вытащил на берег почти все куски каната и несколько кусков железа: мне приходилось нырять за каждым куском, и это очень утомило меня. После этого я продолжал ежедневно посещать корабль, и каждый раз привозил новую добычу.

Уже тринадцать дней я жил на острове и за это время побывал на корабле одиннадцать раз, перетащив на берег решительно всё, что в состоянии перетащить один человек. Если бы тихая погода продержалась подольше, я убеждён, что по кусочкам перевёз бы весь корабль; но, делая приготовления к двенадцатому рейсу, я заметил, что поднимается ветер. Тем не менее, дождавшись отлива, я отправился на корабль. В предыдущие поездки я так основательно обшарил кают-компанию, что мне казалось, я подобрал всё дочиста; но тут я заметил шкафчик с двумя ящиками: в одном я нашёл три бритвы, большие ножницы и с дюжину хороших вилок и ножей; в другом оказались деньги, частью европейской, частью бразильской серебряной и золотой монетой, всего до тридцати шести фунтов стерлингов.

Я горько улыбнулся при виде этих денег. «Ненужный хлам! — сказал я, — зачем ты мне теперь? Ты не сто́ишь и того, чтобы я нагнулся и поднял тебя с полу. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из этих ножей. Мне некуда тебя девать; так оставайся же, где лежишь, и отправляйся на дно морское, подобно жалкому, ничтожному существу, жизнь которого не стоит спасать!»

Однако, поразмыслив, я решил взять деньги с собой и завернул все найденные монеты в кусок парусины. Затем я стал подумывать о том, чтобы сколотить плот, но, пока я собирался, небо нахмурилось, ветер, дувший с берега, начал быстро крепчать и через четверть часа совсем засвежел. Я сообразил, что при береговом ветре плот будет мне бесполезен; к тому же, надо было спешить добраться до суши, покуда не началось сильное волнение, иначе я бы и совсем туда не вернулся. Не теряя времени, я бросился в воду и поплыл. Я был тяжело нагружён, вдобавок мне пришлось бороться с встречными волнами; поэтому у меня едва хватило сил переплыть полосу воды, отделявшую корабль от моей бухты. Ветер крепчал с каждой минутой и ещё до начала отлива превратился в настоящий шторм.

Но к этому времени я был уже на суше, в безопасности, и лежал в палатке. Всю ночь ревела буря, и когда поутру я выглянул из палатки, от корабля торчал только остов. В первую минуту это меня огорчило, но я утешился мыслью, что, не теряя времени и не щадя сил, достал оттуда всё, что могло мне пригодиться, значит, будь даже в моём распоряжении больше времени, мне всё равно уже почти нечего было бы взять.

Итак, я больше не думал ни о корабле, ни о вещах, какие на нём ещё оставались. Правда, после бури могло прибить к берегу кое-какие обломки. Так оно потом и случилось. Но от этого мне было мало проку.

ГЛАВА VI

Мои мысли были теперь всецело поглощены вопросом, как мне обезопасить себя от дикарей, если они окажутся на острове, и от зверей, если они там водятся. Я долго думал, каким способом достигнуть этого и какое мне лучше устроить жильё: выкопать ли пещеру, или поставить палатку, хорошенько её укрепив? В конце концов, я решил сделать и то и другое. Я полагаю, будет нелишним рассказать здесь о моих работах и описать моё жилище.

Я скоро убедился, что выбранное мною место на берегу не годится для поселения: это была низина, у самого моря, болотистая и, вероятно, нездоровая; но главное, — поблизости не было пресной воды. По всем этим причинам я решил поискать другое местечко, более здоровое и более подходящее для жилья.

При этом мне хотелось соблюсти целый ряд необходимых, с моей точки зрения, условий. Во-первых, моё жилище должно быть расположено в здоровой местности и поблизости от пресной воды; во-вторых, оно должно укрывать от солнечного зноя; в-третьих, оно должно быть безопасно от нападений дикарей, если они на острове есть, и хищных зверей; и, наконец, в-четвёртых, оттуда должен открываться вид на море, чтобы не упустить случая спастись, если судьба пошлёт какой-нибудь корабль. С надеждой на избавление мне всё ещё не хотелось расстаться.

После довольно долгих поисков я нашёл, наконец, небольшую ровную полянку на скате высокого холма. От вершины до самой полянки холм спускался отвесной стеной, так что ничто мне не угрожало сверху. В этой

отвесной стене было небольшое углубление, как бы вход в пещеру, но никакой пещеры или входа в скалу там не было.

Вот на этой-то зелёной полянке, возле самого углубления, я и решил разбить свою палатку. Площадка, поросшая травой, была не более ста ярдов [1] в ширину и двухсот ярдов в длину; в конце её холм спускался неправильными уступами в низину, к берегу моря. Расположен был этот уголок на северо-западном склоне холма. Таким образом, он весь день был в тени, а к вечеру его озаряло заходящее солнце.

Прежде чем разбить палатку, я описал на полянке полукруг, радиусом ярдов в десять, следовательно ярдов двадцать в диаметре. Затем я принялся за постройку ограды. Я расставил по этому полукругу два ряда крепких кольев, глубоко вбив их в землю. Верхушки кольев я заострил. Мой частокол вышел около пяти с половиной футов вышиной. Между обоими рядами кольев я оставил не более шести дюймов свободного пространства.

Весь этот промежуток между кольями я снизу доверху заполнил обрезками канатов, взятых с корабля, сложив их рядами, один на другой, а изнутри укрепил ограду подпорками из кольев потолще и покороче Ограда вышла у меня основательная: концы её упирались в скат холма; пролезть сквозь неё или перелезть через неё не мог бы никто — ни человек, ни зверь. Эта работа потребовала от меня много времени и труда; особенно тяжело было рубить колья в лесу, переносить их на место постройки и вколачивать в землю. Но я был доволен тем, что ценою этих усилий обеспечил себе безопасность, и мог спокойно спать ночью, что при иных условиях было бы для меня невозможно. Однако впоследствии выяснилось, что не было никакой нужды принимать столько предосторожностей против врагов, существовавших только в моём воображении.

С неимоверным трудом перетащил я в свою ограду, или крепость, все свои богатства: провизию, оружие и остальные вещи, о которых уже упоминал. Затем я заменил палатку, наспех поставленную в первые дни, другой, двойной, чтобы предохранить себя от дождей, которые в тропических странах в известное время года бывают очень сильны; я сделал следующее: сначала я разбил палатку поменьше, а поверх неё поставил большую, которую накрыл сверху брезентом, захваченным мною на корабле вместе с парусами.

[1] Ярд — немного меньше метра.

Теперь я спал уже не на подстилке, брошенной прямо на землю, а в очень удобном гамаке, принадлежавшем помощнику нашего капитана.

Я перенёс в палатку все съестные припасы, вообще всё то, что могло испортиться от дождя. Когда все вещи были сложены внутри ограды, я наглухо заделал вход, который до той поры держал открытым, и стал входить по лесенке, которую приставлял к частоколу, а перебравшись через него, — каждый раз втаскивал за собой и убирал.

Заделав ограду, я принялся рыть пещеру за палаткой. Вырытые камни и землю я через палатку стаскивал во дворик; я сделал из земли внутри ограды род насыпи, так что почва во дворике поднялась фута на полтора. Пещера приходилась как раз за палаткой и служила мне погребом.

Понадобилось много дней и много труда, чтобы довести до конца все эти работы. В ту пору многое другое занимало мои мысли, и случилось несколько памятных происшествий, о которых я хочу рассказать. Однажды — я как раз приготовился ставить палатку и рыть пещеру — вдруг набежала густая туча и хлынул проливной дождь. Потом сверкнула молния, и раздался страшный удар грома. В этом, конечно, не было ничего необыкновенного, и меня испугала не столько самая молния, сколько мысль, быстрее молнии промелькнувшая в моём мозгу: «Порох!». У меня замерло сердце, когда я подумал, что весь мой порох может быть уничтожен одним ударом молнии, а ведь от пороха зависела не только моя безопасность, но и возможность добывать себе пищу. Я даже не сообразил, какая страшная опасность угрожала мне самому, — стоило пороху взорваться, и я не миновал бы гибели.

Этот случай произвёл на меня такое сильное впечатление, что, как только гроза прекратилась, я отложил на время все работы по устройству и укреплению моего жилища и принялся делать мешочки и ящички для пороха. Я решил разделить его на части и хранить понемногу в разных местах, чтобы он ни в коем случае не мог воспламениться весь сразу. Эта работа отняла у меня почти две недели. Всего пороху у меня было около двухсот сорока фунтов. Я разложил его весь по мешочкам и по ящичкам, разделив не меньше чем на сто частей. Мешочки и ящички я запрятал по расщелинам горы, в таких местах, куда никак не могла проникнуть сырость и тщательно отметил каждое место. За бочонок с под-



мокшим порохом я не боялся и потому поставил его, как он был, в свою пещеру, или «кухню», как я её мысленно называл.

Постройка ограды заняла несколько месяцев. Всё это время я по крайней мере раз в день выходил из дому с ружьём, отчасти для развлечения, отчасти чтоб подстрелить какую-нибудь дичь и поближе ознакомиться с природой острова. В первую же свою прогулку я сделал открытие, что на острове водятся козы. Я этому очень обрадовался, но беда была в том, что эти козы были страшно дики, чутки и проворны; под-

красться к ним почти не было возможности. Меня это, однако, не смутило; я был уверен, что рано или поздно научусь охотиться на них. Я выследил места, где они обыкновенно собирались, и подметил следующее: когда они были на скалах, а я появлялся под ними в долине, — всё стадо в испуге кидалось прочь от меня; но если случалось, что я был на скале, а козы паслись в долине, тогда они не замечали меня. Отсюда я сделал вывод, что эти животные обычно не видят того, что над ними. С этих пор я стал придерживаться такого способа: я всегда взбирался сначала на какую-нибудь скалу, чтобы быть над козами, и тогда моя охота часто бывала удачна. Первым же выстрелом я убил козу, при которой был сосунок. Мне от души было жалко козлёнка. Когда мать упала, он продолжал смирно стоять возле неё. Мало того, когда я подошёл к убитой козе, взвалил её на плечи и понёс домой, козлёнок побежал за мной. Так мы дошли до самого дома. У ограды я положил козу на землю, взял в руки козлёнка и пересадил его через частокол. Я надеялся вырастить его и приручить, но он ещё не умел есть, и я был вынужден зарезать его. Мяса этих двух животных мне хватило надолго, потому что ел я мало, стараясь подольше растянуть свои запасы, в особенности сухари.

После того как я окончательно обосновался в своём новом жилище, самым неотложным для меня делом было устроить какой-нибудь очаг, в котором можно было бы разводить огонь. Необходимо было также запастись дровами. О том, ка́к я справился с этой задачей, а также о том, ка́к я расширил свой погреб и постепенно окружил себя некоторыми удобствами, я подробно расскажу в дальнейшем; теперь же мне хотелось бы поговорить о себе, рассказать, какие мысли в то время меня занимали. А их, понятно, было немало.

Моё положение представлялось мне в самом мрачном свете. Меня забросило бурей на безотрадный необитаемый остров, расположенный далеко от места назначения нашего корабля, за несколько сот миль от обычных торговых морских путей, и я имел все основания думать, что печальнейшим образом окончу свои дни здесь, в жутком одиночестве. Слёзы струились у меня из глаз, когда я думал об этом.

Особенно помню я один такой день. В глубокой задумчивости бродил я с ружьём по берегу моря, думая о своей горькой доле. И вдруг во мне заговорил голос разума. Я отчётливо представил себе, что́ было бы со

мной, если бы случилось (а из ста раз это случается девяносто девять), если бы случилось, что наш корабль остался на той отмели, куда его прибило сначала, если бы потом его не пригнало настолько близко к берегу, что я успел захватить все нужные мне вещи и таким образом обеспечить себя всем необходимым. Что́ было бы со мной, если б мне пришлось жить на этом острове в тех условиях, в каких я провёл на нём первую ночь, — без крова, без пищи и без всяких средств добыть то и другое? «В особенности, — громко рассуждал я сам с собой, — что́ стал бы я делать без ружья, без пороха, без плотницких инструментов? Как бы я жил здесь, если бы у меня не было ни постели, ни клочка одежды, ни палатки, где бы можно было укрыться?» Теперь же всё это имелось у меня, и я не боялся смотреть в глаза будущему: я знал, что к тому времени, когда истощатся заряды и порох, я найду какие-либо иные средства добывать себе пищу. Я и без ружья сносно проживу до самой смерти.

В самом деле с первых же дней моего житья на острове я задумал обеспечить себя всем необходимым на то время, когда у меня не только выйдет весь мой запас пороху и зарядов, но и начнут мне изменять здоровье и силы.

Сознаюсь, сначала я совершенно упустил из виду, что мои огнестрельные запасы могут быть уничтожены одним ударом, что молния может поджечь и взорвать мой порох. Вот почему я был так поражён, когда у меня мелькнула эта мысль во время грозы.

ГЛАВА VII

Приступая теперь к подробному описанию самой печальной отшельнической жизни, какая когда-либо выпадала в удел смертному, я начну с самого начала и буду рассказывать по порядку.

Было, по моему счёту, тридцатое сентября, когда нога моя впервые ступила на ужасный остров. Произошло это, значит, во время осеннего равноденствия.

Дней через десять-двенадцать после того как я попал на остров, мне вдруг пришло в голову, что, имея лишь самый скудный запас бумаги, перьев и чернил, я легко могу потерять счёт времени и в конце концов даже перестану отличать будни от воскресных дней. Чтобы избежать

этого, я поставил на том месте берега, куда меня выбросило море, большой деревянный столб. Затем я на дощечке вырезал ножом крупными буквами надпись: «Здесь я впервые ступил на этот берег 30 сентября 1659 года», — и накрест прибил дощечку к столбу. На этом столбе я каждый день делал ножом зарубку, а через каждые шесть зарубок делал одну подлиннее: это означало воскресенье; зарубки же, обозначавшие первое число каждого месяца, я делал еще длиннее. Таким образом, я вёл свой календарь, отмечая дни, недели, месяцы и годы.

Перечисляя предметы, в несколько приёмов перевезённые мною с корабля, я не упомянул о многих мелочах, хотя и не особенно ценных, но сослуживших мне тем не менее хорошую службу. Так, например, в каютах капитана, его помощника, канонира и плотника я нашёл чернила, перья и бумагу, три или четыре компаса, некоторые астрономические приборы, подзорные трубы, географические карты и книги по навигации. Всё это я на всякий случай сложил в один из сундуков, не зная даже, понадобится ли мне когда-либо что-нибудь из этих вещей. Кроме того, в моём собственном багаже оказалась библия (я получил её из Англии вместе с выписанными мною в Бразилию товарами и, отправляясь в плаванье, уложил вместе со своими вещами). Затем мне попалось несколько книг на португальском языке. Их я тоже подобрал. Должен ещё упомянуть, что у нас на корабле были две кошки и собака; в своём месте я расскажу любопытную историю жизни этих животных на острове. Кошек я перевёз на берег на плоту, собака же, ещё в первое моё посещение корабля, сама прыгнула в воду и поплыла следом за мной. Много лет она была мне верным товарищем и слугой, она почти заменяла мне человеческое общество. Мне хотелось только, чтобы она могла разговаривать со мной. Но это ей не было дано. Как уже сказано, я взял с корабля перья, чернила и бумагу. Я экономил их до последней возможности, и, пока у меня были чернила, аккуратно записывал всё, что случалось со мной; но когда они вышли, мне пришлось прекратить мои записи, так как я не мог придумать, чем заменить чернила.

Вообще, несмотря на то, что у меня было столько разнообразнейших вещей, мне, кроме чернил, недоставало ещё очень многого; у меня не было ни лопаты, ни заступа, ни кирки, так что нечем было копать или взрыхлять землю. Не было белья, но я скоро научился обходиться без него, не испытывая большого лишения.



Из-за недостатка инструментов всякая работа шла у меня очень медленно и трудно. Чуть не целый год понадобился мне, чтобы построить частокол, которым я решил обнести моё жильё. Нарубить в лесу толстых жердей, вытесать из них колья, перетащить эти колья к моей палатке — на всё это нужно было много времени. Колья были очень тяжелы, так что я мог поднять не более одной штуки зараз; иногда у меня уходило два дня только на то, чтобы обтесать кол и принести его домой, а третий

день — на то, чтобы вбить его в землю. Для этой последней работы я употреблял сначала тяжёлую деревянную дубину, а потом вспомнил о железных ломах, привезённых мною с корабля, и заменил дубину ломом, хотя не скажу, чтоб это принесло мне большое облегчение. Вообще вбивание кольев было для меня одной из самых утомительных и кропотливых работ.

Но я этим не смущался, так как всё равно мне некуда было девать время; по окончании же постройки у меня не предвиделось никакого дела, кроме скитаний по острову в поисках пищи. Этим я занимался изо дня в день.

С течением времени я принялся серьёзно обдумывать своё положение и начал записывать свои мысли — не для того, чтобы запечатлеть их в назидание людям, которые окажутся в моём положении, — таких людей едва ли нашлось бы много,—а просто, чтобы высказать словами всё, что неотступно меня терзало и мучило, и тем хоть сколько-нибудь облегчить свою душу. Но как ни тягостны были мои размышления, рассудок мало-помалу начинал брать верх над отчаянием. Я старался поддерживать в себе бодрость духа, убеждая себя самого, что мне могло бы быть ещё гораздо хуже и противопоставляя дурному—хорошее. И вот однажды я взял из своего скудного запаса лист бумаги, провёл вертикальную черту и с полным беспристрастием записал слева — все претерпеваемые мною бедствия, а справа — всё, что можно было найти утешительного в моём положении.

Дурное	*Хорошее*
Я заброшен судьбой на унылый, необитаемый остров; у меня нет никакой надежды на избавление.	Но я жив. Я не утонул, как все мои спутники.
Я отрезан от всего человечества; я отшельник, оторванный от всего мира.	Но я не умер с голоду и не погиб в этой безотрадной пустыне.
У меня мало одежды, и скоро мне будет нечем прикрыть своё тело.	Но я живу в жарком климате, где можно обойтись без одежды.
Я беззащитен против нападения людей и зверей.	Но остров, куда я попал, безлюден, и я не вижу здесь ни одного

	хищного зверя, тогда как на берегах Африки они водятся в изобилии. Что было бы со мной, если б меня выбросило на африканский берег?
Мне не с кем перемолвиться словом, и некому утешить меня.	Но наш корабль пригнало так близко к берегу, что я не только успел запастись всем необходимым для жизни, но и смогу добывать себе пропитание до конца моих дней.

Запись эта с очевидностью показывает, что едва ли кто на свете попадал в более горестное положение, и всё же это положение имело не только отрицательные, но и положительные стороны; горький опыт человека, испытавшего величайшее несчастье, показывает, что и в худшей из бед у нас всегда найдётся какое-нибудь утешение.

Итак, вняв голосу рассудка, я начинал мириться со своим положением. Прежде я поминутно смотрел на море в чаянии, не покажется ли где-нибудь корабль; теперь я уже покончил с напрасными надеждами и все свои помыслы направил на то, чтобы сделать своё существование сколько-нибудь сносным.

Я уже описал своё жилище. Это была палатка, разбитая на склоне холма и обнесённая крепким двойным частоколом. Но теперь этот частокол можно было назвать стеной или валом, потому что вплотную к нему, с наружной его стороны, я вывел земляную насыпь фута в два толщиной. Спустя еще некоторое время, насколько помню, года через полтора, я поставил на насыпь жерди, прислонив их к откосу, а сверху сделал настил из веток и больших листьев. Таким образом, мой дворик оказался под крышей, и теперь я мог не бояться дождей, которые, как я уже упоминал, в определённое время года лили на моём острове непрерывно.

Я уже раньше упоминал, что всё своё добро я перенёс в свою ограду и в пещеру, которую вырыл за палаткой. Но я должен заметить, что первое время вещи были свалены в кучу, как попало, и загромождали весь дворик, так что мне негде было повернуться. Поэтому я решил расширить пещеру. Сделать это было нетрудно, так как холм состоял из рых-

лой, песчаной породы. Итак, когда я увидел, что мне не угрожает опасность от хищных зверей, я принялся за дело. Прокопав вправо, сколько было нужно по моему расчёту, я взял ещё правее и вывел ход наружу, за пределы моего укрепления.

Эта подземная галлерея не только служила вторым ходом к моей палатке, не только давала возможность обходиться без приставной лесенки, но и значительно увеличивала мою кладовую.

Покончив с этой работой, я принялся за изготовление самой необходимой мебели, прежде всего стола и стула: без них я не мог вполне на-





слаждаться даже теми скромными удовольствиями, какие были доступны мне теперь; не мог расположиться поудобнее, чтобы есть, читать или писать.

И вот я принялся столярничать. Тут я должен заметить, что основа математики — разум, а потому, определяя и измеряя разумом вещи и составляя себе о них наиболее разумное суждение, каждый может через известное время овладеть любым ремеслом. До тех пор я ни разу в жизни не брал в руки рубанка, однако благодаря трудолюбию, прилежанию и

природной сообразительности я мало-помалу так наловчился, что мог бы, я уверен, смастерить всё, что угодно, в особенности, если бы у меня были нужные орудия. Но даже и без инструментов или почти без инструментов, с одним только топором да рубанком, я сделал множество предметов, хотя, вероятно, никто ещё не делал их таким первобытным способом и не затрачивал на это столько труда. Так, например, когда мне нужна была доска, я должен был срубить дерево, очистить ствол от ветвей и, поставив его перед собой, обтёсывать с обеих сторон до тех пор, пока он не приобретал нужную форму. А потом доску надо было ещё выстругать рубанком. Правда, при таком способе работы из целого дерева выходила только одна доска, и выделка этой доски отнимала у меня массу труда и времени. Но против этого у меня было лишь одно средство — терпение. К тому же, моё время и мой труд стоили недорого, так не всё ли было равно, куда и на что они шли?

Итак, я прежде всего сделал себе стол и стул. Я употребил на них короткие доски, которые привёз на плоту с корабля. Затем, натесав вышеописанным способом несколько длинных досок, я приладил в моём погребе, по одной его стороне, полки фута в полтора шириною и разложил на них свои инструменты, гвозди, железо и прочий мелкий скарб, — словом, распределил всё по местам, чтобы легко можно было найти любой предмет. Я забил также в стенку погреба колышки и развесил на них свои ружья и вообще всё то из вещей, что можно было повесить.

Кто увидал бы после этого мою пещеру, тот, наверно, принял бы её за склад предметов первой необходимости. Всё было у меня под руками, и мне доставляло огромное удовольствие заглядывать в этот склад: такой образцовый порядок царил там и столько там было всякого добра.

ГЛАВА VIII

По окончании этой работы я начал вести свой дневник, аккуратно записывая всё, что я сделал в течение дня. Первое время я был так занят устроением своей жизни и так удручён, что, начни я дневник в ту пору, моё мрачное расположение духа неизбежно отразилось бы в моих записях.

В течение ещё многих дней после того как волны выбросили меня на пустынный остров, я то и дело взбегал на пригорок и смотрел на море, в надежде увидеть на горизонте корабль. Сколько раз мне мерещилось, что

вдали белеет парус, и я предавался радостным надеждам! Я смотрел, смотрел, пока у меня не начинало рябить в глаза, а затем, охваченный отчаянием, бросался на землю и плакал, как дитя, только усугубляя своё несчастие собственным неразумием.

Но когда я, наконец, в какой-то мере совладал с собой, когда я устроил своё жилище, привёл в порядок домашний скарб, сделал себе стол и стул, вообще обставил себя так удобно, как только мог, — я принялся за дневник. Привожу его здесь полностью, хотя описанные в нём события уже известны читателю из предыдущих глав. Я вёл его, покуда у меня были чернила, когда же они вышли, дневник поневоле пришлось прекратить.

ДНЕВНИК

30-е сентября 1659 года.— Я, несчастный Робинзон Крузо, потерпел крушение во время страшной бури и был выброшен на берег этого ужасного, пустынного острова, который я назвал Островом отчаяния. Все мои спутники с нашего корабля потонули, и сам я был едва жив.

Весь остаток дня я провёл в слезах и жалобах на свою злосчастную судьбу: у меня не было ни пищи, ни крова, ни одежды, ни оружия; мне негде было укрыться от врагов; отчаявшись получить откуда-нибудь избавление, я видел впереди только смерть. Мне казалось, что меня или растерзают хищные звери, или убьют дикари, или же я умру с голоду; с приближением ночи я взобрался на дерево, так как страшился хищных зверей. Однако я отлично выспался, несмотря на то, что всю ночь шёл дождь.

1-е октября. — Проснувшись поутру, я увидел, к великому моему изумлению, что наш корабль приливом сняло с мели и пригнало гораздо ближе к берегу. Это было весьма утешительно; корабль был цел, не опрокинулся, так что у меня появилась надежда добраться до него, когда ветер утихнет, и запастись там едой и самыми необходимыми вещами; но в то же время ожила моя скорбь по погибшим товарищам. Мысль о них не давала мне покоя. Всё же я отправился на корабль, как только начался отлив. Сначала я шёл по обнажившемуся морскому дну, а потом пустился вплавь.

С 1-го по 24-е октября. — Все эти дни я был занят перевозкой с корабля всего, что можно было снять оттуда. С началом прилива я на плотах переправлял свой груз на берег. Всё это время — дожди с небольшими промежутками ясной погоды: вероятно, здесь сейчас дождливое время года.

20-е октября. — Мой плот опрокинулся, и весь груз затонул; но так как это случилось на мелком месте, а вещи все были тяжёлые, то с наступлением отлива мне удалось спасти бо̀льшую часть их.

25-е октября. — Всю ночь и весь день шёл дождь и дул порывистый ветер. Корабль за ночь разнесло в щепы: на том месте, где он стоял, торчат какие-то жалкие обломки, да и те видны только во время отлива. Весь этот день я укрывал и укладывал спасённое мною добро, чтобы его не попортило дождём.

26-е октября. — Почти весь день бродил по берегу, отыскивая удобное местечко для жилья. Самое важное — чтобы оно было защищено от ночных нападений дикарей и хищных зверей. К вечеру нашёл наконец подходящее место — ровную площадку на крутом склоне холма. Нужно будет сделать надёжную ограду.

С 26-го по 30-е октября.—Усиленно работал: перетаскивал своё имущество в новое жилище, хотя почти всё время дождь лил как из ведра.

31-е октября. — Утром ходил по острову с ружьём, надеясь подстрелить какую-нибудь дичь и осмотреть местность. Убил козу, её козлёнок побежал за мной и проводил меня до самого дома, но спустя несколько дней мне пришлось убить и его, так как он не умел ещё есть.

1-е ноября. — Разбил на склоне холма палатку, постаравшись сделать её как можно более поместительной, повесил в ней на кольях гамак и впервые провёл в нём ночь.

2-е ноября. — Собрал все ящики и доски, а также остатки брёвен от плотов и соорудил из них баррикаду вокруг палатки.

3-е ноября. — Ходил с ружьём. Убил двух птиц, похожих на уток. Их мясо оказалось очень вкусным. После обеда начал столярничать — мастерил стол.

4-е ноября. — Распределил своё время, отведя определённые часы для работы, для охоты, для сна и для развлечений. Вот распорядок моего дня: с утра, если погода ясная, часа два-три хожу по острову с ружьём, затем до одиннадцати работаю, после этого завтракаю, с двенад-

цати до двух — отдыхаю, так как это самая жаркая пора дня; затем к вечеру опять принимаюсь за работу. Последние два дня все рабочие часы трудился над изготовлением стола. Сначала я был горе-столяром, но время и нужда быстро сделали из меня мастера на все руки. Так было бы, конечно, и со всяким другим на моём месте.

5-е ноября. — Сегодня ходил с ружьём, взяв с собой собаку. Убил дикую кошку; шкурка довольно мягкая, но мясо никуда не годится. Я сдираю шкурку с каждого убитого мною животного и относу в свой склад. Возвращаясь домой берегом моря, видел много разных птиц, но всё неизвестных мне пород. Видел ещё двух или трёх тюленей. Я не сразу распознал, что это за звери, и даже испугался. Пока я к ним присматривался, они нырнули в воду и таким образом ускользнули от меня на этот раз.

6-е ноября. — После утренней прогулки снова работал над столом и докончил его.

12-е ноября. — Устанавливается ясная погода. 7, 8, 9, 10 и частью 12-е число (11-го было воскресенье) целиком ушли на то, чтобы смастерить стул. Мне стоило большого труда придать ему сносную форму. Несколько раз я разбирал его на части, сызнова принимался за работу, и всё-таки недоволен результатом.

13-е ноября. — Сегодня шёл дождь; он охладил землю и очень освежил меня, но всё время гремел страшный гром и сверкала молния, так что я испугался за свой порох. Когда гроза прекратилась, я решил весь мой запас пороха разделить на мелкие части и разложить по разным местам, чтоб он не взорвался весь разом.

14-е, 15-е и 16-е ноября. — Все эти дни делал ящички для пороху с таким расчётом, чтобы в каждый ящичек вошло от одного до двух фунтов. Сегодня разложил весь порох по этим ящичкам и запрятал их в расщелины скалы, как можно дальше один от другого. Вчера убил большую птицу. Мясо у неё очень вкусное. Как она называется — не знаю.

17-е ноября. — Сегодня начал рыть углубление в холме за палаткой, чтобы поудобнее разложить своё имущество. Для этой работы крайне необходимы три вещи: кирка, лопата и тачка или корзина, а у меня их нет. Пришлось пока отказаться от работы. Долго думал, чем бы заменить эти орудия или как их изготовить. Вместо кирки попробовал рабо-

тать железным ломом; он годится, только слишком тяжёл. Остаётся сделать лопату или заступ. Без лопаты никак не обойтись, но я решительно не придумаю, как тут быть.

18-е ноября. — Отыскивая в лесу материал для своих построек, нашёл то дерево, или похожее на него, которое в Бразилии называют железным за его необыкновенную твёрдость. С большим трудом, сильно притупив при этом свой топор, срубил одно такое дерево и еле притащил его домой: оно было очень тяжёлое. Я решил сделать из него лопату. Дерево такое твёрдое, что эта работа отняла у меня много времени, но другого выхода не было. Мало-помалу я придал обрубку форму лопаты, причём рукоятка вышла не хуже, чем делают у нас в Англии, но самая лопата, не будучи обита железом, прослужила мне недолго. Впрочем, она очень мне пригодилась, я изрядно использовал её для земляных работ. Но я думаю, ни одна лопата на свете не изготовлялась таким допотопным способом и так долго.

Мне недоставало ещё тачки или корзины. О корзине нечего было и мечтать, так как у меня не было гибких прутьев, чтобы мастерить плетёные изделия. Что же касается тачки, то я считал изготовление её нехитрым делом и думал, что вся трудность в колесе, а я понятия не имел о том, как делаются колёса; кроме того, для оси нужен был железный стержень, которого у меня тоже не было. Пришлось оставить эту затею. Поэтому, чтобы выносить вырытую землю, я сделал нечто вроде корыта, в каких каменщики держат извёстку.

Корыто было легче сделать, чем лопату; тем не менее, всё вместе — корыто, заступ и бесплодные попытки смастерить тачку — отняло у меня по меньшей мере четыре дня, за вычетом утренних прогулок с ружьём. Редкий день я не выходил на охоту, и почти не было случая, чтобы я не принёс себе что-нибудь на обед.

23-е ноября. — Пока я трудился над всеми этими орудиями, остальная моя работа стояла. Докончив их, я опять принялся рыть пещеру. Я рыл каждый день, с утра до вечера, сколько хватало времени и сил: на эту работу у меня ушло целых восемнадцать дней. Мне нужно было, чтобы пещера могла служить мне складом, кухней, столовой и погребом.

10-е декабря. — Я думал, что кончил возиться с пещерой, как вдруг сегодня с одного края свода посыпалась земля и камни. Должно быть, я слишком её расширил. Обвал был такой, что я испугался, и не без

основания: окажись я там в ту минуту, я уже наверно не остался бы в живых. Этот прискорбный случай причинил мне много хлопот и задал новую работу: нужно было вынести всю осыпавшуюся землю, а главное — покрепче подпереть свод, иначе я не мог быть уверен, что обвал не повторится.

11-е декабря. — Сегодня я занялся этой работой. Покамест я поставил в виде подпоры два столба, а наверху каждого из них укрепил крест-на-крест по две доски. Эту работу я окончил на следующий день. Поставив ещё несколько таких столбов с досками наверху, я таким образом за неделю основательно укрепил свод. Столбы стоят рядами, так что заодно будут служить в моём погребе перегородкой.

17-е декабря. — С этого дня по 20-е число прилаживал в погребе полки, вбивал гвозди в столбы, раскладывал и развешивал вещи. Теперь у меня в хозяйстве будет порядок.

20-е декабря. — Перенёс все вещи в погреб и разложил их по местам. Прибил несколько полочек для провизии: вышло нечто вроде буфета. Сделал и ещё один стол. Теперь досок осталось очень мало.

24-е декабря. — Проливной дождь всю ночь и весь день; не выходил из дому.

25-е декабря. — Дождь льёт непрерывно.

26-е декабря. — Дождь перестал. Прояснилось и стало гораздо прохладнее; очень приятная погода.

27-е декабря. — Подстрелил двух козлят: одного убил, другого ранил в ногу, так что он не мог убежать; я поймал его и привёл домой на верёвке. Дома осмотрел ему ногу; она была перебита, и я забинтовал её.

Более поздняя запись. Я выходил козлёнка: сломаная нога срослась, и он отлично бегал. Я так долго ухаживал за ним, что он стал ручным и не хотел уходить. Он пасся у меня на лужке перед палаткой. Тогда-то мне в первый раз пришло в голову завести домашний скот, чтобы обеспечить себе пропитание к тому времени, когда у меня выйдут заряды и порох.

28-е, 29-е, 30-е и 31-е декабря.—Сильная жара при полном безветрии. Выходил из дому только по вечерам на охоту. За эти дни я окончательно привёл в порядок своё хозяйство.

1-е января. — Несмотря на жару, которая всё ещё не спадает, сегодня ходил на охоту два раза: рано утром и под вечер. В полдень отдыхал.

Вечером прошел по долине подальше, в глубь острова, и видел много коз; но они крайне пугливы и не подпускают к себе близко. Хочу попробовать охотиться на них с собакой.

2-е января. — Сегодня взял с собой собаку и натравил на коз, но опыт не удался: всё стадо повернулось навстречу собаке, она, должно быть, почуяла опасность и ни за что не хотела подойти к ним.

3-е января. — Начал строить ограду или, вернее, частокол. Я всё ещё опасаюсь неожиданного нападения каких-нибудь врагов, поэтому я решил сделать её как можно прочнее и толще.

Моя ограда уже описана на предыдущих страницах, поэтому я опускаю всё, что говорится о ней в моём дневнике. Достаточно будет заметить, что я провозился над ней, считая с начала работы до полного её завершения, с 3 января по 14 апреля, хотя вся её длина не превышала двадцати четырёх ярдов. Я уже говорил, что ограда шла полукругом, концы которого упирались в холм. От середины её до холма было около восьми ярдов.

Всё это время я работал, не покладая рук. Мне казалось, что до окончания ограды я не могу чувствовать себя в полной безопасности. Трудно поверить, сколько труда я положил на это сооружение. Но случалось, что дожди прерывали мой труд на несколько дней и даже недель.

Когда ограда была окончена и укреплена с наружной стороны земляной насыпью, я успокоился. Мне казалось, что если бы на острове появились люди, они не заметили бы ничего похожего на человеческое жильё. Во всяком случае, я хорошо сделал, тщательно укрыв своё жилище, как то покажет один примечательный случай, о котором я расскажу в дальнейшем.

Всё это время я продолжал ежедневно бродить по лесам в поисках дичи, разумеется, когда это позволяла погода, и во время этих скитаний сделал много полезных открытий. Так, например, я высмотрел особую породу диких голубей, которые вьют гнёзда не на деревьях, как наши дикие голуби, а в расщелинах скал. Как-то раз я вынул из гнезда птенцов с тем, чтобы дома выкормить их и приручить. Мне удалось их вырастить, но как только у них окрепли крылья, они улетели, быть может из-за того, что у меня не было для них подходящего корма. Как бы то

ни было, я часто отыскивал их гнёзда и забирал птенцов; голубятина была для меня лакомым блюдом.

Когда я начал обзаводиться хозяйством, я увидел, что мне недостаёт многих необходимых вещей. Смастерить их своими силами я вначале считал невозможным, и действительно, кое-что из них, например, бочку, так и не сумел сделать. У меня были, как я уже говорил, два или три бочонка, взятых с корабля, но, сколько я ни бился, мне самому не удалось сделать ни одного, хотя я потратил на эту работу несколько недель. Я не мог ни вставить дно, ни сбить клёпки так плотно, чтобы они не пропускали воды; в конце концов, пришлось отказаться от этой затеи.

Затем мне очень нужны были свечи. Как только начинало темнеть, а смеркалось обычно около семи часов, мне приходилось ложиться в постель. Я часто вспоминал про тот кусок воску, из которого делал свечи во время моих скитаний у берегов Африки, но теперь воску у меня не было. В конце концов, я сообразил, что могу воспользоваться жиром коз, которых убивал на охоте. Я сделал себе светильник: плошку собственноручно вылепил из глины, а потом обжёг на солнце, для фитиля же взял пеньку из старой верёвки. Светильник, в котором горел козий жир, давал свет мигающий и тусклый, но всё же я не сидел впотьмах.

В разгар этих работ, роясь однажды в своих вещах, я нашёл небольшой мешок с зерном для птицы, которую мы везли с собой на корабле. Я уже упоминал, что остатки этого зерна в мешке были попорчены крысами — по крайней мере, когда я заглянул в него, мне показалось, что там одна труха. Так как мешок был мне нужен для чего-то другого (кажется, под порох: дело было как раз в ту пору, когда я, испугавшись грозы, решил разложить его мелкими частями), то я вытряхнул его на полянку, под скатом холма.

Это было незадолго до начала проливных дождей, о которых я уже говорил. Я давно забыл об этом мешке, не помнил даже, в каком месте я его вытряхнул. Но вот прошло около месяца, и я заметил на полянке несколько зелёных стебельков, только что выглянувших из земли. Сначала я думал, что это какое-нибудь незнакомое мне растение. Как же я изумился, когда, спустя ещё несколько недель, зелёные стебельки — их было всего штук десять-двенадцать—выпустили колосья, оказавшиеся колосьями отличного ячменя, того самого, который растёт в Европе, растёт у нас в Англии.



Невозможно описать волнение, охватившее меня, когда я увидел этот ячмень. Я был глубоко растроган. Мне казалось, что ради меня совершилось великое чудо, что волею божьей ячмень вырос сам собой, без семян, чтобы прокормить меня на этом диком, пустынном острове.

Но удивление моё на этом не кончилось: вскоре я заметил, что рядом, на той же полянке, между колосьями ячменя кое-где показались стебельки другого растения — риса. Я их легко распознал, так как, живя в Африке, часто видел рисовые поля.

Я не только был уверен, что этот рис и этот ячмень посланы мне самим провидением, но не сомневался, что они растут здесь ещё где-нибудь. Я обошёл всю ту часть острова, где уже бывал раньше, обшарил все уголки, заглядывал под каждую кочку, но нигде не нашёл ни риса, ни

ячменя. Только тогда я, наконец, вспомнил про мешок с птичьим кормом, который вытряхнул на землю подле своего жилища. Чудо объяснилось самым естественным образом: по счастливой случайности, я вытряхнул мешок на том конце полянки, куда падала тень от холма. Стоило мне вытряхнуть его немного подальше, и семена не взошли бы: их выжгло бы солнце. Это открытие сильно охладило мою пылкую признательность к провидению.

Читатель может себе представить, как тщательно собрал я колосья, когда они созрели. Было это в конце июня. Я сберёг все зёрнышки до единого и решил снова посеять весь урожай, в надежде со временем накопить столько зерна, чтобы его хватало мне на пропитание. Но только на четвёртый год я мог позволить себе уделить весьма скромную часть этого зерна на еду. Дело в том, что у меня пропал весь урожай от первого посева: я плохо рассчитал время, посеял перед самой засухой, и взошла только небольшая часть семян.

Кроме ячменя, у меня, как уже сказано, выросло двадцать или тридцать стеблей рису. Я убрал рис так же тщательно, и весь первый сбор тоже употребил на посев.

Все те четыре или три с половиной месяца, когда я был занят постройкой своей ограды, я работал не покладая рук. 14 апреля ограда была окончена и наглухо заделана; я решил входить и выходить по приставной лесенке, чтобы снаружи не было никаких признаков жилья.

16-е апреля. — Кончил мастерить лесенку, перелезаю через частокол и каждый раз убираю лесенку за собой. Теперь я огорожен со всех сторон. В моей крепости довольно просторно, и проникнуть в неё можно только через крепкий частокол.

Но на другой же день после того как я окончил свою ограду, весь мой труд чуть не пропал даром, да и сам я едва не погиб. Я чем-то был занят на поляне, за палаткой, у самого входа в пещеру, как вдруг произошло нечто страшное. Со свода пещеры и с выступа холма посыпалась земля, и два передние столба, поставленные мною в пещере, рухнули с оглушительным грохотом. Я очень испугался, но не сразу понял, что именно случилось, а просто подумал, что свод обвалился, как это уже было однажды, из-за рыхлости почвы. Боясь, как бы меня не засыпало новым обвалом, я побежал к лесенке и перелез через ограду наружу. Но не успел я соскочить на землю, как мне стало ясно, что на этот раз причиной обва-

ла в пещере было страшное землетрясение. Земля подо мной колебалась, и в течение нескольких минут было три таких сильных толчка, что самое прочное здание и то рассыпалось бы в прах. На моих глазах от высившегося у моря утёса откололась верхушка и рухнула с таким грохотом, какого я в жизни своей не слыхал. Море тоже бушевало; мне даже кажется, что в море подземные толчки были сильнее, чем на острове.

Я был несказанно потрясён. Ни о чём подобном я не слыхал раньше, и сам никогда не видел такого зрелища. От колебаний почвы со мной сделалась морская болезнь, совсем как от корабельной качки: мне казалось, что я умираю; грохот падающего утёса привёл меня в себя: ко мне вернулось сознание, и я замер при мысли, что на мою палатку может обрушиться скала и всё моё имущество погибнет. Я снова оцепенел от ужаса.

После третьего толчка несколько минут прошло благополучно, и я приободрился, но, опасаясь, что толчки возобновятся и я буду похоронен заживо, я ещё не решался перелезть через ограду обратно в своё жилище и долго сидел на земле, подавленный страхом и отчаянием.

Между тем небо заволоклось тучами и потемнело, как перед дождём. Подул ветерок — сначала слабо, потом сильнее и сильнее, и через какие-нибудь полчаса забушевал неистовейший ураган. Море запенилось, забурлило и с рёвом билось о берега; деревья вырывало с корнями, картина была ужасная. Так продолжалось часа три, потом буря стала стихать; ещё часа через два наступил мёртвый штиль, и разразился сильнейший ливень.

Я вскоре промок до костей. Это придало мне решимости; я перелез обратно через ограду и уселся было в палатке, но дождь лил, как из ведра, и пробивал палатку насквозь. Я перекочевал в пещеру, хотя очень боялся обвала.

Этот ливень задал мне новую работу: пришлось проделать в ограде отверстие для стока воды, иначе пещеру затопило бы. Просидев в ней некоторое время и убедившись, что подземные толчки больше не повторяются, я мало-помалу успокоился. Для поддержания бодрости — а я в этом сильно нуждался — я подошёл к своему буфету и отхлебнул глоток рому, но самый маленький. Я вообще расходовал ром весьма экономно, так как хорошо знал, что когда выйдет весь мой запас, мне неоткуда будет его пополнить.

Весь следующий день я просидел дома из-за ливня. Теперь, несколько придя в себя, я начал серьёзно обдумывать своё положение и пришёл к выводу, что, коль скоро этот остров подвержен землетрясениям, мне в пещере нельзя жить. Рано или поздно я не миную гибели. Значит, нужно не мешкая разбить палатку или построить шалаш где-нибудь на открытом месте, а чтобы обезопасить себя от нападений дикарей и хищных животных, построить там такую же ограду.

Действительно, моя палатка стояла на опасном месте — под выступом холма, который, в случае нового землетрясения, мог обрушиться на неё. Поэтому я решил перекочевать вместе с палаткой на другое место.

От страха, что меня может засыпать заживо, я не спал по ночам; ночевать за оградой на открытом месте я тоже боялся. И всё же, когда я, сидя в своём уголке, думал о том, как я уютно устроился, в каком порядке у меня хозяйство и как хорошо я укрыт от врагов, мне очень не хотелось покидать обжитое местечко.

К тому же, я уяснил себе, что на переселение мне понадобится очень много времени и что, стало быть, всё равно придётся мириться с опасностью обвала, пока я не укреплю новое жильё так, чтобы можно было перебраться туда. Придя к такому выводу, я успокоился, но всё-таки решил немедленно отправиться на поиски, а найдя подходящее место, — тотчас приняться за сооружение ограды. Это было 21-го апреля.

22-е апреля. — На следующее утро я начал думать о том, как мне осуществить свой план. Главное затруднение заключалось в инструментах. У меня было три больших топора и множество маленьких (мы их везли на корабле для меновой торговли с индейцами), но от частого употребления и оттого, что приходилось рубить очень твёрдые суковатые деревья, все они зазубрились и затупились. Правда, у меня было точило, но я не мог одновременно рукой приводить в движение камень и точить на нём. Вероятно, ни один государственный муж, ломая себе голову над важным политическим вопросом, и ни один судья, решая казнить ли человека или помиловать, не тратили столько умственной энергии, сколько потратил я на разрешение этой задачи. В конце концов, мне удалось приладить к точилу колесо с ремнём, которое приводилось в движение ногой и вращало точильный камень, оставляя свободными обе руки. Устройство этого приспособления заняло у меня целую неделю.

28-е и 29-е апреля. — Два дня точил инструменты: моё приспособление действует очень хорошо.

30-е апреля.—Сегодня я обнаружил, что мой запас сухарей на исходе. Пересчитал все мешки и, как это ни тяжко, решил съедать не более одного сухаря в день.

1-е мая. — Сегодня утром во время отлива заметил издали на берегу какой-то крупный предмет, похожий на бочку. Пошёл посмотреть, и оказалось, что это, действительно, бочонок. Тут же валялось два-три деревянных обломка нашего корабля. Должно быть, всё это выбросило на берег последней бурей. Я взглянул в ту сторону, где торчал остов корабля, и мне показалось, что он выступает над водой больше прежнего. Осмотрел выброшенный морем бочонок: в нём оказался порох, но подмоченный и затвердевший. Тем не менее, я выкатил бочонок повыше, а сам по отмели отправился к остову корабля, — посмотреть, не найдётся ли там ещё что-нибудь полезное.

Подойдя к кораблю ближе, я заметил, что он как-то странно переместился. Носовая часть, которою он прежде почти зарывался в песок, приподнялась по крайней мере на шесть футов, а корма, разбитая на куски и давно уже отколовшаяся, была отброшена в сторону и лежала боком. Кроме того, в этом месте образовался такой высокий песчаный нанос, что я мог вплотную подойти к кораблю, тогда как раньше ещё за четверть мили до него начиналась вода, и я должен был пускаться вплавь. Такая перемена в положении корабля сначала меня удивила, но вскоре я сообразил, что это — последствие землетрясения. Оно же было причиной того, что корабль совсем раскололся; теперь к берегу ежедневно ветром и течением прибивало множество предметов, которые водой уносило из открытого трюма.

Происшествие с кораблём совершенно отвлекло мои мысли от намерения переселиться на новое место. Весь день я пытался проникнуть во внутренние помещения корабля, но это оказалось невозможным, так как все они были забиты песком. Однако это меня не смутило; я уже научился ни от чего не приходить в уныние. Я решил растаскивать корабль по кусочкам, так как знал, что в моём положении всё может пригодиться.

3-е мая.—Сегодня взял с собой пилу. Перепилил в корме поперечную балку, но затем вынужден был отложить работу, так как начался прилив.

4-е мая. — Удил рыбу, но ни одной съедобной не поймал. Соскучившись, уже хотел было уйти, но, закинув удочку в последний раз, поймал маленького дельфина. Удочка у меня была самодельная: лёсу я сделал из пеньки от старой верёвки, а крючки — из мелких гвоздей. Тем не менее, на мою удочку ловилось столько рыбы, что я мог есть её вволю. Варить её мне было не в чем, и я вялил её на солнце.

5-е мая. — Работал на корабле. Подпилил другую балку. Отодрал от палубы три больших сосновых доски, связал их вместе и, дождавшись прилива, переправил на берег.

6-е мая. — Опять работал на корабле. Отделил кое-какие железные части, в том числе несколько болтов. Работал изо всех сил, вернулся домой совсем измученный. Подумываю, не бросить ли это дело.

7-е мая. — Опять ходил к кораблю, но не с тем, чтобы работать. Так как балки были перепилены, то палуба окончательно расселась от собственной тяжести, и я мог заглянуть в трюм; но он почти доверху наполнен песком и водой.

8-е мая. — Ходил на корабль с железным ломом: решил разворотить всю палубу, которая теперь совсем очистилась от песку. Отодрал две доски и пригнал их с приливом к берегу. Лом оставил на корабле для завтрашней работы.

9-е мая. — Разломал ещё несколько досок и пробрался в трюм. Нащупал там пять или шесть бочек. Высвободил также большой кусок листового свинца и даже приподнял его немного, но вытащить нехватило силы.

С 10-го по 14-е мая. — Каждый день наведывался на корабль. Добыл много кусков дерева, много досок, брусьев и т. п., а также центнера[1] два-три железа.

15-е мая. — Сегодня брал с собой на корабль два маленьких топора: хотел отрубить кусок листового свинца, причём один топор должен был служить мне ножом, а другой — молотком. Но так как свинец лежит фута на полтора под водой, то я не мог ударить с надлежащей силой.

16-е мая. — Ночью дул сильный ветер. Остов корабля ещё больше расшатало волнением. Я долго искал в лесу голубей на еду, замешкался и уж не мог попасть на корабль из-за прилива.

---

[1] Центнер — десятая часть тонны, сто килограммов.

24-е мая. — Всё ещё работаю на корабле. С величайшим трудом так сильно расшатал ломом несколько предметов, что с первым же приливом из трюма всплыли наверх несколько бочек и два матросских сундука. Но ветер дул с берега, так что их угнало в море. Зато сегодня прибило к берегу несколько обломков дерева и большую бочку с остатками бразильской свинины, которая, впрочем, была совсем попорчена солёной водой и песком.

Так я трудился с 25-го мая по 16-е июня ежедневно, кроме тех часов, когда приходилось добывать пропитание. Но с тех пор, как я возобновил посещения корабля, я охотился только во время прилива, чтобы к началу отлива уже ничто не мешало моей работе. За эти три недели набрал такую кучу дерева и железа, что хватило бы на хорошую лодку, если б только я умел её сделать.

16-е июня. — Нашёл на берегу большую черепаху. Раньше я никогда их здесь не видал, что объясняется просто случайностью, ибо, как оказалось впоследствии, черепахи на моём острове отнюдь не были редкостью.

17-е июня. — Весь день жарил черепаху на угольях. Нашёл в ней штук шестьдесят яиц. Никогда в жизни я, кажется, не едал такого вкусного мяса. И немудрено! С тех пор, как я оказался на этом злополучном острове, мою мясную пищу составляли исключительно козы да птицы.

18-е июня. — С утра до вечера лил дождь, и я не выходил. Весь день меня знобит.

19-е июня. — Мне очень нездоровится: так зябну, словно на дворе зима.

20-е июня. — Всю ночь не сомкнул глаз: сильная головная боль и озноб.

21-ое июня. — Совсем плохо. Несказанно боюсь захворать: что станется со мной тогда в безысходном одиночестве!

22-е июня. — Сегодня мне немного полегчало, но мысль, что я могу разболеться, попрежнему страшит меня.

23-е июня. — Опять нехорошо: весь день знобило и сильно болела голова.

24-е июня. — Мне гораздо лучше.

25-е июня. — Сильный приступ лихорадки, часов семь подряд меня бросало то в жар, то в холод. Закончился приступ лёгкой испариной.



26-е июня. — Стало лучше. У меня вышел весь запас мяса, и я, несмотря на неимоверную слабость, пошёл на охоту. Убил козу, через силу дотащил её до дому, изжарил кусочек на угольях и поел. Мне очень хотелось сварить себе бульон, но у меня нет горшка.

27-е июня. — Опять приступ лихорадки, такой сильный, что я весь день пролежал в постели, не евши и не пивши. Я умирал от жажды, но не в силах был встать и сходить за водой. Я метался часа два или три, покуда приступ не прошёл. Тогда я уснул и не просыпался до поздней ночи.

Проснувшись, я почувствовал себя гораздо бодрее, хотя всё-таки был очень слаб. Мне очень хотелось пить, но так как ни в палатке, ни в погребе не было ни капли воды, то пришлось мучиться жаждой до утра.

28-е июня. — Наутро, немного освежённый сном, я встал; приступ лихорадки совершенно прошёл; но я рассудил, что на другой день он может повториться, и поэтому решил заранее припасти всё, что может

мне понадобиться в случае, если мне опять станет хуже. Первым делом я наполнил водой большую бутыль и поставил её на стол в таком расстоянии от постели, чтобы до неё можно было дотянуться, не вставая; а чтобы обезвредить воду, лишив её свойств, вызывающих простуду или лихорадку, я влил в неё изрядное количество рому и взболтал жидкость. Затем я отрезал козлятины и изжарил её на угольях, но съел самый маленький кусочек, — больше не мог. Пошёл было прогуляться, но от слабости едва передвигал ноги; к тому же, меня очень угнетало сознание моей беспомощности. Вечером поужинал тремя испечёнными в золе черепашьими яйцами. После ужина снова пытался пройтись, но был так слаб, что с трудом мог нести ружьё, — я никогда не выхожу без ружья. Вернувшись домой, я зажёг свой светильник, так как уже начинало смеркаться, и в глубоком унынии опустился на стул у стола. Страх перед болезнью весь день не покидал меня. Вдруг я вспомнил, что жители Бразилии от всех почти недугов лечатся табаком и что в одном из моих сундуков лежит несколько пачек этого зелья. Я тотчас пошёл в свою кладовую и разыскал его. Затем я приготовил табачную настойку на роме, с тем, чтобы выпить её часа через два, перед сном. Настойка оказалась такой крепкой и противной на вкус, что я с трудом её проглотил. Она сразу бросилась мне в голову, и я крепко уснул. Когда я проснулся на другой день, было, судя по солнцу, около трёх часов пополудни. Долгий сон удивительно меня освежил: я встал бодрый и в весёлом расположении духа. У меня заметно прибавилось сил, очень хотелось есть. Лихорадка в тот день не повторялась, и вообще с тех пор я начал быстро поправляться. Это было 29-го июня.

30-е число было счастливым для меня днём. Выходил с ружьём, но не слишком удалялся от дома. Убил двух морских птиц, похожих на казарок. Вечером снова принял лекарство, табачную настойку на роме, которое так помогло мне накануне: только в этот раз я выпил его не так много. Однако на другой день, 1-го июля, я чувствовал себя вопреки ожиданию не так хорошо; меня опять знобило, хотя и не сильно.

С 4-го по 14-ое июля я часто ходил с ружьём на охоту, но недалеко, так как не совсем ещё окреп после болезни. Трудно себе представить, до чего я тогда отощал и ослабел. Моё лечение табаком, вероятно, никогда ещё до сих пор не применялось против лихорадки; испытав его на себе, я не решусь никому рекомендовать его: правда, оно помогло от лихорадки,

но вместе с тем страшно ослабило меня, и в течении некоторого времени я страдал судорогами во всём теле и нервною дрожью.

Моя болезнь показала мне, что здесь пагубнее всего для здоровья оставаться под открытым небом во время дождей, особенно если они сопровождаются грозой и ураганом, и что поэтому ливни, которые льют в дождливый период, то есть в сентябре и октябре, не так опасны, как те, что перепадают случайно в сухую пору.

ГЛАВА IX

Прошло десять с лишним месяцев моего житья на злополучном острове. Я был твёрдо убеждён, что никогда человеческая нога не ступала и не ступит на эти пустынные берега; приходилось, повидимому, отказаться от всякой надежды на избавление. Теперь, когда я обезопасил своё жильё от нападений, я решил более основательно обследовать остров и посмотреть, нет ли на нём ещё каких-нибудь животных и растений, неизвестных мне до сей поры.

Я начал это обследование 15-го июля. Прежде всего я направился к той бухте, вернее — устью реки, где я причаливал с моими плотами. Пройдя мили две вверх по её течению, я убедился, что пролив не заходит дальше; начиная с этого места и выше, вода была пресная и прозрачная. Время года было сухое, речка местами совершенно обмелела.

По берегам её тянулись сочные, изумрудно-зелёные луга, а дальше, там, где низина постепенно повышалась, рос в изобилии табак с высокими, толстыми стеблями. Там были и другие растения, каких я раньше никогда не видал; весьма возможно, что, знай я их свойства, я мог бы извлечь из них пользу для себя.

Я искал кассаву, из корня которой индейцы в тех широтах делают муку, но не нашёл. Зато увидел растение, называемое алоэ, и сахарный тростник. Но я не знал, какое употребление можно сделать из алоэ; что же касается сахарного тростника, то он рос в диком состоянии и поэтому был негоден в пищу. На первый раз я удовольствовался этими открытиями и пошёл домой, по дороге размышляя о том, как бы мне поучиться распознавать свойства тех плодов и растений, которые я найду. Но мне не удалось ничего придумать. Когда я жил в Бразилии, я так мало обра-

щал внимания на тамошнюю флору, что не знал даже самых обыкновенных полевых растений, да и вряд ли мои скудные познания пригодились бы мне теперь, в совершенно иных обстоятельствах.

На другой день, 16-го июля, я отправился той же дорогой, но прошёл немного дальше; луга кончились, начали попадаться тенистые рощи. В этой части острова я нашёл разные плоды, в том числе дыни, которых было множество, и виноград. По стволам деревьев вились виноградные лозы; роскошные гроздья только что созрели. Это открытие несколько удивило меня и очень обрадовало; однако я поел винограду весьма умеренно, ибо во́-время вспомнил, что когда я жил в Берберии, несколько невольников-англичан, объевшись виноградом, умерло от дизентерии и лихорадки.

Я не вернулся домой в этот день; к слову сказать, это была первая ночь, которую я провёл на острове вне дома. Как и в день кораблекрушения, я взобрался на дерево и отлично выспался, а наутро продолжал своё путешествие. Я шёл по живописной долине, окаймлённой двумя грядами холмов. В конце этого пути было открытое место, заметно понижавшееся к западу. Родничок же, пробивавшийся откуда-то сверху, струился в противоположном направлении, то есть на восток. Всё вокруг зеленело, цвело и благоухало, словно сад, возделанный руками человека. Тут росло множество кокосовых пальм, апельсинных и лимонных деревьев, но все они были дикие, и лишь на немногих из них виднелись плоды. Я нарвал зелёных лимонов, которые были не только приятны на вкус, но и очень мне полезны.

Мне предстояло теперь много работы: я решил запастись виноградом и лимонами на приближавшееся дождливое время года. Я собрал сколько мог винограду и сложил его в большую кучу в одном месте и в кучу поменьше — в другом. Так же поступил и с лимонами, сложив их в третью кучу. Затем, взяв с собой немного тех и других плодов, я двинулся в обратный путь, с тем, чтобы взять из своего погреба мешок и унести весь запас.

Итак, я вернулся в свой дом — так я буду теперь называть свою палатку и пещеру — после трёхдневного отсутствия, но к концу пути виноград совершенно испортился. Сочные, тяжёлые ягоды раздавили друг друга и оказались совершенно негодными. Лимоны хорошо сохранились, но я принёс их очень немного.

На следующий день, 19-го, я снова пустился в путь с двумя небольшими мешками, в которых собирался принести домой собранные плоды. Но как же я был поражён, когда, придя на то место, где у меня был сложен виноград, увидел, что мои раскошные спелые гроздья разбросаны по земле, а сочные ягоды частью объедены, частью растоптаны. Значит, здесь хозяйничали какие-то животные, но какие именно — я так и не узнал.

Убедившись, что складывать виноград в кучи и затем перетаскивать его в мешках невозможно, я придумал иной способ. Развесив гроздья на деревьях, я высушил их на солнце; таким образом, у меня завёлся изюм — изысканное и полезное лакомство. Что же касается лимонов, то я унёс их с собой, сколько был в силах поднять.

Вернувшись домой, я с удовольствием вспоминал цветущую долину, открытую мной. Я представлял себе её живописное расположение, я думал о том, как хорошо она защищена от ветров, какое в ней обилие родников и рощ, и пришёл к заключению, что то место, где я поселился, — одно из худших на всём острове. Мне страстно хотелось подыскать в пленившей меня долине подходящее местечко и сделать его таким же безопасным, как моё прежнее жилище. Во сне и наяву я видел перед собой этот райский уголок и долго тешился мечтами о переселении. Но, зрело обдумав этот вопрос и приняв в расчёт, что теперь я из своего жилья всегда вижу море и, следовательно, имею хоть слабую надежду на благоприятную для меня перемену, я решил отказаться от этого намерения. Злой рок, который занёс меня на мой остров, мог занести на него и других несчастных. Конечно, такая случайность была мало вероятна, но поселиться среди холмов и лесов, в глубине острова, вдали от моря, значило заточить себя навеки и сделать своё избавление невозможным. Вот почему я остался на старом месте.

Однако я был так пленён этой долиной, что провёл там почти весь конец июля, и хотя, по зрелом размышлении, решил не переносить своего жилища на новое место, но поставил там шалаш, наглухо огородил его двойным, прочно слаженным плетнём выше человеческого роста, на крепких столбах, а промежуток между плетнями заложил хворостом; входил я и выходил так же, как в первое своё жилище, по приставной лесенке. Таким образом, я и здесь был в безопасности. Случалось, что я ночевал

в своём шалаше по две, по три ночи подряд. «Теперь у меня есть дом на берегу моря и дача в лесу», — говорил я себе.

К началу августа я закончил постройку шалаша и ограды и дня два-три отдыхал там. 3-го августа я заметил, что развешанные мною гроздья винограда совершенно высохли на солнце и превратились в превосходный изюм. С того же дня я начал снимать их с деревьев и переносить в пещеру и хорошо сделал, так как иначе их бы попортило дождём, и я лишился бы большей части своих зимних запасов: у меня сушилось более двухсот крупных кистей. С 14-го августа начались дожди и до половины октября шли почти безостановочно изо дня в день.

Мне пришлось перебраться в моё старое гнездо. Правда, я и на своей даче поставил очень хорошую палатку, сделанную из паруса, но здесь у меня не было ни холма, который защищал бы меня от ветров, ни пещеры, где я мог бы укрыться, когда ливень хлестал немилосердно.

В этот период дождей я был приятно удивлён неожиданным приращением моего семейства. Одна из моих кошек давно уже пропадала; я не знал, сбежала ли она или околела, и очень о ней сокрушался, как вдруг в конце августа она вернулась с тремя котятами.

С 14-го по 26-е августа я из-за дождей почти не покидал жилья, так как после болезни очень боялся промокнуть. Но пока я отсиживался в пещере, выжидая ясной погоды, мои запасы провизии стали истощаться, и я дважды волей-неволей ходил на охоту. В первый раз убил козу, а во второй, 26-го (последний день моего заточения), поймал огромную черепаху, и это было для меня целое пиршество. В то время моя еда распределялась так: на завтрак ветка изюма, на обед кусок козлятины или черепашьего мяса, жареного на угольях (к несчастью, мне не в чем было варить или тушить мясо), на ужин — два или три черепашьих яйца.

В течение двенадцати дней, которые я просидел в пещере, прячась от дождя, я ежедневно по два, по три часа посвящал земляным работам, расширяя эту пещеру. Я прокапывал её всё дальше и дальше в одну сторону, пока не вывел ход наружу, за ограду. Я сделал там отверстие, через которое мог свободно выходить и входить, не пользуясь приставной лесенкой. Зато я не был так спокоен, как прежде, когда моё жильё было загорожено со всех сторон, теперь доступ ко мне был открыт. Впрочем, мне некого было бояться на моём острове, где за всё это время я не видал ни одного животного крупнее козы.

30-е сентября. Итак, я дожил до печальной годовщины моего появления на острове: я сосчитал зарубки на столбе, и оказалось, что я живу здесь ровно триста шестьдесят пять дней.

В начале осени я увидел, что мой запас чернил подходит к концу. Я был вынужден расходовать их экономнее; поэтому я прекратил ежедневные записи и стал отмечать лишь выдающиеся события моей жизни.

С течением времени я подметил, что дождливое время года на острове совершенно правильно чередуется с периодом бездождья; установив это чередование, я стал заблаговременно готовиться и к дождям и к засухе. Но свой опыт я всегда приобретал дорогою ценой; то, что я сейчас расскажу, может служить одним из самых печальных тому примеров. Я уже упоминал выше, как я был поражён неожиданным появлением возле моего дома нескольких колосьев риса и ячменя, которые, как мне казалось, выросли сами собой. Помнится, было около тридцати колосьев риса и колосьев двадцать ячменя. И вот, после дождей, когда солнце перешло в южное полушарие, я решил, что наступило самое подходящее время для посева.

Я, как мог, вскопал небольшой клочок земли деревянной лопатой, разделил его пополам и засеял одну половину рисом, а другую — ячменём. К счастью, мне пришло в голову, что лучше на первый раз не расходовать всех семян, так как я всё-таки не знаю наверно, когда здесь самое благоприятное время года для посева. И я посеял около двух третей всего запаса зерна, оставив по горсточке каждого сорта про запас.

Я хорошо сделал, что принял эту предосторожность, потому что первый мой посев оказался крайне неудачным: наступил засушливый период, — с того дня, как я засеял своё поле, дождей совсем не было, и зерно не могло взойти. Но впоследствии, когда снова начались дожди, оно взошло, как будто я только что посеял его.

Видя, что мой первый посев не всходит, что я вполне естественно объяснил засухой, я стал искать другое место с более влажной почвой, чтобы произвести новый опыт. Я разрыхлил клочок земли на своей лесной даче возле шалаша в долине и посеял здесь остатки зерна. Это было в феврале, незадолго до весеннего равноденствия. Мартовские и апрельские дожди щедро напоили землю; семена взошли великолепно. Но так как после первой неудачи я не решился посеять весь свой скудный запас, то

урожай был невелик. Зато я был теперь опытный хозяин и точно знал, какая пора наиболее благоприятна для посева, знал также, что ежегодно я могу сеять дважды и, следовательно, снимать два урожая.

Покуда рос и созревал мой хлеб, я сделал маленькое открытие, которое впоследствие очень мне пригодилось. Как только прекратились дожди и погода установилась — это было, приблизительно, в ноябре — я отправился на свою лесную дачу, где нашёл всё в том же виде, в каком оставил, несмотря на то, что не был там несколько месяцев. Двойной плетень, поставленный мной, не только был цел, но все его колья, для которых я брал росшие поблизости молодые деревца, пустили длинные побеги, совершенно так, как пускает их наша ива, если у неё срезать макушку. Я не знал, какие это деревья, и был приятно изумлён, увидя, что моя ограда зазеленела. Я подстриг все деревца, постаравшись придать им по возможности одинаковую форму. Трудно поверить, как пышно они разрослись впоследствии. Несмотря на то, что огороженное место имело около двадцати пяти ярдов в диаметре, — деревья — так я мог теперь называть эти колья — скоро покрыли его своими ветвями и давали густую тень, в которой можно было укрываться от солнца в жаркое время.

Это навело меня на мысль нарубить побольше таких кольев и вбить их полукругом вдоль ограды моего старого жилья. Так я и сделал. Я расставил их в два ряда, отступя ярдов на восемь от прежней ограды. Они принялись, и вскоре у меня образовалась живая изгородь, которая сначала укрывала меня от зноя, а впоследствии послужила мне для защиты, о чём я расскажу в своём месте.

По моим наблюдениям, на моём острове времена года следует разделять не на холодные и жаркие, как они делятся у нас в Европе, а на дождливые и сухие, приблизительно таким образом:

С половины февраля до половины апреля.	Дожди; солнце стоит над экватором или почти над ним.
С половины апреля до половины августа.	Засуха; солнце перемещается к северу от экватора.
С половины августа до половины октября.	Дожди; солнце снова стоит над экватором.
С половины октября до половины февраля.	Засуха; солнце перемещается к югу от экватора.

Дождливое время года может быть длиннее или короче в зависимости от направления ветра, но в общем приведённое деление правильно. Изведав на опыте, как вредно для здоровья находиться под открытым небом во время дождя, я теперь всякий раз перед началом дождей заблаговременно запасался провизией, чтобы выходить пореже, и просиживал дома почти все дождливые месяцы.

Я пользовался этим временем для работ, которые можно было производить, не покидая жилья. В моём хозяйстве недоставало ещё очень многих вещей, а чтобы сделать их, требовался упорный труд и неослабное прилежание. Я, например, много раз пытался сплести корзину, но все прутья, какие я мог достать для этого, оказывались такими ломкими, что у меня ничего не получалось. В детстве я очень любил ходить к одному корзинщику, жившему по соседству от нас, и смотреть, как он работает. Теперь это очень мне пригодилось. Как все вообще дети, я был очень услужлив и наблюдателен. Я хорошо подметил, как плетутся корзины, и даже часто помогал корзинщику, так что теперь мне нехватало только подходящего материала, чтобы приступить к работе. Вдруг мне пришло в голову, не подойдут ли для корзин ветки той породы деревьев, из которых я нарубил кольев и которые потом проросли; ведь у этого дерева должны быть упругие, гибкие ветки, как у нашей вербы, ивы или лозняка. И я решил попробовать.

Сказано — сделано. На другой же день я отправился на свою лесную дачу, нарезал там несколько веточек того дерева, выбирая самые тонкие, и убедился, что они как нельзя лучше годятся для моей цели. В следующий раз я пришёл с топором, чтобы сразу нарубить, сколько мне нужно. Мне не пришлось долго искать, так как деревья той породы росли здесь в изобилии. Нарубив прутьев, я стащил их за ограду и принялся сушить, а когда они подсохли — перенёс в пещеру. В ближайший дождливый период я принялся за работу и сделал много корзин для переноски земли, для хранения всяких вещей и для разных других надобностей. Правда, они не отличались у меня изяществом, но, во всяком случае, годились для моих целей. С тех пор я никогда не забывал пополнять свой запас корзин: по мере того как старые разваливались, я плёл новые. В ожидании обильного урожая, я запас много прочных, глубоких корзин, чтобы хранить в них зерно, — ведь мешков у меня не было.

Покончив с этими трудностями, на преодоление которых у меня ушла уйма времени, я стал раздумывать, как мне восполнить ещё два недостатка. У меня не было посуды для хранения жидкостей, если не считать двух бочонков, которые были заняты ромом, да нескольких бутылок и бутылей, в которых я держал воду и спирт. У меня не было ни одного горшка, в котором можно было бы что-нибудь сварить. Правда, я захватил с корабля большой котёл, но он был слишком велик для того, чтобы варить в нём суп и тушить мясо. Другая вещь, о которой я часто мечтал, была трубка, но я не умел сделать её. Однако, в конце концов, я придумал, чем её заменить.

Всё лето, то есть всё сухое время года, я был занят устройством живой изгороди вокруг своего старого жилья и плетением корзин. Но тут явилось новое дело, которое отняло у меня гораздо больше времени, чем я рассчитывал.

Я уже говорил, что мне очень хотелось обойти весь остров и добраться до противоположного берега. Я взял ружьё, топорик, больше, чем всегда, пороху, дроби и пуль, прихватил про запас два сухаря и большую ветку изюма и в сопровождении собаки пустился в путь. Пройдя долину, где стоял мой шалаш, я увидел перед собой на западе море, а вдали темнела полоса земли. Был яркий солнечный день, и я хорошо различал землю, но не мог определить, материк это или остров. Я видел, что она представляет собой высокое плоскогорье, тянущееся с запада на юго-запад, и находится очень далеко, по моему расчёту в сорока, если не в пятидесяти, милях от моего острова.

Я не имел понятия, чтó это за земля, и с уверенностью мог сказать только одно, — что это какая-нибудь часть Южной Америки, лежащая, по всей вероятности, неподалёку от испанских владений. Мне пришло в голову, что, весьма возможно, там живут дикари и что если бы я попал туда вместо моего острова, моё положение было бы намного хуже, чем сейчас. Как только у меня мелькнула эта мысль, я перестал терзаться бесплодными сожалениями о том, что меня выбросило именно сюда.

Вдобавок, поразмыслив, я заключил, что если земля, которую я различил вдали, входит в состав испанских владений, значит, рано или поздно, я неминуемо увижу какой-нибудь корабль, идущий туда или оттуда. Если же это не испанские владения, то это береговая полоса, лежащая между испанскими владениями и Бразилией, полоса, населённая исклю-

чительно дикарями, и притом самыми свирепыми, каннибалами, или людоедами, которые убивают и съедают всех, кто попадает им в руки.

Размышляя таким образом, я не спеша подвигался вперёд. Эта часть острова показалась мне гораздо привлекательнее той, в которой я поселился: куда хватает взгляд — везде пестреющие цветами зелёные луга, красивые рощи. Я заметил здесь множество попугаев, и мне захотелось поймать одного из них: я рассчитывал приручить его и научить говорить со мной. После многих бесплодных попыток мне удалось изловить птенца, оглушив его палкой, и принести домой. Но прошло немало времени, прежде чем он научился говорить. Я добился того, что он стал называть меня по имени.

Я остался как нельзя более доволен моим обходом. В низине, на лугах, мне попадались зайцы, или похожие на них животные, и много лисиц; но эти лисицы резко отличались от своих родичей, которых мне случалось видеть раньше. Я подстрелил их несколько штук. Их мясо мне не понравилось. Да впрочем, я не нуждался в нём: пища у меня имелась в изобилии. Я не только не голодал, но ел вдоволь и мог даже лакомиться изюмом и плодами.

Во время этого путешествия я делал не более двух миль в день, если считать по прямому направлению; но я так много кружил, осматривая местность в надежде увидеть что-нибудь новое, что добирался до ночлега очень усталым. Обыкновенно я проводил ночь где-нибудь на дереве, а иногда, если находил подходящее место между деревьями, устраивал ограду из кольев, втыкая их от дерева до дерева, так что никакому хищнику не удалось бы подойти ко мне, не разбудив меня.

Дойдя до берега моря, я окончательно убедился, что выбрал для поселения самую худшую часть острова. На моей стороне я за полтора года поймал только трёх черепах, здесь же весь берег был усеян ими. Кроме того, здесь было несметное множество птиц всевозможных пород, в числе прочих — пингвины. Были такие, каких я никогда не видал, названий которых я не знал. Мясо многих из них оказалось очень вкусным.

Я мог бы, если бы хотел, настрелять прóпасть птиц, но я берёг порох и дробь и предпочитал охотиться на коз, так как козы давали лучшее мясо. Но хотя здесь было много коз — гораздо больше, чем в моей части острова, — к ним было очень трудно подобраться, потому что мест-

ность здесь была ровная и они замечали меня гораздо скорей, чем когда я был на холмах.

Бесспорно, этот берег был гораздо привлекательнее моего, и однако я не испытывал желания переселиться сюда. Прожив в своём гнезде без малого два года, я к нему привык; здесь же я чувствовал себя, так сказать, на чужбине, и меня тянуло домой. Пройдя вдоль берега к востоку, должно быть, миль двенадцать, или около того, я решил, что пора возвращаться. Я воткнул в землю высокий шест, чтобы заметить место, так как решил, что в следующий раз я приду сюда с другой стороны, то есть с востока от моего старого жилища, и таким образом докончу обозрение острова.

Я хотел вернуться другой дорогой, полагая, что остров невелик, что я никак не могу заблудиться. Но я ошибся в расчёте. Отойдя от берега на две-три мили, я попал в широкую котловину, которую со всех сторон так тесно обступали холмы, поросшие густым лесом, что не было никакой возможности определить, где я нахожусь. Я мог бы держать путь по солнцу, но, на моё горе, погода была пасмурная. Не видя солнца, я блуждал в течение трёх или четырёх дней, тщетно отыскивая дорогу. В конце концов, мне пришлось опять выйти к берегу моря, на то место, где стоял мой шест, а оттуда я вернулся домой прежним путём. Шёл я не спеша, с частыми роздыхами, так как стояла сильная жара, а на мне было много тяжёлых вещей — ружьё, заряды, топор.

Во время этих скитаний моя собака вспугнула козочку и бросилась на неё; но я во́-время подбежал и отнял её ещё живой. Мне хотелось взять её с собой; я давно уже мечтал приручить пару козлят и развести стадо ручных коз, чтобы обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут все запасы пороха и дроби.

Я смастерил козочке ошейник и с некоторым трудом повёл её на верёвке, которую свил из пеньки от старых канатов и всегда носил с собой. Добравшись до своего шалаша, я пересадил козочку за ограду и там оставил, ибо мне не терпелось добраться поскорее до дому, где я не был уже больше месяца.

Не могу выразить, с каким удовольствием я вернулся на старое пепелище и растянулся в своём гамаке. Это путешествие и бесприютная жизнь так меня утомили, что мой «дом», как я его называл, показался мне вполне благоустроенным жилищем: здесь меня окружало столько удобств



и было так уютно, что я решил никогда больше не уходить от него далеко, покуда мне суждено будет оставаться на этом острове.

С неделю я отдыхал и отъедался после моих скитаний. Бо́льшую часть этого времени я был занят трудным делом: устраивал клетку для моего Попки, который быстро стал ручным и очень со мной подружился. Затем я вспомнил о своей бедной козочке. Я застал её там, где оставил, да она и не могла уйти, бедное животное едва не околело с голоду. Я нарубил сучьев и веток, какие мне попались под руку, и перебросил

козочке за ограду. Когда она поела, я хотел было повести её на верёвке, как раньше, но от голода она до того присмирела, что побежала за мной, как собачонка. Впоследствии я кормил её из рук, и она сделалась такой ласковой и послушной, что вошла в семью моих домашних животных и не отходила от меня ни на шаг.

ГЛАВА X

Опять пришла дождливая пора осеннего равноденствия, и опять настало 30-е сентября — вторая годовщина моего пребывания на острове. Надежды на избавление у меня было так же мало, как тогда, когда меня выбросило на этот пустынный берег. Начался третий год моего заточения.

Весь этот год я тоже редко оставался праздным. Я строго распределил своё время соответственно тем работам, которыми должен был заниматься в течение дня. Каждое утро, когда не было дождя, у меня часа три уходило на охоту. Вторым моим постоянным занятием были чистка и приготовление убитой или пойманной дичи; для этого тоже требовалось несколько часов. Следует принять в расчёт, что, начиная с полудня, когда солнце подходило к зениту, наступал такой удушливый зной, что не было даже возможности двигаться, а когда жара спадала, для работы уже оставалось не более четырёх вечерних часов. Случалось и так, что я менял часы охоты и домашних занятий; поутру работал, а перед вечером выходил на охоту.

Кроме того, я зачастую столярничал. Это тоже стоило мне огромного труда, а дело подвигалось очень медленно. Сколько часов я терял из-за отсутствия инструментов и помощников, из-за недостатка сноровки! Например, я потратил сорок два дня только на то, чтобы сделать доску для длинной полки, которая была нужна для моего погреба, тогда как два плотника, имея необходимые инструменты, выпиливают из одного дерева шесть таких досок в полдня.

Несмотря на всё это, я терпеньем и трудом доводил до конца все работы, которые требовались обстоятельствами.

В декабре я ждал урожая ячменя и риса. Засеянный мною участок был невелик, ибо, как уже сказано, у меня вследствие засухи пропал весь посев первого года и оставалось по горсточке каждого сорта зерна. На

этот раз урожай обещал быть превосходным, как вдруг я сделал открытие, что снова рискую потерять весь сбор, так как моё поле опустошается многочисленными врагами, от которых трудно уберечься. Эти враги были, во-первых, козы, во-вторых, те зверьки, которых я называл зайцами. Очевидно, стебельки риса и ячменя пришлись им по вкусу: они дневали и ночевали на моём поле и начисто поедали всходы, не давая им выколоситься.

Бороться с этим нашествием можно было только одним способом — огородить всё поле, что я и сделал. Но эта работа стоила мне большого труда, главным образом потому, что надо было спешить, иначе зверьки пожрали бы всё. Впрочем, моё поле было таких небольших размеров, что через три недели изгородь была готова; она вышла на славу. Покуда она не была закончена, я днём отпугивал врагов выстрелами, а на ночь привязывал к изгороди собаку, которая лаяла всю ночь напролёт. Благодаря этим мерам предосторожности прожорливые животные ушли от этого места; мой хлеб дал колосья и стал быстро созревать.

Но как прежде, пока хлеб был в зеленях, меня разоряли четвероногие, так теперь, когда он заколосился, меня начали разорять птицы. Както раз, обходя своё поле, я увидел, что над ним кружатся целые стаи пернатых, видимо, поджидавших, когда я уйду. Я всегда носил с собой ружьё, и сейчас же выпустил в них заряд дроби, но не успел я выстрелить, как с самого поля поднялась другая стая, которой я сначала не заметил.

Это не на шутку взволновало меня. Я предвидел, что ещё несколько дней такого грабежа — и пропадут все мои надежды; мне и на этот раз не собрать урожая, значит, я буду голодать. Я не мог сразу придумать, чем помочь горю, но я решил во что бы то ни стало отстоять свой хлеб, хотя бы мне пришлось караулить его день и ночь. Я обошёл всё поле, чтобы удостовериться, много ли ущерба причинили мне птицы. Оказалось, что хлеб порядком попорчен, но если б удалось сберечь остальное, то потеря была бы не так велика.

Я видел, что птицы попрятались на ближайших деревьях и ждут, чтобы я ушёл. Я зарядил ружьё и сделал вид, что ухожу. Действительно, едва я скрылся у них из виду, как воришки стали появляться на поле. Это так меня рассердило, что я не мог утерпеть и не дождался, пока их слетится побольше. Я знал, что каждое зерно, которое они съедят теперь,

могло бы принести со временем немало хлеба. Подбежав к изгороди, я выстрелил: три птицы остались на месте. Только этого мне и нужно было: я поднял с земли всех трёх и повесил их на высоком шесте, другим на острастку. Невозможно описать, какое поразительное действие возымела эта мера: не только ни одна птица не села больше на поле, но все они улетели из моей части острова; по крайней мере, я не видал ни одной за всё время, пока мои три пугала висели на шесте. Легко представить, как я был этому рад. К концу декабря мой ячмень и рис поспели, и я снял урожай, второй на этот год.

Перед жатвой я был в большом затруднении; у меня не было ни косы, ни серпа; единственное, что я мог сделать — это воспользоваться для этой работы широким тесаком, взятым мною с корабля в числе другого оружия. Впрочем, урожай мой был так невелик, что убрать его не составляло большого труда, да и убирал я его особым способом: я срезал только колосья, которые уносил в большой корзине. Затем я перетёр их руками, чтобы отделить зерно от мякины. В результате, у меня оказалось около двух бушелей [1] рису и с лишком два с половиной бушеля ячменя, конечно, по приблизительному подсчёту, так как у меня не было мерки.

Такая удача очень меня ободрила: теперь я мог надеяться, что со временем у меня будет постоянный запас хлеба. Но передо мной встали новые трудности. Как смолоть зерно, как превратить его в муку? Как просеять муку? Как сделать из муки тесто? Как, наконец, испечь из теста хлеб? Ничего этого я не умел. Все эти трудности, вместе с желанием отложить про запас побольше семян, чтобы обеспечить себя хлебом на будущее, привели меня к решению не трогать урожая этого года, оставив его весь на семена, а тем временем — непрестанно думать и трудиться над разрешением самой важной для меня задачи: как превратить зерно в печёный хлеб?

Удивительно, как мало людей задумывается над вопросом, сколько надо произвести различных работ для изготовления самого простого предмета нашего питания — печёного хлеба.

В тех первобытных условиях, в которых я находился, этот вопрос занимал меня всё сильнее и сильнее, с той самой минуты, когда я собрал первую горсть зёрен ячменя и риса, так неожиданно выросших на моей полянке.

---

[1] Бушель — старинная мера сыпучих тел; равен приблизительно 36 литрам.



Во-первых, у меня не было ни плуга для вспашки, ни даже заступа или лопаты, чтобы хоть как-нибудь вскопать землю. Как уже было сказано, я преодолел это препятствие, сделав себе деревянную лопату. Но каков инструмент — такова и работа. Не говоря уже о том, что моя лопата, не будучи обита железом, прослужила очень недолго (хотя, чтобы сделать

её, мне понадобилось много дней), — работать ею было тяжелее, чем железной, и сама работа выходила намного хуже.

Однако я и с этим примирился: вооружившись терпением и не смущаясь качеством своей работы, я настойчиво продолжал копать. Когда я наконец посеял зерно, нечем было забороновать поле. Пришлось вместо бороны возить по полю большой тяжёлый сук который только царапал землю.

Сколько разнообразнейших дел мне пришлось переделать, пока мой хлеб рос и созревал! Надо было обнести поле оградой, караулить его от птиц, потом жать, убирать, молотить зерно, — вернее, перетирать колосья в руках. Потом понадобится мельница, чтобы смолоть зерно, сито, чтобы просеять муку, наконец, — соль и дрожжи, чтобы замесить тесто, и печка, чтобы выпечь хлеб. Всё это требовало упорного и тяжёлого труда, но иного выхода не было. Я решил не расходовать зерно до тех пор, пока его не накопится побольше, следовательно, у меня было впереди шесть месяцев, которые я мог целиком употребить на изготовление орудий, необходимых для переработки зерна в хлеб. Но сначала надо было приготовить под посев более обширный участок земли, так как теперь у меня было столько семян, что я мог засеять больше акра[1]. Прежде всего, я сделал новую лопату, что отняло у меня целую неделю. Эта лопата доставила мне одни огорчения: она была тяжела, и ею было вдвое труднее работать. Как бы то ни было, я вскопал своё поле и засеял два больших ровных участка земли, которые выбрал как можно ближе к моему дому и обнёс плетнём из того дерева, которое так легко принималось. Таким образом, через год мой плетень должен был превратиться в живую изгородь, почти не требующую исправлений. Всё вместе — распашка земли и сооружение изгороди — заняло у меня не менее трёх месяцев.

В те дни, когда шёл дождь и мне приходилось сидеть в пещере, я делал другую необходимую работу, между делом развлекаясь разговорами со своим попугаем. Скоро он уже знал своё имя, а потом научился довольно внятно произносить его. «Попка» было первое слово, которое я услышал на моём острове, можно сказать, из чужих уст.

Но разговоры с Попкой были для меня не работой, а только развлечением в труде. В то время я был занят очень важным делом. Давно уже я

[1] Акр — около 0,4 гектара.



размышлял над тем, ка́к изготовить глиняную посуду, в которой я сильно нуждался. Я был уверен, что сумею вылепить нечто вроде горшка, если только мне удастся найти хорошую глину. Что же касается обжига, то я считал, что в жарком климате для этого достаточно солнечного тепла и что, посохнув на солнце, посуда будет настолько крепка, что можно будет употреблять её и хранить в ней все те припасы, которые надо держать в сухом виде и в сухом месте. И вот я решил вылепить несколько больших кувшинов, чтобы хранить в них зерно, муку и прочее.

Воображаю, как посмеялся бы надо мной (а может быть, и пожалел бы меня) читатель, если б я рассказал ему, как неумело я замесил глину, какие нелепые, неуклюжие, уродливые произведения выходили из моих рук, сколько моих изделий развалилось оттого, что глина была

слишком жидко замешана и не выдерживала собственной тяжести, сколько других потрескалось, потому что я второпях выставил их на солнце, когда оно жгло слишком сильно, и сколько рассыпалось на мелкие куски при первом же прикосновении к ним, либо до, либо после просушки. Достаточно сказать, что после долгих поисков я наконец нашёл подходящую глину, накопал её, доставил в пещеру, несколько недель работал, не разгибая спины, и вылепил две безобразные посудины, имевшие весьма отдалённое сходство с кувшинами.

Немного утешило меня то, что они хорошо высохли и затвердели на солнце; я осторожно приподнял их, одну за другой, и поставил каждую в большую корзину, — эти корзины я сплёл заранее. Пустое пространство между каждой посудиной и краями корзины я заполнил рисовой и ячменной соломой. Я предназначил их для хранения зерна, а со временем, когда оно будет перемолото, рассчитывал держать в них муку.

Крупные изделия из глины у меня вышли неудачными, но с мелкой посудой дело пошло значительно лучше. Я вылепил много круглых горшков, тарелок, кружек, котелков и тому подобной утвари; солнечный жар обжигал их и делал достаточно прочными.

Но моя главная цель всё же не была достигнута: мне нужна была посуда, которая не пропускала бы воду и выдерживала огонь, а этого я никак не мог добиться. Но вот однажды я развёл большой огонь, чтобы на угольях сготовить себе мясо. Когда оно изжарилось, я хотел загасить уголья и нашёл между ними случайно попавший в огонь черепок от разбившегося глиняного горшка: он затвердел, как камень, и стал красным, как кирпич. Я был приятно поражён этим открытием и сказал себе, что если черепок так затвердел от огня, значит, с таким же успехом можно обжечь на огне и целую посудину.

Это заставило меня подумать о том, ка́к развести огонь для того, чтобы обжечь мои горшки. Я не имел никакого понятия о печах для обжига глины, какими пользуются гончары, и никогда не слыхал о муравлении свинцом, а уж немного свинца для этой цели у меня нашлось бы. Поставив на кучу горячей золы три больших глиняных горшка и на них три поменьше, я обложил их кругом и сверху дровами и хворостом и развёл огонь. По мере того как дрова прогорали, я подкладывал всё новые поленья, пока горшки не прокалились насквозь, причём ни один из них не раскололся. В этом раскалённом состоянии я держал их в огне часов



пять или шесть, как вдруг заметил, что один из них, хотя и не треснул, но начал плавиться, это расплавился от жара смешанный с глиной песок, который превратился бы в стекло, если бы я продолжал накалять его. Я постепенно убавил огонь, и яркокрасный цвет горшков несколько потускнел. Я сидел подле них всю ночь, чтобы не дать огню слишком быстро погаснуть, и к утру в моём распоряжении были три очень хороших, хотя и неказистых, глиняных кувшина и три горшка, обожжённых как нельзя лучше, в том числе — один, муравлёный расплавившимся песком.

Нечего и говорить, что после этого опыта у меня уже не было недостатка в глиняной посуде. Но должен сознаться, что внешний вид моих изделий оставлял желать многого.

Я думаю, ни один человек в мире не испытывал такой радости по поводу столь заурядной вещи, какую испытал я, когда убедился, что мне

удалось сделать огнеупорную глиняную посуду. Я едва мог дождаться, когда мои горшки остынут, чтобы можно было налить в один из них воды, снова поставить его на огонь и сварить в нём мясо. Всё вышло превосходно: я сготовил себе из куска козлятины отличный бульон, хотя у меня не было ни овсяной муки, ни овощей, ни других приправ, какие обычно кладутся в суп.

Теперь я стал ломать себе голову над тем, ка́к сделать каменную ступку, чтобы размалывать или, вернее, толочь в ней зерно; о таком сложном орудии, как мельница, мне и думать не приходилось: руки одного человека тут были бессильны. Я не знал, ка́к мне быть. В ремесле каменотёса я смыслил так же мало, как во всех остальных, и, кроме того, у меня не было нужных инструментов. Не один день потратил я на поиски камня, достаточно твёрдого и притом такой величины, чтобы в нём можно было выдолбить углубление; но я ничего не нашёл. На моём острове были, правда, большие утёсы, но от них я не мог отколоть нужный кусок. К тому же, они состояли из довольно хрупкого песчаника; сделать ступку из такого материала не имело смысла: при толчении тяжёлым пестом камень стал бы крошиться, и зерно засорялось бы песком. Поэтому, после долгих бесплодных поисков я отказался от каменной ступки и решил приспособить для своей цели большую колоду твёрдого дерева, — этот материал гораздо легче было найти. Остановив свой выбор на чурбане такой величины, что я с трудом мог сдвинуть его с места, я обтесал его топором, чтобы придать ему нужную форму, а затем с величайшими усилиями выдолбил и выжег в нём углубление, таким способом бразильские краснокожие делают лодки.

Покончив со ступкой, я вытесал большой тяжёлый пест из так называемого железного дерева. И ступку и пест я решил бережно хранить до следующего урожая, часть которого хотел перемолоть или, вернее, перетолочь на муку, чтобы печь из неё хлеб.

Дальнейшее затруднение заключалось в том, чтобы сделать сито или решето для очистки муки от мякины и сора,—иначе невозможно было приготовить хлеб. Задача была очень трудная, и я не знал, как пособить горю. У меня не было ни кисеи, ни другой редкой ткани, через которую можно было бы просеивать муку. От полотняного белья у меня оставались одни лоскутья; была козья шерсть, но я не умел ни прясть, ни ткать, а если б и умел, то всё равно у меня не было ни прялки, ни станка. Я не

знал, что предпринять. Дело остановилось на несколько месяцев. Наконец, я вспомнил, что в матросских вещах, взятых мною с корабля, было несколько шейных платков из коленкора и миткаля. Из этих-то платков я и сделал себе три сита, правда, маленьких, но вполне пригодных для моей цели. Ими я обходился несколько лет.

Теперь надо было подумать о том, как я буду печь свои хлебы, когда приготовлю муку. Прежде всего у меня не было закваски; но эта трудность была неразрешима, и я перестал ломать себе голову над ней. Долго я раскидывал умом, как устроить печь, и, наконец, нашёл выход. Я вылепил из глины несколько больших круглых посудин, вроде блюд, очень широких, но мелких, хорошенько обжёг их на огне и сложил в кладовой. Когда пришла пора печь хлеб, я развёл большой огонь на очаге, который предварительно выложил квадратными, хорошо обожжёнными кирпичами, также моего собственного изделия. Впрочем, квадратными их, пожалуй, нельзя было назвать. Дождавшись, чтобы дрова прогорели, я разгрёб уголья по всему очагу и дал им полежать несколько времени, покуда очаг не раскалился докрасна. Тогда я отгрёб весь жар к сторонке, сложил на очаге свои хлебы, накрыл их глиняным блюдом, опрокинув его вверх дном, и завалил блюдо горячими угольями. Мои хлебы испеклись на диво. Я научился печь из риса лепёшки и пудинги, и стал превосходным пекарем; только пирогов я не делал, потому что, кроме козлятины да птичьего мяса, их нечем было начинять.

Неудивительно, что на все эти работы ушёл почти весь третий год моего житья на острове, особенно, если принять во внимание, что в промежутках мне нужно было убрать новый урожай и выполнять текущие работы по хозяйству. Хлеб я убрал своевременно, сложил в большие корзины и перенёс домой, оставив его в колосьях, пока у меня найдётся время перетереть их руками; молотить я не мог за неимением гумна и цепа.

С увеличением запаса зерна мне понадобился более обширный амбар. Последняя жатва дала мне около двадцати бушелей ячменя и столько же, если не больше, риса, так что для всего зерна в пещере уже нехватало места. Теперь я мог, не стесняясь, расходовать зерно на еду, что было очень приятно, так как корабельные сухари у меня давно уже кончились. Я надумал подсчитать, какое количество зерна мне нужно, чтобы прокормиться в течение года, если я буду сеять один раз в год.

Оказалось, что сорока бушелей риса и ячменя мне с избытком хватает на год, и я решил сеять ежегодно столько, сколько посеял в третьем году, рассчитывая, что этого количества будет достаточно и на хлеб, и на лепёшки, и на пудинги.

Чем бы я ни занимался, меня неотступно тревожила мысль о земле, которую я видел с другого берега моего острова, и в глубине души я сожалел, что не поселился в той местности. Я был уверен, что земля, видневшаяся вдали, населена, и мне думалось — будь она всегда у меня перед глазами, я в конце концов нашёл бы способ добраться туда, а затем уж наверно вырвался бы на свободу.

Но я упускал из виду опасности, неминуемо сопряжённые с таким предприятием; я не думал о том, что могу попасть в руки дикарей, которые будут, пожалуй, похуже африканских тигров и львов; очутись я в их власти, была бы тысяча шансов против одного, что они меня убьют, а может быть, и съедят. Я давно уже слыхал, что жители Караибского берега — людоеды, а судя по широте, на которой находился мой остров, он не мог быть особенно отдалён от этого берега. Но допустим даже, что жители той земли не людоеды; они всё равно могли меня убить, как убивали столь многих европейцев, попадавших в те края, даже когда этих несчастных бывало десять-двадцать человек. А ведь я был один и беззащитен. Всё это, повторяю, я должен был бы принять в соображение. Впоследствии я понял всё безрассудство своей затеи, но в то время меня не пугали никакие опасности: моя голова всецело была занята мыслями о том, как бы попасть на тот отдалённый берег.

Вот когда я пожалел о моём маленьком приятеле Ксури и о длинной шлюпке с боковым парусом, на которой я прошёл вдоль африканских берегов с лишком тысячу миль! Но что пользы сожалеть о прошлом?.. Я решил сходить взглянуть на нашу корабельную шлюпку, которую ещё в ту бурю, когда мы потерпели крушение, выбросило на остров в нескольких милях от моего жилья. Шлюпка теперь лежала на другом месте. Прибоем её опрокинуло и отнесло немного повыше на самый край песчаной отмели, и вокруг неё не было воды.

Если б мне удалось починить и спустить на воду эту шлюпку, она выдержала бы морское путешествие, и я без особых затруднений добрался бы до Бразилии. Но такая работа была не под силу одному человеку. Я упустил из виду, что перевернуть её и сдвинуть с места для

меня так же невозможно, как сдвинуть с места мой остров. И всё же я решил попытать счастья. Я отправился в лес, нарубил жердей, которые должны были служить мне рычагами, затем сделал катки и всё это перетащил к шлюпке. Я обольщал себя мыслью, что, если мне удастся перевернуть шлюпку на дно, я исправлю все повреждения, и у меня будет такая лодка, в которой смело можно будет пуститься в море.

Я не пожалел трудов на эту бесплодную работу и потратил на неё около четырёх недель. Убедившись, наконец, что с моими слабыми силами мне не поднять такой тяжести, я сделал последнюю отчаянную попытку; я принялся отбрасывать песок от одного борта шлюпки, чтобы она упала и перевернулась сама: при этом я то здесь, то там подкладывал под неё обрубки дерева, чтобы она встала именно туда, куда мне нужно.

Но когда шлюпка встала на дно, у меня всё же нехватило сил пошевелить её и подвести под неё рычаги, а спустить её на воду — и подавно; мне пришлось отказаться от своей затеи. Несмотря на это, моё желание попасть на землю, видневшуюся вдали, не только не ослабевало, но, напротив, усиливалось по мере того, как я уяснял себе, сколько на моём пути препятствий.

Наконец, я решил попытаться сам соорудить лодку или, ещё лучше, пирóгу прямо из ствола большого дерева, как их делают туземцы в этих краях. Я считал, что с этой работой, не требующей почти никаких инструментов, я справлюсь без особого труда. Эта мысль очень увлекала меня. Но я не принял во внимание очень серьёзного препятствия — того, что я один на своём необитаемом острове. Кто поможет мне спустить пирóгу на воду? Допустим, я нашел бы в лесу подходящее толстое дерево и с великим трудом свалил его; допустим даже, что с помощью простейших инструментов, какие у меня всё же имелись, я обтесал бы его снаружи и придал ему форму лодки, а затем выдолбил или выжег внутри, словом, сделал бы лодку. Какая бы мне была от этого польза, если я не мог спустить свою лодку на воду и должен был бы оставить её в лесу?

Конечно, если бы я хоть сколько-нибудь отдавал себе отчёт в своём положении, то, приступая к сооружению лодки, я непременно задал бы себе вопрос: как я спущу её на воду? Но мысль о путешествии так захватила меня, что я совсем не остановился на этом вопросе, хотя было очевидно, что несравненно легче проплыть на лодке сорок пять миль по

морю, чем протащить её по земле на расстоянии сорока пяти ярдов, отделявших её от воды.

Одним словом, в этом деле я вёл себя таким глупцом, каким только может показать себя человек, находящийся в здравом уме. Я тешился своей затеей, не давая себе труда рассчитать, хватит ли у меня сил, чтобы справиться с ней. И не то, чтобы мысль о спуске на воду совсем не приходила мне в голову, — нет, она возникала у меня не раз, но я не давал ей ходу, подавляя её всякий раз глупейшим рассуждением: «Сделаю лодку, а там уж, наверно, найдётся способ спустить её».

Рассуждение самое нелепое, но разгорячённая фантазия не давала мне покоя, и я принялся за работу. Я повалил огромнейший кедр, который имел пять футов десять дюймов в поперечнике у корней, а на высоте двадцати двух футов — четыре фута одиннадцать дюймов; дальше ствол становился тоньше, разветвлялся. Мне стоило огромного труда свалить это дерево. Двадцать дней я рубил ствол, и ещё две недели мне понадобилось, чтобы очистить его от сучьев и отделить огромную, развесистую вершину. Целый месяц я обделывал мою колодку снаружи, стараясь придать ей форму лодки, так чтобы она могла держаться на воде прямо. Три месяца ушло потом на то, чтобы выдолбить её внутри. Правда, я обошёлся без огня, работая только стамеской и молотком. Плодом этого упорного труда была превосходная пирóга, которая смело могла поднять человек двадцать пять, а следовательно, меня и весь мой груз.

Я был в восторге от своего произведения: никогда в жизни я не видал такой большой лодки из цельного дерева. Я добился своего, но ценою каких усилий! Я изнемогал, трудясь над ней. Теперь осталось только спустить её на воду, и я не сомневаюсь, что, если бы это мне удалось, я очертя голову пустился бы в самое безумное и самое безнадёжное из всех морских путешествий, когда-либо предпринимавшихся.

Но, как я ни бился, спустить лодку на воду мне не удалось. Все мои усилия оказались тщетными. От леса, где я строил свою пирóгу, до воды было никак не более пятидесяти ярдов, но к берегу местность сильно повышалась. И вот что я придумал, чтобы устранить это препятствие: я решил снять лишнюю землю, чтобы крутой спуск стал отлогим. Страшно вспомнить, сколько труда я положил на это безрассуд-



ное начинание. Но кто будет беречь свои силы, когда брезжит надежда вырваться на свободу?

Когда это препятствие было устранено, я увидел, что ничего не выиграл. Как я ни надрывался, я не мог сдвинуть с места мою пирогу, как раньше не мог сдвинуть шлюпку.

Тогда я измерил расстояние, отделявшее пирóгу от моря, и решил вырыть канал: раз я не в состоянии подвинуть лодку к воде, значит, надо подвести воду к лодке. И я тотчас принялся копать землю, но когда я прикинул в уме необходимую глубину и ширину канала, когда подсчитал, в какой приблизительно срок может сделать такую работу один человек, то оказалось, что мне понадобится не менее десяти-двенадцати лет, чтобы довести её до конца. Берег был здесь очень высок, и его пришлось бы углублять, по крайней мере, на двадцать футов.

К моему великому огорчению, мне пришлось отказаться и от этой попытки.

Я был опечален до глубины души и тут только сообразил, правда, слишком поздно, как глупо приниматься за работу, не рассчитав, сколько она потребует труда и времени и хватит ли сил довести её до конца.

ГЛАВА XI

В разгар этой изнурительной, бесплодной работы наступила четвёртая годовщина моего пребывания на острове. За эти тяжёлые годы опыт и размышление научили меня понимать, что мирские блага ценны для нас лишь в той степени, в какой они способны удовлетворять наши потребности, и что сколько бы мы ни накопили богатств, мы получаем от них удовольствие ровно в той мере, в какой можем использовать их, но не больше. Самый неисправимый скряга излечился бы от своего порока, если бы очутился на моём месте и не знал, как я, куда девать своё добро. Повторяю, мне нечего было желать, если не считать некоторых вещей, которых у меня не было, всё разных мелочей, однако, очень нужных мне. Я уже говорил, что у меня было немного денег, серебра и золота, всего около тридцати шести фунтов стерлингов. Увы, они лежали, как жалкий, докучный, ни на что не годный хлам: мне некуда было их тратить. С какою радостью отдал бы я пригоршню этого металла за десяток трубок для табаку или за ручную мельницу для размола зерна! Да что — я отдал бы все эти деньги за шестипенсовую пачку семян репы и моркови, за горсточку гороху и бобов или за бутылку чернил. Эти деньги не доставляли мне ни выгод, ни удовольст-

вия. Так и лежали они в моём самодельном шкафу и в дождливую погоду покрывались плесенью, — ведь в пещере было сыро.

Мне жилось теперь гораздо легче, чем раньше, и в физическом и в нравственном отношении. Я научился обращать внимание больше на светлые, чем на тёмные стороны моей жизни, и помнить больше о том, что у меня есть, чем о том, чего я лишён. И это доставляло мне минуты невыразимой внутренней радости. Я говорю об этом для тех несчастных людей, которые никогда ничем не довольны и не могут спокойно наслаждаться тем, что у них есть, потому что им всегда хочется того, чего у них нет.

Я так давно жил на моём острове, что многие из взятых мною с корабля вещей или совсем обветшали, или кончали свой век, а корабельные запасы провизии частью совершенно иссякли, частью подходили к концу.

Чернил у меня оставалось очень немного, и я всё больше и больше разводил их водой, пока они не стали такими бледными, что почти не оставляли следов на бумаге.

Вслед за чернилами у меня вышел весь запас хлеба, вернее, не хлеба, а корабельных сухарей. Я растягивал их до последней возможности. В последние полтора года я позволял себе съедать не более одного сухаря в день, и всё-таки перед тем как я собрал со своего поля такое количество зерна, что мог употреблять его в пищу, я почти год сидел без крошки хлеба.

По части одежды я тоже обеднел. Из белья у меня давно уже не осталось ничего, кроме нескольких клетчатых рубах, которые я нашёл в сундуках наших матросов и берёг пуще глаза, ибо на моём острове бывало зачастую так жарко, что приходилось ходить в одной рубахе. Было у меня ещё несколько толстых матросских бушлатов; все они хорошо сохранились, но я не мог их носить из-за жары. Собственно говоря, в таком жарком климате можно было ходить голым. Но когда на мне была одежда, я легче переносил солнечный зной. Палящие лучи тропического солнца обжигали мне кожу до пузырей, рубашка же защищала её от солнца, и, кроме того, меня освежало движение воздуха между рубашкой и телом. Не мог я также привыкнуть ходить по солнцу с непокрытой головой: всякий раз, когда я выходил без шляпы, у меня начиналась сильная головная боль.



Итак, надо было привести в порядок хоть то жалкое тряпьё, которое я именовал своей одеждой. Прежде всего мне нужна была куртка — все, какие у меня были, я износил. Я решил попытаться переделать на куртки матросские бушлаты, о которых я только что говорил. Сказано — сделано! Я принялся портняжить или, вернее, кромсать и ковырять иглой, ибо, говоря по совести, я был довольно-таки неумелым портным.

Как бы то ни было, я с грехом пополам состряпал две или три куртки, которых, по моему расчёту, мне дожно было хватить надолго. О первой моей попытке сшить себе штаны лучше не говорить: я совсем сплоховал.

Спустя некоторое время, я иначе разрешил эту трудную задачу — заменить изношенную одежду новой.

Я уже говорил, что у меня сохранялись шкуры всех убитых мною животных. Каждую шкуру я просушивал на солнце, растянув на шестах. Вначале я держал их на солнце слишком долго, поэтому они обычно становились такими жёсткими, что едва ли могли на что-нибудь пригодится; но потом я наловчился, и дело пошло на лад. Эти шкуры я решил использовать. Прежде всего, я сшил себе большую шапку, мехом наружу, чтобы лучше предохранить себя от дождя. Шапка так мне удалась, что я набрался храбрости и начал мастерить куртку и штаны из шкурок покрупнее. И куртку, и штаны я сделал очень широкими, притом штаны — короткими, до колен, так как и то и другое было мне нужно больше для защиты от солнца, чем для тепла. Покрой и работа, надо признаться, никуда не годились: плотник я был совсем неважный, а портной — и подавно. Как бы то ни было, эти мои изделия отлично мне служили, особенно, когда мне случалось выходить из дому во время дождя: вся вода стекала по длинному меху шапки и куртки, и я оставался совершенно сухим.

После куртки и штанов я потратил очень много времени и труда на изготовление зонтика, который был очень мне нужен. Я видел, как делают зонтики в Бразилии: там из-за жары все ходят под зонтиками, а на моём острове было не менее жарко, чем в Бразилии, пожалуй, даже жарче, так как он ближе к экватору. Мне приходилось выходить из дому во всякую погоду и подолгу бродить, когда под палящим солнцем, а когда под проливным дождём. Словом, зонтик был мне насущно необходим. Много мне было канители с этой работой, и много времени прошло, прежде чем мне удалось сделать что-то похожее на зонтик; раза два или три я выбрасывал свои никуда не годные изделия и начинал сызнова. Главная трудность заключалась в том, чтобы он раскрывался и закрывался. Сделать раскрытый зонтик было дело нехитрое, но тогда пришлось бы всегда носить его над головой, а это было неудобно. Но как уже сказано, я преодолел эту трудность; мой зонтик мог открываться и закрываться. Я обтянул его козьими шкурами мехом наружу:

дождь стекал по нём, как по наклонной крыше, и он так хорошо защищал от солнца, что я мог выходить из дому даже в самую жаркую погоду и не страдал от зноя; а когда он не был мне нужен, я закрывал его и нёс подмышкой.

Следующие пять лет прошли, насколько я могу припомнить, без всяких чрезвычайных событий. Жизнь моя протекала всё так же тихо и спокойно; я жил на старом месте и попрежнему делил своё время между трудом, охотой и чтением. Как и раньше, я обрабатывал землю и снимал урожай, причём хлеба я засевал ровно столько, чтобы его хватало на год; с таким же расчётом я собирал виноград. Как и раньше, я ежедневно ходил на охоту. Но больше всего времени я отдавал постройке новой лодки. На этот раз я не только сделал лодку, но и спустил её на воду: я вывел её в бухточку по каналу в шесть футов ширины и четыре глубины, который мне пришлось прорыть на протяжении почти полумили. Первую мою лодку, как уже знает читатель, я сделал таких огромных размеров, не рассчитав заблаговременно, буду ли я в состоянии спустить её на воду, что вынужден был оставить её на месте постройки как памятник моей глупости: это громоздкое сооружение должно было постоянно напоминать мне о том, что впредь следует быть умнее. Действительно, в следующий раз я поступил гораздо предусмотрительнее. Правда, я и теперь построил лодку чуть не в полумиле от воды, так как ближе не нашёл подходящего дерева, но предварительно я хорошо соразмерил её величину и тяжесть со своими силами. Видя, что моя затея на этот раз вполне осуществима, я твёрдо решил довести её до конца. Почти два года я провозился над сооружением лодки, но не жалел об этом — так я жаждал получить, наконец, возможность пуститься в море.

Надо, однако, заметить, что моя новая пирога совершенно не годилась для осуществления моего первоначального намерения — переплыть на лодке те сорок или пятьдесят миль, которые отделяли мой остров от материка. Она была так мала, что об этом и думать не приходилось, и я распрощался с мечтой, которую так долго лелеял. Но у меня явился новый план — объехать свой остров морем. Я уже побывал однажды на противоположном берегу острова (о чём подробно рассказал в своём месте), и открытия, которые я там сделал, так заинтересовали меня, что мне ещё тогда очень захотелось осмотреть всё побережье.

А теперь, когда у меня была лодка, я только и думал о том, как бы совершить это плаванье.

Чтобы обезопасить себя от всяких неприятных случайностей, я сделал для своей лодки маленькую мачту и сшил соответствующий парус из кусков корабельной парусины, которой у меня ещё был большой запас.

Когда лодка таким образом была оснащена, я испытал её ход и убедился, что под парусом она идёт отлично. Я сделал на корме и на носу по небольшому ящику, чтобы провизия, заряды и прочие нужные вещи, которые я собирался взять в дорогу, не подмокли от дождя и от волн. Для ружья я выдолбил в дне лодки узкий жолоб, к которому, для предохранения от сырости, приделал откидную крышку. Тогда же я укрепил на корме раскрытый зонтик в виде мачты, так чтобы он приходился над моей головой и защищал меня от солнца, словно навес. Затем я время от времени стал предпринимать небольшие прогулки по морю, но никогда не отваживался выходить далеко в открытое море, а неизменно старался держаться поближе к своей бухточке. Однако, в конце концов, желание ознакомиться с границами моего маленького царства превозмогло осторожность, и я твёрдо решил объехать весь остров. Я запасся в дорогу всем необходимым, начиная с провизии и кончая одеждой. Я захватил с собой два десятка ячменных лепёшек, большой глиняный горшок поджаренного рису (обычная моя еда), бутылочку рому и половину козьей туши; взял также пороху и дроби, чтобы пострелять ещё коз, а из одежды — два бушлата, которые, как я упоминал, оказались в перевезённых мною с корабля матросских сундуках; одним из этих бушлатов я предполагал пользоваться как подстилкой, а другим — укрываться.

Шестого ноября, в шестой год моего царствования или пленения — называйте, как хотите, — я отправился в путь. Путешествовал я гораздо дольше, чем рассчитывал. Дело в том, что хотя мой остров сам по себе и невелик, но когда я приблизился к восточной его части, то увидел длинную гряду скал, частью торчащих над водой, частью подводных; эта гряда выдаётся миль на шесть в открытое море, а дальше, за скалами, ещё мили на полторы тянется песчаная отмель. Следовательно, чтобы обогнуть эту косу, нужно было довольно далеко уйти в море.



Увидев эту преграду, я сначала чуть было не отказался от своего намерения — ведь я не знал, как далеко мне придётся пройти открытым морем, чтобы обогнуть её; а главное, я не был уверен в том, что оттуда смогу повернуть назад. Поразмыслив, я бросил якорь (перед отправлением в путь я смастерил себе подобие якоря из обломка крюка, подобранного мною на корабле), взял ружьё и сошёл на берег. Там я взобрался на довольно высокий пригорок, смерил на глаз длину скалистой гряды, которая отсюда была видна на всём своём протяжении, и решил рискнуть.

Я простоял, однако, на якоре два дня, так как дул свежий юго-восточный ветер и по всей косе ходили высокие буруны. Ночью ветер стих, море успокоилось, и я решил пуститься в путь. Но то, что случилось со

мной, может служить уроком для неопытных и неосторожных кормчих. Я уже почти достиг косы, уже был совсем близко от неё, как вдруг меня втянуло в бурный поток морского течения. Лодку мою завертело, как в мельничном шлюзе, и понесло с такой силой, что всё, что я мог сделать, это — держаться у самого края течения; выбраться из него было невозможно.

Меня уносило всё дальше и дальше. Ни малейший ветерок не приходил мне на помощь. Я налегал на вёсла, но это было пустой тратой сил. Я уже прощался с жизнью: я не сомневался, что меня ожидает верная смерть, и не в морской пучине, потому что море было довольно спокойно, а от голода. Правда, на берегу я нашёл черепаху, такую большую, что еле мог поднять её, и взял её с собой в лодку. Был у меня также полный кувшин пресной воды. Но что это значило для несчастного путника, затерявшегося в безбрежном океане, где можно проплыть тысячи миль, не увидев признаков земли?

Теперь мой пустынный, заброшенный остров казался мне подлинным земным раем, и единственным моим желанием было вернуться в этот рай. В страстном порыве я простирал к нему руки, взывая: «О благодатная пустыня! Я никогда больше не увижу тебя! О я, несчастный, что со мной будет?». Вспоминая, как я роптал на своё одиночество, я упрекал себя в неблагодарности. Чего бы только я не дал теперь, чтобы очутиться вновь на этом пустынном берегу! Не могу выразить, в каком я был отчаянии, когда увидел, что меня унесло почти на шесть миль от моего милого острова (да, теперь он казался мне милым), унесло в безбрежную водную пустыню, и я должен навеки проститься с надеждой увидеть его вновь. Однако я грёб изо всех сил, стараясь направить лодку на север, чтобы пересечь течение и обогнуть скалистую гряду. Вдруг, после полудня, потянул ветерок. Это немного меня ободрило. Представьте же мою радость, когда ветерок начал быстро свежеть и через полчаса подул как следует. К этому времени меня угнало бог знает на какое расстояние от моего острова. Подымись в ту пору туман или соберись тучи, мне пришёл бы конец: со мною не было компаса, и если бы я потерял остров из виду, я не знал бы, куда держать путь. Но, на моё счастье, был солнечный день, и ничто не предвещало тумана. Я поспешно поднял парус и стал править на север, стараясь выбраться из течения.

Как только моя лодка повернула по ветру и пошла наперерез течению, я заметил в нём перемену: вода стала гораздо светлее. Я заключил отсюда, что течение по какой-то причине начинает ослабевать, так как раньше, когда оно было бурным, вода была всё время мутна. И в самом деле, — на востоке, в расстоянии около полумили, я, по белой пене бурливших волн, различил подводные скалы. Я обнаружил, что эти скалы, преграждая течению путь, замедляют его и разбивают на две струи, из которых главная направляется на юг, а другая круто заворачивает назад и несётся на северо-запад.

Только те, кто знает по опыту, что́ значит получить помилование, стоя на эшафоте, или спастись от разбойников в последний момент, когда нож уже приставлен к горлу, поймут мой восторг при этом открытии и несказанную радость, с какой я направил свою лодку в обратную струю; подставив парус попутному ветру, ещё более посвежевшему, я весело понёсся назад.

Это течение принесло меня прямо к острову, но милях в шести севернее того места, откуда меня угнало в море. Около пяти часов пополудни я подошёл к берегу и причалил без труда, так как море было совершенно спокойно.

Невозможно описать радость, которую я испытал, почувствовав под ногами твёрдую землю. Подкрепившись едой, которую захватил в путь, я провёл лодку в бухточку, под деревья, которые росли здесь на самом берегу; вконец обессиленный волнением и усталостью, я лёг на траву и заснул как убитый.

Когда я проснулся, передо мной встал головоломный вопрос: я не знал, ка́к мне доставить домой свою лодку. О том, чтобы вернуться прежним путём, то есть вдоль восточного берега острова, не могло быть и речи: теперь я слишком хорошо знал опасности, угрожавшие мне на этом пути. Другая же дорога, вдоль западного берега, была мне совершенно незнакома, и у меня не было ни малейшего желания снова рисковать жизнью. Вот почему на другое утро я решил пройти берегом на запад и посмотреть, нет ли там какой-нибудь бухточки, где бы я мог спокойно оставить свой фрегат и затем воспользоваться им, когда понадобится. И действительно, пройдя мили три-четыре, я нашёл отличный заливчик, который глубоко вдавался в берег, постепенно суживаясь и переходя в ручеёк. Сюда-то я и привёл мою лодку, словно в нарочно

приготовленный док. Поставив и укрепив её, я сошёл на берег, чтобы осмотреться и установить, где я нахожусь.

Оказалось, что я совсем близко от того места, где я поставил шест в тот раз, когда приходил пешком на этот берег. Поэтому, захватив с собой только ружьё да зонтик, так как солнце пекло немилосердно, я пустился в путь. После моего несчастного морского путешествия эта прогулка показалась мне очень приятной. К вечеру я добрался до моей лесной дачи, где застал всё в исправности и в полном порядке.

Я был вконец изнурён. Перебравшись через ограду, я улёгся в тени и тотчас заснул. Но судите, каково было мое изумление, когда меня разбудил чей-то голос, звавший меня по имени. Несколько раз подряд я услышал громко произнесённые слова: «Робин, Робин, Робин Крузо! Бедный Робин Крузо! Где ты, Робин Крузо? Где ты? Куда ты попал?»

Измученный долгой греблей и ходьбой, я спал так крепко, что не мог сразу проснуться, и мне долго казалось, что я слышу этот голос во сне. Но он не умолкал. Вновь и вновь звучали слова: «Робин Крузо, где ты? Как ты сюда попал, Робин Крузо?» Наконец, я очнулся и в первый момент оцепенел от испуга. Несколько придя в себя, я вскочил, дико озираясь по сторонам, и вдруг, подняв голову, увидел на ограде своего Попку. Конечно, я тотчас догадался, что это он меня окликал: таким же точно жалобным тоном я часто говорил ему эту самую фразу, и он отлично её заучил; сядет, бывало, мне на палец, приблизит клюв к самому моему лицу и начнёт твердить: «Бедный Робин Крузо! Где ты? Где ты был? Как ты сюда попал?».

Но даже убедившись, что это мой попугай, и зная, что, кроме попугая, некому было заговорить со мной, я ещё долго не мог прийти в себя. Я совершенно не понимал, во-первых, как он попал на мою дачу, во-вторых, почему он прилетел именно сюда, а не в другое место. Но так как у меня не было ни малейшего сомнения в том, что это он, мой верный Попка, то, не долго думая, я протянул руку и назвал его по имени. Общительная птица сейчас же села мне на большой палец, как она это делала всегда, и снова стала без умолку твердить: «Бедный Робин Крузо! Как ты сюда попал? Где ты был?». Попка точно обрадовался, что снова видит меня. Разумеется, уходя с лесной дачи, я унёс его с собой.

Теперь у меня надолго пропала охота плавать по морю, и много



дней я размышлял об опасностях, которым подвергался. Конечно, было бы хорошо иметь лодку на этой стороне острова, но я не мог придумать никакого способа доставить её из бухты. О том, чтобы попытаться морем обогнуть мой остров с востока, не могло быть и речи: от одной мысли об этом у меня замирало сердце и стыла кровь в жилах. Запад-

ное побережье было мне совсем незнакомо. Если течение по ту сторону такое же сильное и бурное, как по эту, значит, мне придётся так же плохо, как в предыдущее плавание. Тогда меня уносило в открытое море, а теперь — моё судёнышко разобьётся в щепы о прибрежные скалы. Взвесив всё это, я решил обойтись без лодки, хотя её постройка и спуск на воду стоили мне многих месяцев тяжёлой работы.

ГЛАВА XII

За этот год я усовершенствовался во всех ремёслах, каких требовали условия моей жизни. Я уверен, что из меня мог бы выйти отличный плотник, особенно если принять в расчёт, как мало было у меня инструментов.

Но никогда я, кажется, так не радовался и не гордился своей сообразительностью, как в тот день, когда мне удалось сделать трубку. Конечно, моя трубка была самая первобытная — из простой обожжённой глины, как и все мои гончарные изделия, и вышла она совсем некрасивой; но она была достаточно крепка и хорошо тянула дым, а главное это была всё-таки трубка, вещь, о которой я давно мечтал, так как был завзятый курильщик. Правда, на нашем корабле были трубки; но я не знал тогда, что на острове растёт табак, и решил, что не стóит их брать. Потом, когда я вновь обшарил корабль, я уже не мог найти их.

Я проявил также большую изобретательность в плетении корзин: у меня их было множество самого различного вида. Красотой они, правда, не отличались, но вполне годились для хранения и переноски вещей. Теперь, когда мне случалось застрелить козу, я подвешивал тушу на дерево, сдирал с неё шкуру, разрезал на части и приносил домой в корзине. То же самое и с черепахами: теперь мне незачем было тащить на спине целую черепаху; я мог вскрыть её на месте, вынуть яйца, отрезать, какой мне было нужно, кусок, уложить яйца и мясо в корзину, а остальное оставить. В большие, глубокие корзины я складывал зерно, которое вымолачивал, как только оно просыхало.

Мой запас пороха начинал заметно убывать, и меня не на шутку тревожила мысль, чтó я буду делать, когда у меня выйдет весь порох, и кáк я буду тогда охотиться на коз. Я уже рассказал, как на третий год моего житья на острове я поймал и приручил молодую козочку. Я на-

деялся поймать козлёнка, но как я ни старался — мне это не удалось. Так моя козочка и состарилась без потомства. Потом она околела от дряхлости: у меня нехватило духу зарезать её.

Но на одиннадцатый год моего заточения на острове, когда, как я уже сказал, запас пороха у меня начал истощаться, я стал усиленно изыскивать способ ловить диких коз живьём. Больше всего мне хотелось поймать матку с козлятами. Я начал с силков, поставив их несколько штук в разных местах. Козы нередко попадались в них, но проку мне от этого было мало: за неимением проволоки, я делал силки из старых бечёвок, и всякий раз козы съедали приманку, потом разрывали бечёвку и убегали.

Тогда я решил попробовать капканы. Зная места, где козы паслись чаще всего, я выкопал там три глубокие ямы, накрыл их плетёнками



собственного изделия, присыпал землёй и набросал сверху колосьев риса и ячменя, но капканов пока не расставил. Я скоро убедился, что козы приходят в эти места и съедают колосья, так как кругом виднелись следы козьих копыт. Тогда я устроил три настоящих капкана, но на другое утро, обходя их, увидел, что приманка съедена, а коз нет. Это было очень печально. Однако я не пал духом: хорошенько поразмыслив, я несколько изменил устройство моих ловушек. Не буду утомлять читателя описанием подробностей, скажу только, что на другой же день я нашёл в одном капкане большого старого козла, а в другом — трёх козлят: одного самца и двух самок.

Старого козла я выпустил на волю, потому что не знал, что с ним делать. Он был такой дикий и злой, что взять его живым было невозможно; я боялся сойти к нему в яму, а убивать его было незачем. Как только я приподнял плетёнку, он выскочил из ямы и пустился бежать со всех ног. Но я не знал в ту пору того, в чём убедился впоследствии, — что голод укрощает даже львов. Если б я тогда заставил моего козла поголодать дня три-четыре, а потом принёс бы ему воды и колосьев, он сделался бы смирным и ручным, как козлёнок. Козы вообще очень смышлённые и покладистые животные; если с ними хорошо обращаться, их очень легко приручить.

Но, повторяю, в ту пору я этого не знал. Выпустив козла, я подошёл к той яме, где сидели козлята, извлёк их одного за другим, связал вместе верёвкой и с великим трудом притащил домой.

Довольно долго я не мог заставить козлят есть; однако, бросив им несколько сочных колосьев, я соблазнил их этой лакомой едой, и затем, мало-помалу, они приручились. Тогда я задумал развести целое стадо, рассудив, что это единственный способ обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут порох и дробь. Конечно, пришлось поломать себе голову над тем, как разобщить их с дикими козами, иначе они, немного подросши, все стали бы убегать в лес. Против этого было лишь одно средство — держать их в загоне, огороженном прочным частоколом или плетнём, так, чтобы приручённые козы не могли сломать его изнутри, а дикие — врываться в загон снаружи.

Устроить такой загон было нелёгкой работой для одного человека. Но это необходимо было сделать. Поэтому я, не откладывая, принялся

подыскивать подходящее место, то есть такое, где бы мои козы были обеспечены травой и водой и защищены от солнца.

Такое место скоро нашлось: это была широкая, ровная логовина, в двух-трёх местах по ней протекали ручейки с чистой прозрачной водой, а с одного края была тенистая роща. Все, кто знает, как строятся такие загородки, наверное, посмеются над моею несообразительностью, если я признáюсь, что, по первоначальному моему плану, моя изгородь должна была охватить собой весь луг, имевший, по меньшей мере, две мили в окружности. Глупость состояла не в том, что я взялся огородить такое обширное пространство, — у меня было довольно времени, чтобы построить изгородь длиной не то что в две, а в десять миль. Но я не сообразил, что держать коз на таком громадном, хотя бы и огороженном, лугу — всё равно, что пустить их пастись по всему острову: они росли бы такими же дикими и их было бы так же трудно изловить.

Это соображение пришло мне в голову, когда я уже начал строить изгородь и вывел её, помнится, ярдов на пятьдесят; оно заставило меня несколько изменить свой план. Я решил огородить кусок луга ярдов в полтораста длиной и в сто шириной и на первое время ограничиться этим. Я рассудил, что такого загона мне хватит для моего стада, а когда оно увеличится, я всегда смогу расширить пастбище.

Это было разумное решение, и я бодро принялся за дело. Выбранный мною участок я огораживал около трёх месяцев, и уже в начале работы перевёл туда всех трёх козлят, стреножил их и держал как можно ближе к себе, чтобы поскорее приручить. Я часто приносил им ячменных колосьев или горсточку риса и давал им есть из рук, так что, когда изгородь была окончена и заделана и я снял с них путы, они ходили следом за мной и блеяли, выпрашивая подачки.

Года через полтора у меня было штук двенадцать коз, считая с козлятами, а ещё через два года моё стадо выросло до сорока трёх голов. С течением времени я завёл пять огороженных загонов, которые сообщались между собой калитками. В каждом я устроил по закутку, куда загонял одну-двух коз, когда мне нужно было мясо.

Итак, у меня был теперь неиссякаемый запас козьего мяса, и не только мяса, но и молока. По правде сказать, начиная разводить коз, я не думал о молоке, и только потом сообразил, что могу их доить. Никогда в жизни я не доил корову, а тем более козу, и только в детстве



видел, как делают масло и сыр; но когда приспела нужда, я научился всему этому, конечно, не сразу, а после многих неудачных опытов.

Я думаю, самый мрачный человек не удержался бы от улыбки, наблюдая меня с моим семейством за обеденным столом. Я гордо восседал посредине — ведь я был король и повелитель острова; я полновластно распоряжался жизнью всех своих подданных — мог казнить и миловать их, дарить и отнимать свободу, и среди них не было ни одного непокорного. Нужно было видеть, с каким королевским величием

я обедал, окружённый моими верными слугами. Одному только любимцу Попке разрешалось беседовать со мной. Моя собака, которая давно уже одряхлела и поглупела, садилась всегда по правую мою руку; а две кошки — одна по одну сторону стола, другая по другую — не спускали с меня глаз в ожидании подачки, являвшейся знаком особого высочайшего благоволения.

Но это были не те кошки, которых я привёз с корабля: те давно околели, и я собственноручно похоронил их подле моего жилья. Одна из них уже на острове окотилась; я оставил у себя двух котят, и они выросли ручными, а остальные убежали в лес и одичали. С течением времени эти дикие кошки, неимоверно расплодившиеся, стали для меня настоящим бичом: они забирались ко мне в кладовую, таскали провизию и оставили меня в покое, только когда я пальнул из ружья и убил множество этих надоедливых зверьков. Так жил я со своей свитой в полном достатке, и, можно сказать, ни в чём не нуждался, кроме общества людей. Впрочем, скоро в моих владениях их появилось даже слишком много.

Хотя я твёрдо решил никогда больше не предпринимать опасных морских путешествий, мне всё же очень хотелось иметь лодку под руками, чтобы плавать вдоль побережья. Я часто думал о том, как бы мне перевезти её на мою сторону острова, но понимал, как трудно осуществить этот план. Меня почему-то сильно тянуло опять сходить на ту горку, куда я взбирался в последнее, достопамятное своё путешествие. Это желание усиливалось с каждым днём. Наконец, я не выдержал и решил пойти туда пешком, вдоль берега.

Если бы у нас в Англии прохожий встретил человека в таком наряде, в каком щеголял я, он, наверно, в испуге шарахнулся бы от него или расхохотался бы; да зачастую я и сам невольно улыбался, представляя себе, как бы я в таком одеянии и с такой свитой путешествовал по Йоркширу. Разрешите мне вкратце описать мою внешность.

На голове у меня красовалась высокая остроконечная шапка из козьего меха со свисавшим назад назатыльником, который прикрывал мою шею от солнца, а во время дождя не давал воде струиться за ворот. В жарком климате нет ничего вреднее дождя, попавшего за платье на голое тело.

Затем, на мне была длинная, почти до колен, куртка и штаны, тоже



до колен; и куртка и штаны были из козьего меха; на штаны у меня пошла шкура очень старого козла с такой длинной шерстью, что она закрывала мне ноги до половины икр. Чулок у меня совсем не было, а вместо башмаков я смастерил себе нечто вроде полусапог, завязывавшихся сбоку, но самого варварского покроя, как, впрочем, и вся моя одежда.

Поверх куртки я надевал широкий кушак из козьей шкуры, но очищенной от шерсти; пряжку заменяли два ремешка, а с боков я пришил к нему ещё по петле, но не для шпаги и кинжала, а для пилы и топора. Кроме того, я носил через плечо кожаный ремень, с такими же застёжками, как на кушаке, только поуже. К этому ремню я приделал две сумки таким образом, чтобы они приходились под левой рукой; в одной я носил порох, в другой — дробь. За спиной у меня висела корзина, на плече я нёс ружьё, а над головой держал огромный меховой зонтик, крайне безобразный, но после ружья составлявший, пожалуй, самую необходимую принадлежность моего снаряжения. Но зато цветом лица я менее походил на мулата, чем можно было бы ожидать, принимая во внимание, что я жил в девяти или десяти градусах от экватора и нимало не старался уберечься от загара. Одно время я носил предлинную бороду, но впоследствии обстриг её довольно коротко, оставив великолепные мусульманские усы, — такие усы я видел у турок в Салехе, марокканцы же их не носят; длины они были невероятной; не такой, конечно, чтобы можно было повесить на них шапку, но всё-таки настолько внушительной, что в Англии ими пугали бы маленьких детей.

Но обо всём этом я упоминаю мимоходом. Не много было на острове зрителей, чтобы любоваться моим лицом и одеянием, так не всё ли равно, какой я имел вид? Итак, не буду больше распространяться на эту тему. В описанном мною наряде я отправился в новое путешествие, продолжавшееся дней пять или шесть. Я осуществил своё намерение — поднялся на горку, побродил по берегу. Меня так и подмывало обогнуть скалистую гряду и объехать весь остров. Но при воспоминании о смертельной опасности, которой я подвергался, меня охватил ужас, и я тотчас отказался от этого намерения. Всё же я решил, что, вернувшись домой, немедля примусь за постройку второй лодки или пироги. Таким образом, говорил я себе, в моём распоряжении будут две лодки: одна на одной, вторая — на другой стороне острова.

Как уже знает читатель, у меня было на острове две усадьбы. Одна — на склоне холма, обнесённая двойным частоколом маленькая крепость с палаткой внутри ограды и пещерой-погребом за палаткой, этот погреб я к описываемому времени успел значительно расширить; теперь он состоял из нескольких отделений, сообщавшихся между собой. В самом сухом и просторном отделении, из которого, как уже было сказано, я

вывел ход наружу, то есть за ограду, у меня стояли большие глиняные горшки моего изделия и штук пятнадцать глубоких корзин, вместительностью по пять—шесть мер каждая. Всё это было наполнено разной провизией, главным образом зерном, частью в колосьях, частью вымолоченным моими руками.

Что касается моей наружной ограды, то, как я уже говорил, колья, которые я употреблял для неё, пустили побеги и превратились в такие развесистые деревья, что за ними не было видно ни малейших признаков человеческого жилья.

Неподалёку от моего укрепления, под горой, несколько дальше в глубь острова тянулись два участка моих пашен; эти участки я тщательно возделывал и получал с них, из года в год, прекрасные урожаи риса и ячменя. Если бы мне понадобилось увеличить посев, — кругом был непочатый край плодородной земли.

Вторая моя усадьба, моя дача, находилась в лесу. На её устройство я тоже положил немало трудов: деревья окружавшей её живой изгороди я постоянно подстригал, не давая им расти вверх; поэтому они широко раскинулись и давали чудесную тень. Под сенью их листвы, внутри ограды, стояла парусиновая палатка, так прочно установленная на врытых в землю кольях, что её никогда не приходилось поправлять. В палатке у меня была постель из козьих шкур; когда неотложные работы не задерживали меня в старом жилище, я часто проводил здесь по нескольку дней.

К этой усадьбе примыкали мои загоны для коз. Огородить их мне стоило невероятного труда. Я так боялся, чтобы козы не проломили изгородь, что то и дело укреплял её новыми кольями, и успокоился только тогда, когда в ней не осталось ни одной щёлки и она стала скорее похожа на частокол, чем на плетень. После дождливого времени года все колья принялись и разрослись; тогда моя ограда превратилась в сплошную зелёную стену.

Всё это показывает, что я не ленился и не щадил трудов, когда видел, что та или иная работа, какой бы она ни требовала затраты времени и сил, может доставить мне те житейские удобства, в которых я так нуждался. Разведение домашнего скота было для меня вопросом жизни; иметь в своём распоряжении стадо коз — значило обеспечить себе до конца моих дней, — а я мог прожить ещё много лет, — неистощимый



запас мяса, молока, масла и сыра; иметь же коз в своём распоряжении я мог только при условии, что всегда буду содержать изгородь в полной исправности.

Тут же около моей дачи рос виноград, который я сушил на зиму. Я очень дорожил им не только как лакомством, приятно разнообразившим мой стол, но и как здоровой, питательной, освежающей пищей.

Моя лесная дача была как раз на полпути между главной моей резиденцией и той бухточкой, где я оставил лодку; поэтому каждый раз, когда я ходил на тот берег, я останавливался там на ночёвку. Я часто

ходил смотреть мою лодку и содержал её в полном порядке. Иногда я катался на ней, но никогда не отъезжал от берега дальше четверти мили — настолько я теперь страшился бурных морских течений и прочих непредвиденных случайностей, которые могли произойти со мной в море.

ГЛАВА XIII

Теперь я перейду к новому, полному тревог и волнений, периоду моей жизни.

Однажды около полудня я шёл берегом моря, направляясь к своей лодке, и вдруг увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшийся на песке. Я остановился, как громом поражённый, или словно увидев привидение. Я прислушивался, озирался вокруг, но не услышал и не увидел ничего подозрительного. Я взбежал на откос, чтобы лучше осмотреть местность, опять спустился, ходил взад и вперёд по берегу, — нигде ничего, нигде ни следа людей, кроме этого отпечатка ноги. Я пошёл ещё раз взглянуть на него, чтоб удостовериться, действительно ли это человеческий след и не почудился ли он мне. Но нет, я не ошибся, это был, несомненно, отпечаток ноги человека: я совершенно ясно различал пятку, пальцы, подошву. Как сюда попал человек? Я терялся в догадках и не мог остановиться ни на одной. В полном смятении, земли под собой не чуя, как говорится, я опрометью понёсся домой, в свою крепость. Я был напуган до последней степени: через каждые два-три шага я оглядывался назад, я пугался каждого куста, каждого деревца и каждый черневший вдали пень принимал за человека. Вы не можете себе представить, в какие страшные и неожиданные формы моё возбуждённое воображение облекало все предметы, какие дикие мысли проносились в моей голове и какие я принимал нелепые решения, пока бежал домой.

Добравшись до моей крепости, — так я стал называть моё жильё с того дня, — я в мгновение ока очутился за оградой. На другой день я даже не мог припомнить, перелез ли я через ограду по приставной лесенке, как делал это раньше, или вошёл через дверь, то есть через наружный ход, выкопанный мною в горе; никогда заяц, никогда лиса не спасались в таком безумном ужасе в свои норы, убегая от охотников и их собак, как я — в своё убежище.

Всю ночь я не сомкнул глаз; теперь, когда я не видел предмета, которым был вызван мой страх, я боялся ещё больше. Это как будто даже противоречило обычным проявлениям страха. Но я был до такой степени потрясён, что мне всё время мерещились ужасы, несмотря на то, что я был теперь далеко от перепугавшего меня следа ноги. Минутами мне приходило в голову, не дьявол ли это оставил свой след. В самом деле, рассуждал я, кто, кроме дьявола в человеческом образе, мог забраться в эти места? Где лодка, которая привезла сюда человека? И где другие отпечатки его ног? Да и каким образом мог попасть сюда человек? Но вскоре я понял всю нелепость своего предположения о нечистой силе и отказался от него. Вероятнее всего, говорил я себе, этот след оставил какой-нибудь дикарь, приплывший на ладье с земли, лежащей против моего острова. Но был ли он один? Или их было много? Чем дольше я думал, тем более правдоподобным мне казалось, что эти дикари вышли в море на своей пироге и что течением или ветром её пригнало к моему острову; они побывали на берегу, а затем опять ушли в море, потому что у них было так же мало желания оставаться в этом пустынном месте, как у меня — видеть их там.

По мере того как я укреплялся в этой последней догадке, моё сердце наполнялось радостью. Какое счастье, думал я, что я не был в то время на этом берегу и что они не заметили моей лодки, иначе они догадались бы, что на острове живут люди, и стали бы разыскивать их. Но тут меня пронизала страшная мысль: а вдруг они видели мою лодку и смекнули, что здесь есть люди? Если так, то они вернутся с целой ордой своих соплеменников и съедят меня. А если не найдут, всё равно, увидев мои поля и выгоны, они разорят мои пашни, угонят моих коз, и я умру с голоду.

Тут я стал горько упрекать себя в лени, в том, что я сеял ровно столько, чтобы мне хватало на год, точно не могло произойти какой-нибудь случайности, которая помешала бы мне собрать посеянный хлеб. Я дал себе слово впредь быть дальновиднее и, в предупреждение возможности остаться без хлеба, сеять с таким расчётом, чтобы мне хватало зерна на два, на три года.

Как странно меняются с переменой обстоятельств наши влечения и желания! Сегодня мы ищем то, чего завтра будем избегать. Завтра нас будет приводить в трепет одна мысль о том, чего мы жаждем сегодня.



Я был тогда наглядным примером этого рода противоречий. Я — человек, единственным несчастьем которого было то, что он изгнан из общества людей, что он один среди безбрежного океана, обречённый на вечное безмолвие, отрезанный от мира, от общения с себе подобными, — я, которому увидеть лицо человеческое казалось величайшим счастьем, какое только могло быть ниспослано ему провидением, — я теперь дрожал от страха при одной мысли о том, что могу столкнуться с людьми, готов

был лишиться чувств от одной только тени, от одного только следа присутствия на моём острове какого-то человека!

В самый разгар моих страхов, когда я бросался от предположения к предположению и ни на чём не мог остановиться, мне как-то раз пришло в голову, не является ли вся эта история плодом моего воображения и не мой ли это собственный след, оставленный тогда, когда я в предпоследний раз ходил смотреть свою лодку и потом возвращался домой. Положим, возвращался я обыкновенно другою дорогой; но разве не могло случиться, что в тот раз я изменил своему обыкновению? Это было давно, и мог ли я утверждать, что шёл именно той, а не этой дорогой? Конечно, я постарался уверить себя, что так оно и было, что это мой собственный след, что в этом происшествии я сыграл глупейшую роль фантазёра, поверившего в им же самим созданный призрак и смертельно напуганного страшною сказкой, которую он сам сочинил.

Найдя это объяснение, я несколько приободрился и стал выходить из дому, ибо первые трое суток после сделанного мною злосчастного открытия я не высовывал носа из своей крепости, так что начал даже голодать: я не держал дома больших запасов провизии и на третьи сутки у меня оставались только ячменные лепёшки да вода. Меня мучило также, что мои козы, которых я обыкновенно доил каждый вечер, остаются недоенными: я знал, что бедные животные очень страдают от этого, и, кроме того, боялся, что у них может пропасть молоко. И мои опасения оправдались: многие козы захворали и почти перестали доиться.

Итак, ободрив себя уверенностью, что я видел не что иное, как след моей собственной ноги, и поистине испугался собственной тени, я начал снова ходить на свою лесную дачу доить коз и собирать виноград. Но если бы вы видели, как несмело я шёл, с каким страхом озирался назад, как я был всегда настороже, готов был в любую минуту бросить свою корзину и пуститься наутёк, спасая свою жизнь, — вы приняли бы меня за великого преступника, который не знает, куда ему спрятаться от своей совести, или за человека, только что пережившего жестокий испуг.

Но после того как в течение двух или трёх дней я не открыл ничего подозрительного, у меня отлегло от души. Я положительно начинал приходить к заключению, что сам насочинял себе страхов; однако, чтобы уже не оставалось никаких сомнений, я решил ещё раз сходить на тот берег и сличить таинственный след, лишивший меня покоя, с отпечатком

моей собственной ноги: если оба следа совпадут — значит, дело ясно: я испугался самого себя. Но придя на то место, где был испугавший меня след, я, во-первых, убедился, что, когда я в тот раз возвращался домой, выйдя из лодки, я никоим образом не мог очутиться в этом месте, а, во-вторых, поставив для сравнения ногу на след, я увидел, что моя нога значительно меньше его. И тут меня опять обуял панический страх: я весь дрожал, как в лихорадке; вихрь новых догадок закружился у меня в голове. Я ушёл домой в полном убеждении, что на моём острове недавно побывали люди или, по крайней мере, один человек. Я даже готов был допустить, что остров обитаем, хотя до сих пор ничто не указывало мне на это. А отсюда следовало, что меня каждую минуту могут захватить врасплох. Но я ничего не мог придумать, чтобы оградить себя от этой опасности.

К каким только нелепым решениям не приходит человек под влиянием страха! Страх отнимает у нас ту драгоценную способность обдумывать события и трезво судить о них, которую даёт нам разум. Если дикари, рассуждал я, найдут моих коз и увидят мои нивы, они будут постоянно возвращаться на остров за новой добычей; а если они заметят моё жильё, то непременно примутся разыскивать его обитателей и рано или поздно доберутся до меня. Поэтому первой моей мыслью было переломать изгороди всех моих загонов и выпустить всех коз в леса, где они, разумеется, быстро одичали бы; более того, — я хотел было перекопать оба поля, то есть уничтожить всходы риса и ячменя и остаться без хлеба. Сгоряча я решил даже снести свой лесной шалаш и палатку, чтобы неприятель не мог открыть никаких признаков присутствия на острове человека.

Страх опасности всегда страшнее опасности, уже наступившей, и ожидание зла в десять тысяч раз хуже самого зла. После того как я убедился, что таинственный след не совпадает со следом моей ноги, я не спал всю ночь напролёт.

Но под утро, совсем обессилев, я уснул крепким сном и, пробудившись, почувствовал себя гораздо лучше, чем все эти дни. Теперь я начал рассуждать спокойнее и, по зрелом размышлении, вот к чему я пришёл. Разумеется, говорил я себе, мой остров, богатый растительностью и лежащий неподалёку от материка, был не так уж неизвестен людям, как я воображал до сих пор, и хотя постоянных жителей на нём нет, но весьма

вероятно, что дикари с материка приплывают иногда в своих пирогах к его берегам; возможно, даже более вероятно, и другое — что иной раз их пригоняет сюда течением или ветром. Но за пятнадцать лет, которые я прожил на острове, я до последних дней не открыл и следа присутствия на нём людей; стало быть, если дикари и высаживаются здесь, то они, спустя недолгое время, снова уплывают и отнюдь не помышляют здесь обосноваться.

Следовательно, рассуждал я дальше, единственное, что могло мне угрожать, это опасность наткнуться на дикарей в одно из таких посещений. Но вероятнее всего, успокаивал я себя, они попадали сюда не по доброй воле, а их пригоняло ветром, и они спешили поскорее убраться домой, проведя на острове всего какую-нибудь ночь, чтобы не упустить отлива и успеть вернуться засветло.

Значит, заключил я, мне нужно только стараться не попадаться им на глаза и обеспечить себе безопасное убежище, где я мог бы укрыться, если они снова причалят к острову.

Мне пришлось теперь горько пожалеть о том, что я расширил пещеру за своей палаткой и вывел из неё ход наружу, за пределы моего укрепления. И вот, подумав, я решил построить вокруг моего жилья ещё одну ограду, тоже полукругом, на таком расстоянии от прежней стены, чтобы выход из пещеры пришёлся внутри укрепления. Впрочем, мне даже не понадобилось воздвигать новую стену: двойной ряд деревьев, которые я лет двенадцать назад посадил вдоль старой ограды, представлял уже и сам по себе надёжный оплот — так часто деревья были посажены и так пышно они разрослись. Оставалось только забить кольями промежутки между ними, чтобы превратить весь этот полукруг в сплошную, крепкую стену. Так я и сделал.

Теперь моя крепость была окружена двумя стенами. Но в наружной стене я оставил семь небольших отверстий, настолько узких, что едва можно было просунуть в них руку. Эти отверстия должны были служить мне бойницами. Я вставил в каждое из них по мушкету (я уже говорил, что перевёз к себе с корабля семь мушкетов). Мушкеты были у меня установлены на подставках, как пушки на лафетах, так что в какие-нибудь две минуты я мог разрядить все семь ружей. Много месяцев тяжёлой работы потратил я на возведение этого укрепления: мне всё

казалось, что я не могу считать себя в безопасности, покуда оно не будет закончено.

Но этим я не ограничился. Обширное пространство перед наружной стеной я засадил теми, похожими на нашу иву, деревьями, которые так хорошо принимались. Я полагаю, что посадил их не менее двадцати тысяч штук. А между деревьями и стеной я оставил довольно большое свободное пространство, чтобы мне легче было заметить неприятеля, если он вздумает прокрасться к моей крепости под прикрытием деревьев.

Через два года перед моим жильём была уже молодая рощица, а ещё лет через пять-шесть его обступал высокий лес, почти непроходимый, так часто были насажены в нём деревья и так густо они разрослись. Никому в мире не пришло бы теперь в голову, что за этим лесом скрыто человеческое жильё. Я не оставил просеки в лесу, а для того чтобы входить в мою крепость и выходить из неё, я пользовался двумя лесенками, приставляя одну из них к сравнительно невысокому выступу в скале, на который ставил другую лесенку, так что, когда обе они были убраны, ни один человек не мог бы проникнуть ко мне, не сломав себе шею. Но даже если бы какому-нибудь смельчаку удалось благополучно спуститься с холма в мою сторону, он всё же очутился бы не в самой крепости, а перед её наружной стеной.

Итак, я принял для своей безопасности все меры, какие только могла мне подсказать моя изобретательность, и, как читатель вскоре увидит, они были не совсем бесполезны, хотя в ту пору, когда я приводил их в исполнение, опасность, от которой я хотел себя защитить, была скорее воображаемой, внушённой моими страхами.

Но, прилагая все старания для ограждения себя от врагов, я в то же время не забрасывал и других своих дел. Я попрежнему тщательно ходил за моим маленьким стадом. Мои козы кормили меня, их шерсть и шкуры попрежнему доставляли мне одежду, а это избавляло меня от необходимости охотиться и таким образом сберегало мне не только порох, но силы и время. Выгода была так ощутительна, что мне, понятно, не хотелось лишиться её и потом начинать всё сызнова.

Чтобы избежать этого несчастья, я, по зрелом размышлении, решил, что у меня только два способа сохранить коз: или загонять на ночь всё стадо в пещеру, которую пришлось бы выкопать нарочно для этой цели,

или устроить ещё два-три отдельных загончика, подальше один от другого, но непременно в укромных местах, где их было бы трудно найти, и поместить в каждом из них по полдюжине молодых коз; тогда, если бы даже главное стадо погибло вследствие какой-нибудь несчастной случайности, у меня всё-таки осталось бы несколько коз, и я мог бы без особых хлопот развести новое стадо. В конце концов, я остановился на последнем решении, как на более разумном, хотя осуществление его требовало немало времени и труда.

Я исходил весь остров, отыскивая самые глухие места, и, наконец, выбрал один уголок, так хорошо укрытый от нескромных взоров, что лучшего и желать нельзя было. Это была небольшая полянка в низине, в чаще леса — того самого леса, где я заблудился, когда возвращался домой с восточной части острова. Вся полянка занимала около трёх акров; лес обступал её со всех сторон почти сплошной стеной, образуя как бы естественную ограду; во всяком случае, здесь устройство ограды потребовало от меня гораздо меньше труда, чем в других местах.

Я немедленно принялся за работу, и недели через четыре мой новый загон был огорожен настолько плотно, что можно было перевести в него коз. Теперь это было нетрудно сделать, так как новые поколения коз, выросшие в огороженных загонах, привыкли ко мне и утратили свою природную дикость. Я, не мешкая, отделил от стада десять коз и двух козлов и перевёл их в новый загон. После того я употребил ещё некоторое время на окончательное укрепление изгороди, но делал это не торопясь.

И все эти труды, все эти хлопоты порождены были страхом, обуявшим меня при виде отпечатка человеческой ноги на песке! Ибо до сих пор я никогда не видел ни одной души ни на острове, ни близко от него.

Прошло два года со времени несчастного открытия, после которого я распростился со своим прежним безмятежным покоем; все те, кто испытал, что́ такое жизнь под вечным гнётом страха, легко поверят этому. Я сильно изменился; прежнего ровного, спокойного расположения духа теперь и в помине не было. Каждый вечер я ложился спать с гнетущей мыслью, что, может быть, не доживу до утра, что ночью на меня нападут дикари, что они убьют меня и съедят, и этот страх несказанно угнетал меня. Страх так же ослабляет душу, как физический недуг изнуряет тело.

Но возвращаюсь к своему рассказу. Обеспечив себе, таким образом, небольшое стадо, я стал подыскивать другое укромное местечко для новой партии коз. Как-то раз, во время этих поисков, я добрался до западной оконечности острова, где никогда не бывал раньше. Не доходя до берега, я поднялся на пригорок, и когда передо мной открылось море, мне показалось, что вдали виднеется лодка. Я уже упоминал о том, что в одном из сундуков, перевезённых мною с нашего корабля, нашлось несколько подзорных труб, но я никогда не брал их с собой, и поэтому не мог различить, была ли то действительно лодка, хотя проглядел все глаза, всматриваясь вдаль. Спускаясь к берегу с пригорка, я уже ничего не увидел; так я и до сих пор не знаю, что это был за предмет, который я принял за лодку. Но я дал себе слово отныне не выходить из дому без подзорной трубы.

Добравшись до берега (это была часть острова, где, как уже сказано, я раньше не бывал), я не замедлил убедиться, что следы человеческих ног совсем не такая редкость на моём острове, как я воображал. Да, я убедился, что не попади я после кораблекрушения на ту сторону острова, куда не приставали дикари, я бы давно уже знал, что посещения ими моего острова — самая обыкновенная вещь и что западное его побережье служит им не только постоянной гаванью во время более дальних морских плаваний, но и местом, где они справляют свои кровавые пиры.

То, что я увидел, когда спустился с пригорка и подошёл к берегу моря, как громом поразило меня. Весь берег был усеян человеческими костями: черепами, скелетами, костями рук и ног. Не могу выразить, какой ужас охватил мою душу при виде этой картины. Мне было известно, что дикие племена часто воюют между собой. «Должно быть, — подумал я, — у них бывают морские сражения, и после боя победители привозят своих пленных на это побережье, а затем, по страшному обычаю всех людоедов, убивают и съедают их». В одном месте я заметил круглую, плотно убитую площадку, вроде тех, которые в Англии устраивают для петушиных боёв; посредине площадки виднелись остатки костра: здесь, судя по всему, бесчеловечные варвары, умертвив несчастных пленников, пожирали их тела.

Всё это до такой степени меня ошеломило, что я даже не сразу вспомнил об опасности, которой подвергался сам, задерживаясь в этом



месте: ужас перед этой кровожадностью, этой зверской жестокостью вытеснил из моей души всякий страх за себя. Я не раз слыхал о подобных зверствах, но никогда до тех пор мне не случалось видеть их самому. С омерзением отвернулся я от ужасного зрелища; я ощущал сильнейшую тошноту и едва не лишился чувств; немного придя в себя, я тотчас со всех ног помчался домой.

Мне понадобилось много дней, чтобы оправиться от пережитого потрясения. Но с той поры я стал меньше прежнего страшиться дикарей. То, что я видел, убедило меня, что эти кровожадные изверги приезжали на остров не за добычей, — либо они ни в чём не нуждались, либо не рассчитывали чем-нибудь поживиться в таком пустынном месте: в лесистой части острова они, несомненно, бывали не раз, но, вероятно, не нашли там ничего, что их прельстило бы. Достоверно было одно: я прожил на острове без малого восемнадцать лет и до последнего времени ни разу не находил человеческих следов, из чего явствовало, что я мог прожить здесь ещё столько же и не попасться на глаза дикарям. Впрочем, встреча с ними представлялась мало вероятной, ведь я только о том и думал, как бы скрыть все признаки моего присутствия на острове, и старался как можно реже выползать из своей норы.

Однако ужас и отвращение, внушённые мне этими извергами и их бесчеловечным обычаем пожирать друг друга, повергли меня в мрачное расположение духа, и около двух лет я просидел безвыходно в той части острова, где были расположены обе мои усадьбы: крепость под холмом и лесная дача — та полянка в чаще леса, где я устроил загон.

Но мало-помалу время и уверенность в том, что дикари не могут открыть моё убежище, сделали своё дело: я перестал их бояться и зажил прежней мирной жизнью, с той лишь разницей, что теперь я стал осторожнее и принимал все меры, чтоб не попасться неприятелю на глаза. Главное, я остерегался стрелять, чтобы не привлечь внимание дикарей, если бы они случайно находились на острове. К счастью, я мог теперь обходиться без охоты, так как во-время позаботился обзавестись домашним скотом; нескольких диких коз я за это время поймал в силки или в капканы, так что за два года я, кажется, не сделал ни одного выстрела, хотя никогда не выходил без ружья. Более того, я всегда засовывал за пояс три пистолета, найденных мной на корабле, или хотя бы два из них, и подвешивал на ремне через плечо остро отточенный тесак. Таким образом, вид у меня был теперь самый устрашающий: ружьё, топор, пара пистолетов и огромный тесак без ножен.

Итак, если откинуть в сторону необходимость всегда быть начеку, жизнь моя, как я уже сказал, вошла на некоторое время в своё прежнее покойное русло.

Но моя изобретательность, ранее направленная на создание житейских удобств, теперь устремилась совсем в другую сторону. День и ночь я думал только о том, как бы мне истребить побольше этих чудовищ во время их зверских празднеств и, если можно, спасти ту обречённую на съедение несчастную жертву, которую они привезут с собой. Мне хотелось, если не удастся истребить этих извергов, хотя бы напугать их хорошенько и таким образом отвадить от посещения моего острова.

Моя книга вышла бы слишком объёмистой, если бы я вздумал рассказать все хитроумные планы, какие я измышлял по этому поводу,— но всё впустую! Чтобы покарать людоедов, надо было вступить с ними в бой, а как мог один человек справиться с двумя-тремя десятками этих варваров, вооружённых копьями, луками и стрелами, которыми они умели пользоваться не хуже, чем я ружьём?

Чего-чего только я не придумывал! Мне, например, приходило в голову подвести мину под то место, где дикари разводили огонь, и заложить туда фунтов пять-шесть пороху. Когда они зажгут свой костёр, порох воспламенится и взорвёт всё, что окажется поблизости. Моё воображение уже рисовало мне эту картину. Но мне, во-первых, жалко было пороху, которого оставалось совсем немного, а во-вторых, я не мог быть уверен, что взрыв произойдёт именно тогда, когда они соберутся у костра. В противном случае, какой был бы из этого толк? Самое большее, нескольких дикарей опалило бы порохом. Конечно, они испугались бы, но настолько ли, чтобы перестать появляться на острове? Так я и бросил эту затею.

Думал я также устроить в подходящем месте засаду: спрятаться с тремя заряжёнными ружьями и выпалить из них, когда кровавое пиршество будет в разгаре. Я был уверен, что каждым выстрелом уложу наповал или раню двух-трёх человек, а потом я мог выскочить из засады и напасть на дикарей, действуя пистолетом и тесаком. Я не сомневался, что этим способом сумею управиться со всеми своими врагами, будь их хоть двадцать человек. Я несколько недель носился с этой мыслью: она до такой степени меня поглощала, что часто мне даже во сне виделось, будто я стреляю в людоедов или бросаюсь на них из засады.

Одно время я до того увлёкся этим планом, что потратил несколько дней на поиски подходящего места для предполагаемой засады. Я даже

начал посещать место сборищ дикарей и освоился с ним. Душа моя жаждала мести, ум был полон кровожадных планов избиения отвратительных выродков, пожирающих друг друга; вид страшных следов кровавой расправы человека с человеком разжигал мою злобу.

Место для засады было, наконец, найдено, то есть, собственно говоря, я подыскал два укромных местечка: из одного я предполагал стрелять в дикарей, другое же должно было служить мне пунктом для предварительных наблюдений. Это был выступ на склоне холма, откуда я мог, рассчитывая остаться незамеченным, следить за каждой приближавшейся к острову лодкой. Я полагал, что, завидев издали пирогу с дикарями, проберусь в ближний лесок, прежде чем они успеют высадиться. Там в одном дереве было такое большое дупло, что я легко мог в нём спрятаться. Сидя в этом дупле, я мог отлично наблюдать за врагами и, улучив минуту, когда они собьются кучкой и будут таким образом представлять удобную цель, — стрелять, но уже без промаха, так, чтобы уложить первым же выстрелом трёх-четырёх человек.

Как только было выбрано место засады, я стал готовиться к походу. Я тщательно осмотрел и привёл в порядок свои пистолеты, два мушкета и охотничье ружьё. Каждый мушкет я зарядил двумя большими кусками свинца и пятью пистолетными пулями, а в охотничье ружьё всыпал добрую горсть самой крупной дроби. Затем я заготовил пороху и пуль ещё для трёх зарядов и собрался в поход.

Когда мой план кампании был окончательно разработан и даже неоднократно приведён в исполнение в моём воображении, я стал ежедневно подыматься на вершину холма, который находился более чем в трёх милях от моей крепости. Я целыми часами смотрел, не видно ли в море каких-нибудь судов и не подходит ли к острову пирога с дикарями. Месяца два-три подряд я самым добросовестным образом нёс караульную службу, но наконец это мне надоело, ибо за все три месяца я ни разу не увидел ничего похожего на лодку, не только у берега, но и на всём пространстве океана, какое может охватить глаз через подзорную трубу.

Пока я аккуратно посещал свой наблюдательный пост, моя воинственность не ослабевала, и я не находил ничего предосудительного в жестокой расправе, которую собирался учинить. Убийство двух-трёх десятков почти безоружных людей казалось мне самой обыкновенной вещью,

Ослеплённый негодованием, охватившим меня, когда я узнал зверские нравы жителей ближнего материка, я даже не задавался вопросом, заслуживают ли они такой жестокой кары.

Но несколько позднее, когда ежедневное бесплодное выслеживание начало мне надоедать, мой взгляд на задуманное мною дело и моё отношение к дикарям изменились. Эти невежественные люди, говорил я себе, не имеют в жизни иных руководителей, кроме своих жестоких инстинктов и звериных страстей. Несомненно, в глазах людоедов, пожирать людей — отнюдь не преступление, их разум не находит ничего предосудительного в этом обычае, и совесть не упрекает их за него. Они делают зло по неведению, для них убить и съесть пленного — такое же заурядное дело, как для нас зарезать и съесть быка.

Отсюда я сделал вывод, что был неправ, произнося свой строгий приговор над дикарями-людоедами, как над убийцами. Теперь я понимал, что они не более убийцы, чем те христиане, которые убивают военнопленных или, что случается ещё чаще, предают мечу, никому не давая пощады, целые армии, даже когда неприятель положил оружие и сдался.

Эти рассуждения охладили мой пыл, и я стал понемногу отказываться от своей затеи. К тому же, мне стало ясно, что осуществление моего плана не только не принесёт мне избавления от дикарей, но повлечёт за собой мою гибель. Ведь только в том случае я смогу быть уверен, что избавился от них, если мне удастся перебить их всех до единого, и не только всех тех, которые высадятся в следующий раз, но и всех, кто будет являться потом. Если же хотя бы один из них ускользнёт и расскажет дома о случившемся, они тысячами нагрянут ко мне отомстить за смерть своих соплеменников — и я, таким образом, навлеку на себя верную гибель, которая в то время вовсе мне не угрожала.

Взвесив все эти доводы, я решил, что вмешиваться в дела дикарей было бы с моей стороны неблагоразумно; напротив, мне следует попрежнему всячески скрываться от них, и как можно лучше заметать свои следы, дабы они не могли догадаться, что на острове обитает человеческое существо.

Придя к этим заключениям, я отказался от каких-либо попыток расправиться с дикарями. В течение года я ни разу не взбирался на холм посмотреть, не видно ли их и не оставили ли они каких-нибудь следов своего недавнего пребывания на берегу. Я только увёл из тех мест свою

лодку и переправил её на восточную сторону острова, где для неё нашлась очень удобная бухточка, защищённая со всех сторон отвесными скалами. Я знал, что из-за бурного течения дикари ни за что не решатся высадиться в этой бухточке.

Лодку я перевёл со всей её оснасткой, с самодельной мачтой и самодельным парусом, чем-то вроде якоря (впрочем, это приспособление едва ли можно было назвать якорем; но ничего лучшего я не мог сделать). Словом, я убрал с того берега всё до последней мелочи, чтобы не оставалось никаких следов лодки или присутствия на острове человека. И в море я не пускался. Я слишком хорошо знал, какая участь меня ожидает, если я повстречаю там ладьи дикарей.

Кроме того, я попрежнему без крайней необходимости не выползал из своей норы. Правда, я исправно ходил доить коз и присматривать за своим маленьким стадом в лесу, но это было в отдалённой части острова, так что я не подвергался ни малейшей опасности. Можно было с уверенностью сказать, что дикари приезжали на остров не за добычей и, следовательно, не ходили в глубь его. Я не сомневался, что они не раз побывали на берегу и до и после того, как, напуганный сделанным мною открытием, я стал осторожнее. С ужасом думал я о том, какова была бы моя участь, если бы, не подозревая о грозящей опасности, я случайно наткнулся на них в то время, когда полунагой и почти безоружный (обычно до своего страшного открытия я брал с собой только ружьё, зачастую заряжённое одной мелкой дробью) я беззаботно разгуливал по всему острову в поисках дичи, обшаривая каждый кустик. Что было бы со мной, если бы вместо отпечатка человеческой ноги я увидел вдруг человек пятнадцать-двадцать дикарей и они погнались бы за мной и, разумеется, настигли бы меня, ведь дикари бегают очень быстро?

ГЛАВА XIV

Я думаю, читателю не покажется странным, когда я ему скажу, что сознание постоянной опасности, под гнётом которого я жил последние годы, и никогда не покидавшие меня страх и тревога притупили мою изобретательность и положили конец всем попыткам увеличить моё благосостояние и мои домашние удобства. Мне было не до забот об

улучшении моего стола, когда я только думал, как бы спасти свою жизнь. Я не смел ни вбить гвоздь, ни расколоть полено, боясь, что дикари могут услышать стук. Стрелять я и подавно не решался по той же причине. Но главное, на меня нападала неописуемая тревога всякий раз, когда мне приходилось разводить огонь, так как дым, который днём виден на большом расстоянии, всегда мог выдать меня. Поэтому я даже устроил новое помещение для всех тех поделок (в том числе и гончарного промысла), для которых требовался огонь. Я забыл сказать, что как-то раз, к несказанной моей радости, я нашёл в скале природную пещеру, очень просторную внутри, куда, я уверен, ни один дикарь не отважился бы забраться, даже если бы он находился у самого входа в неё; только человеку, который, как я, нуждался в безопасном убежище, могла прийти фантазия залезть в эту нору.

Вход в эту пещеру находился под высокой скалой, у подножья которой я рубил толстые сучья на уголь. Но прежде чем продолжать, я должен объяснить, зачем мне понадобился древесный уголь.

Я уже сказал, что боялся разводить огонь подле моего жилья, — боялся из-за дыма; а между тем не мог же я не печь хлеб, не варить мясо, вообще обходиться без стряпни. Вот я и придумал заменить дрова углём, который почти не даёт дыма. Я видел в Англии, как добывают уголь, пережигая толстые сучья под слоем дёрна. То же стал делать и я. Я производил эту работу в лесу и перетаскивал домой готовый уголь, который и жёг вместо дров без риска выдать дымом своё местопребывание.

И вот, в один из тех дней, когда я работал в лесу топором, я вдруг заметил за большим кустом небольшое отверстие в скале. Меня заинтересовало, куда может вести этот ход; я пролез в него, хоть и с большим трудом, и очутился в пещере, которая была много выше человеческого роста. Но, сознаюсь, — я вылез оттуда гораздо скорее, чем залез. И немудрено: вглядываясь в темноту (в глубине пещеры было совершенно темно), я увидал два горящих глаза,— они сверкали, как звёзды, отражая слабый днёвной свет, проникавший в пещеру снаружи и падавший на них. Чьи это были глаза? Человека или дьявола? Я не знал. Обуреваемый страхом, я опрометью бросился бежать из пещеры.

Немного погодя я опомнился и обозвал себя дураком. «Кто прожил двадцать лет один-одинёшенек среди океана, тому не пристало бояться



чёрта», — сказал я себе. Набравшись храбрости, я захватил горящую головню и снова залез в пещеру. Но не успел я ступить и трёх шагов, освещая себе путь головнёй, как попятился назад, перепуганный едва ли не больше прежнего: я услышал громкий вздох — так вздыхают от боли, — затем какие-то прерывистые звуки вроде бормотанья, и опять тяжкий вздох. Я оцепенел от ужаса; холодный пот проступил у меня по всему телу, и волосы встали дыбом; будь на мне шляпа, я не ручаюсь, что она не свалилась бы с головы.

Однако я не потерял присутствия духа: я снова двинулся вперёд и при свете факела, который я держал над головой, увидел на земле

страшного старого козла. Он лежал неподвижно и тяжело дышал в предсмертной агонии: повидимому, он околевал от старости.

Я пошевелил его ногой, чтобы заставить подняться. Он попробовал встать, но не мог. Пускай его лежит, покуда жив, подумал я тогда; если он меня напугал, то, наверно, не меньше напугает каждого дикаря, который вздумает сунуться сюда.

Оправившись от испуга, я стал осматриваться кругом. Пещера была очень маленькая — около двенадцати квадратных футов, и бесформенная — ни круглая, ни квадратная: было ясно, что здесь работала одна природа без всякого участия человеческих рук. Я заметил также в глубине её отверстие, уходившее ещё дальше под землю, но настолько узкое, что пролезть в него можно было только ползком. Не зная, куда ведёт этот ход, я не захотел без свечи проникнуть в него и решил прийти сюда снова на другой день со свечами и с трутницей, которую я смастерил из ружейного замка.

Так я и сделал. Я взял с собой шесть больших свечей собственного изделия (к тому времени я научился делать очень хорошие свечи из козьего жира; только с фитилями мне было трудно, я пользовался для них то старыми верёвками, то волокнами растения, похожего на крапиву) и вернулся в пещеру. Я подошёл к узкому ходу в глубине её, о котором уже говорил. Тут мне пришлось стать на четвереньки и ползти в таком положении ярдов десять; это было, к слову сказать, довольно смело с моей стороны, если принять во внимание, что я не знал, куда ведёт этот ход и что ожидает меня впереди. Миновав самую узкую часть прохода, я увидел, что он начинает всё больше расширяться, — и тут глаза мои были поражены зрелищем, великолепнее которого я на моём острове ничего не видал. Я стоял в просторном гроте футов в двадцать вышиной; пламя моих двух свечей отражалось в стенах и своде, и они отсвечивали тысячами разноцветных огней. Были ли то алмазы или другие драгоценные камни, или же, что всего вероятнее, золото?

Я находился в восхитительном, хотя и совершенно тёмном гроте с сухим и ровным дном, покрытым мелким песком. Нигде никаких признаков плесни или сырости; нигде ни следа отвратительных насекомых и ядовитых гадов. Единственное неудобство — узкий ход, но для меня это неудобство было преимуществом, так как я хлопотал о безопасном убежище, а безопаснее этого тайника трудно было сыскать. Я был в

восторге от своего открытия и решил, не откладывая, перенести в мой грот все те свои вещи, которыми я особенно дорожил, и прежде всего порох и всё запасное оружие, а именно: два охотничьих ружья (всего ружей у меня было три) и три из семи находившихся в моём распоряжении мушкетов. В моей крепости осталось четыре мушкета, которые всегда были заряжены и стояли на лафетах, как пушки, у моей наружной ограды.

Перетаскивая в новое помещение порох и запасное оружие, я заодно откупорил и бочонок с подмоченным порохом. Оказалось, что вода проникла внутрь бочонка только на три-четыре дюйма; подмокший порох затвердел и ссохся в крепкую корку, в которой остальной порох лежал невредимый, как ядро ореха в скорлупе. Итак, я неожиданно стал обладателем ещё фунтов шестидесяти очень хорошего пороху. Это был весьма приятный сюрприз. Весь этот порох я для большей сохранности перенёс в мой грот и никогда не держал в крепости более трёх фунтов, на всякий случай. Туда же, то есть в грот, я перетащил и весь свой запас свинца, из которого лил пули.

В то время я казался самому себе одним из тех древних великанов, которые, по преданию, жили некогда в расщелинах гор и в пещерах, куда простые смертные не могли проникнуть. Я говорил себе: «Пусть хоть пятьсот дикарей рыщут по острову, разыскивая меня: они не откроют моего убежища, а если даже и откроют, — всё равно не посмеют напасть на такую неприступную крепость».

Старый козёл, которого я нашёл издыхающим у входа в пещеру, на другой же день околел. Опасаясь, что труп будет смердеть, я закопал его в яму, которую вырыл тут же, в пещере: это было легче, чем вытащить его из пещеры.

Шёл уже двадцать третий год моего житья на острове, и я до такой степени освоился с этой жизнью, что не будь страха перед дикарями, которые могли в любую минуту снова появиться на берегу, — я бы охотно согласился провести здесь весь остаток моих дней, до последнего часа, когда я лёг бы и умер, как старый козёл в пещере. С годами я придумал себе кое-какие развлечения, благодаря которым время протекало для меня гораздо веселее, чем прежде. Во-первых, как уже знает читатель, я научил своего Попку говорить, и он так мило болтал, произносил слова так раздельно и внятно, что слушать его для меня было большим удоволь-

ствием. Он прожил у меня целых двадцать шесть лет. Не знаю, как долго он прожил потом: я слышал в Бразилии, что попугаи живут до ста лет. Быть может мой Попка и теперь ещё летает по острову, призывая «бедного Робина Крузо». Если бы какому-нибудь англичанину довелось попасть на мой остров, то, услыхав эти причитания, бедняга, несомненно, принял бы верную птицу за самого дьявола. Мой пёс был мне преданным другом в течение шестнадцати лет; он околел от старости. Что касается моих кошек, то, как я уже говорил, они так расплодились, что я несколько раз вынужден был стрелять по ним, иначе они загрызли бы меня и уничтожили бы все мои запасы. Когда две старые кошки, взятые мной с корабля, издохли, я продолжал распугивать остальных выстрелами и не давал им никакой еды, так что в конце концов все они разбежались по лесам и одичали. Я оставил у себя только двух или трёх любимиц, которых приручил и потомство которых неизменно топил, как только оно появлялось на свет; они тоже стали членами моей разношёрстной семьи. Кроме того, я всегда держал при себе двух-трёх козлят, которых приучал есть из моих рук. Было у меня ещё два попугая, не считая старого Попки: оба они тоже научились говорить, оба выкликали: «Робин Крузо» — но далеко не так хорошо, как первый. Правда, на него я потратил гораздо больше времени и труда. Затем я поймал и приручил несколько морских птиц, названий которых я не знал. Всем им я подрезывал крылья, так что они не могли улететь. Те молодые деревца, которые я насадил перед своей крепостью, чтобы лучше скрыть её на случай появления дикарей, разрослись в густую рощу; мои птицы свили там гнёзда и выводили птенцов, что меня очень радовало. Таким образом, повторяю, я чувствовал себя покойно и хорошо и был бы совершенно доволен своей участью, если б не постоянный страх перед людоедами.

Итак, я уже двадцать третий год жил в заточении. Наступил декабрь — время южного солнцестояния (я никак не могу назвать зимой такую жаркую пору), а для меня — время уборки хлеба. С раннего утра до позднего вечера я трудился в поле. И вот однажды, выйдя из дому перед рассветом, я увидел огонь на берегу, милях в двух от моего жилья, и, к великому моему ужасу, не в той стороне острова, где по моим наблюдениям обычно высаживались дикари, а в той, где жил я сам.

Ошеломлённый тем, что увидел, я притаился в своей роще, не смея ни шагу ступить дальше, чтобы не наткнуться на нежданных гостей. Но и в



роще я не чувствовал себя спокойно. «Что будет, — в страхе вопрошал я себя, — если дикари начнут шнырять по острову и увидят мои нивы, или загоны, или ещё какие-нибудь следы моих трудов? Они тотчас догадаются, что на острове живут люди, и не успокоятся, покуда не выследят меня». Подгоняемый страхом, я живо вернулся в свою крепость, поднял за собой лесенку, чтобы замести следы, и начал готовиться к обороне.

Решив защищаться до последнего издыхания, я зарядил всю свою артиллерию (так я называл мушкеты, стоявшие у меня на лафетах вдоль наружной стены) и все пистолеты. Я сидел, затаив дыхание, прислушиваясь к каждому шороху. Я не знал, что̀ творится за оградой, ведь у меня не было лазутчиков, которых я бы мог послать на разведку.

Так прошло часа два. Наконец, не в силах долее выносить неизвестность, я по лесенке перебрался через частокол, затем вытащил её за собой, приставил к скату холма и взобрался на самую его вершину. Там я вынул из кармана подзорную трубу, лёг ничком и, направив трубу на то место берега, где я утром видел огонь, стал смотреть. Дикари — их было девять — сидели вокруг костра. Разумеется, костёр они

развели не для того, чтобы погреться, так как погода стояла очень жаркая, а затем, чтобы состряпать свой омерзительный обед из человечьего мяса. Дичина, наверно, была уже заготовлена, но живая или убитая — этого я не знал.

Дикари приехали в двух лодках, которые теперь лежали на берегу: было время отлива, и они, видимо, дожидались прилива, чтобы пуститься в обратный путь. Вы не можете себе представить, в какое смятение меня повергло это зрелище, а главное — то, что они высадились на моей стороне острова, так близко от моего жилья.

Я продолжал зорко следить за ними; как только начался прилив, они сели в лодки и отчалили. Я чуть не забыл сказать, что за час или за полтора до отъезда они плясали на берегу: я ясно различал в подзорную трубу их странные телодвижения и прыжки. Я видел также, что все они были нагишом.

Как только они отчалили, я спустился с холма, вскинул на плечи оба свои ружья, заткнул за пояс два пистолета и тесак без ножен и, не теряя времени, отправился к тому пригорку, откуда впервые открыл страшные следы пребывания дикарей на моём острове. Добравшись туда (что заняло не менее двух часов времени, так как я был навьючен тяжёлым оружием и не мог идти быстро), я взглянул в сторону моря и увидел ещё три лодки с дикарями, направлявшиеся от острова к материку.

Это открытие подействовало на меня удручающим образом, и моё смятение ещё усилилось, когда, спустившись к берегу, я увидел остатки только что справлявшегося там ужасного пиршества: кровь, кости и куски человеческого мяса, которое эти звери только что пожирали, распевая во всё горло и кружась в диком хороводе. При виде этой картины меня охватило такое негодование, что я, забыв все свои благоразумные решения, дал себе слово при следующей высадке уничтожить этих варваров, сколько бы их ни явилось.

Однако прошло около пятнадцати месяцев со дня этого памятного посещения, — и за всё это время я не видел ни самих людоедов, ни свежих отпечатков человеческих ног, вообще ничего такого, что указывало бы на недавнее их присутствие на берегу.

Всё это время моя ярость не ослабевала. Я даже забросил все свои работы. Бóльшая часть времени уходила у меня на придумывание все-

возможных хитростей, с помощью которых я рассчитывал напасть на дикарей врасплох при следующем их появлении. «Если они опять приплывут двумя партиями, как прошлый раз, — говорил я себе, — это нетрудно будет сделать». Но я упустил из виду, что если я перебью всю первую партию, положим, десять или двенадцать человек, мне на другой день, или через неделю, или, может быть, через месяц придётся иметь дело с новой партией, а там опять с новой, и так до бесконечности, пока я сам не превращусь в такого же, если не худшего изверга, как эти дикари-людоеды.

Не могу выразить, каким тревожным временем были для меня эти пятнадцать месяцев. Я плохо спал, каждую ночь видел страшные сны и часто в испуге вскакивал. Иногда мне снилось, что я убиваю дикарей. Я и днём не знал ни минуты покоя. Охотиться я не смел, особенно в той части острова, где дикари обычно высаживались. Я боялся всполошить их своими выстрелами; если бы они и убежали с перепугу, то, наверно, через несколько дней явились бы снова, уже на двухстах или трёхстах пирòгах, — и я знал, чтò меня тогда ожидало.

Но, как уже сказано, только через год и три месяца я снова увидел дикарей, о чём я вскоре расскажу. Возможно, впрочем, что дикари не раз побывали на острове в течение этого года, но, должно быть, они никогда не оставались надолго, во всяком случае, я их не видел.

На двадцать четвёртом году моего пребывания на острове, 16 мая, если верить моему убогому деревянному календарю, произошло событие, имевшее для меня чрезвычайно важные последствия.

Весь этот день с утра свирепствовала буря; ночью, вдобавок, разразилась гроза. Я сидел, погружённый в тревожные мысли, не оставлявшие меня со времени первого появления дикарей. Вдруг я услышал пушечный выстрел, как мне показалось, со стороны моря.

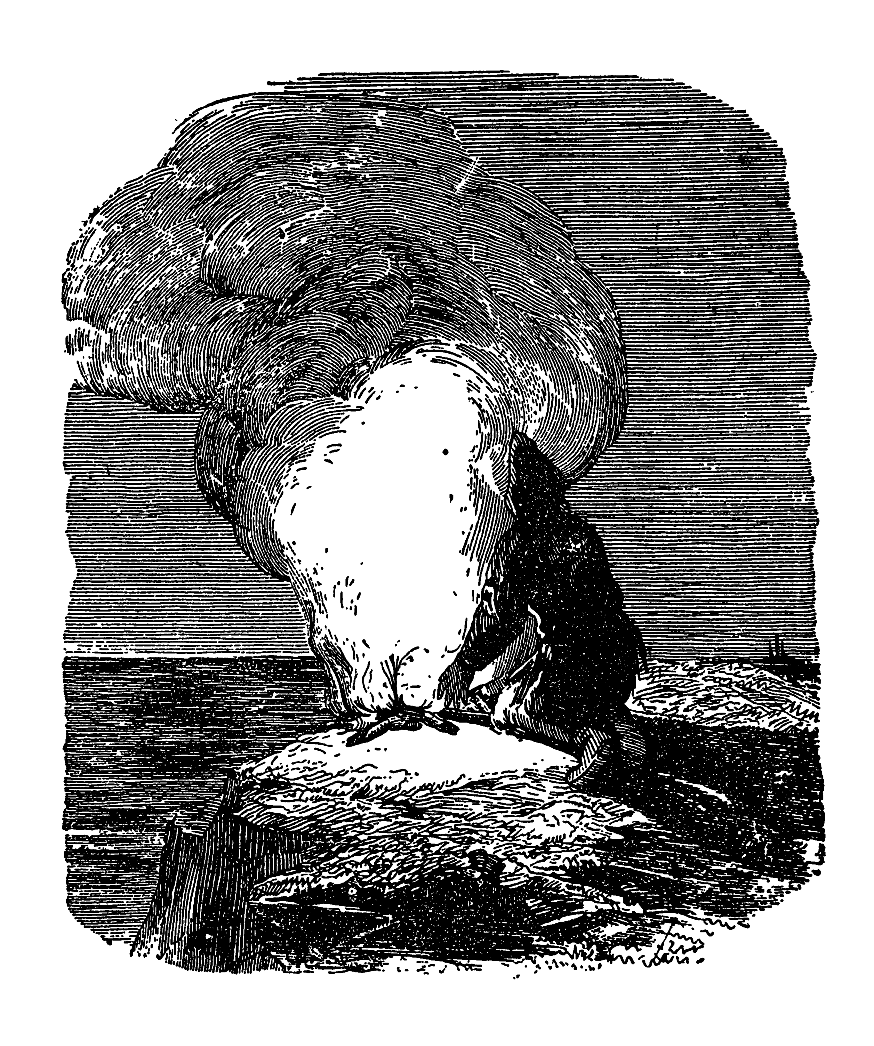
Я вздрогнул от неожиданности; но это была неожиданность совсем иного рода, чем те, которые судьба посылала мне до сих пор. Иного рода были и мысли, пробуждённые во мне этим выстрелом. Боясь потерять хотя бы секунду драгоценного времени, я сорвался с места: мигом приставил лесенку к уступу холма и стал карабкаться наверх. В ту минуту, когда я взобрался на вершину холма, передо мной блеснул огонёк выстрела, и через полминуты раздался второй пушечный выстрел. По направлению звука я без труда различил, что стреляют в той части

моря, куда некогда меня угнало течением во время памятного моего путешествия на лодке.

Я догадался, что это какой-нибудь погибающий корабль подаёт сигнал о своём бедственном положении и что невдалеке должен находиться другой корабль, к которому он взывает о помощи. Несмотря на всё своё волнение, я сохранил присутствие духа и успел сообразить, что если я не могу выручить этих людей из беды, зато, быть может, они смогут выручить меня. Не теряя времени, я собрал весь валежник, какой оказался поблизости, сложил его в кучу и зажёг костёр на вершине холма. Сухое дерево сразу занялось, несмотря на сильный ветер, и так хорошо разгорелось, что с корабля, — если только это действительно был корабль, — не могли не заметить моего костра. И он был, несомненно, замечен, потому что, как только вспыхнуло пламя, снова грянул пушечный выстрел, затем ещё и ещё всё с той же стороны. Я поддерживал костёр всю ночь до утра, а когда совсем рассвело и небо прояснилось, я увидел в море, с восточной стороны острова, но очень далеко от берега, какой-то предмет — не то парус, не то остов корабля; что́ именно, я не мог разобрать даже в подзорную трубу, из-за тумана, который на море ещё не совсем рассеялся.

Весь день я наблюдал за видневшимся в море предметом и вскоре убедился, что он неподвижен. Я заключил отсюда, что это корабль, стоящий на якоре. Легко вообразить, как не терпелось мне удостовериться в правильности моей догадки; я схватил ружьё и побежал на юго-восточный берег, к скалистой гряде, возле которой мою лодку некогда завертело и унесло течением. Погода между тем совершенно прояснилась, и, добравшись до этого места, я отчётливо различил остов корабля; очевидно, он разбился ночью о те самые подводные рифы, которые я хорошо запомнил: ведь в то злополучное плаванье я сам едва не погиб здесь.

Если бы моряки, потерпевшие крушение, заметили с корабля мой остров, они спустили бы шлюпки и попытались добраться до берега. Но то обстоятельство, что они палили из пушек, особенно после того как я зажёг костёр, породило во мне множество предположений: то я воображал, что, увидев мой костёр, они сели в шлюпку и стали грести к берегу, но не могли причалить из-за бури и потонули; то мне думалось, что они лишились всех своих шлюпок ещё до момента крушения, что могло слу-



читься вследствие многих причин: например, при сильном волнении, когда судно зарывается в воду, морякам нередко приходится собственными руками выбрасывать за борт или ломать шлюпки. Возможно было также, что погибший корабль шёл в караване судов, следовавших по одному направлению, и что, услыхав сигнальные выстрелы, остальные корабли подобрали всех людей, бывших на нём. Наконец, могло слу-

читься и так, что шлюпка с экипажем попала в то бурное течение, о котором я не раз уже упоминал, что её завертело и унесло в открытое море на верную смерть; кто знает, — быть может, теперь они носятся по волнам, томимые голодом и жаждой... Но всё это были лишь догадки, подсказанные моим воображением. Как бы там ни было, я горячо жалел этих несчастных. Мысль об их гибели долго преследовала меня; ведь трудно было допустить, чтобы кому-нибудь из людей удалось спастись в такую страшную бурю, если только их не подобрало другое судно, находившееся поблизости. Но вряд ли это произошло; по крайней мере, никаких следов другого корабля я не видел.

Где я найду слова, чтобы передать ту страстную тоску, те горячие желания, которые овладели мной, когда я увидел разбившийся корабль! С моих губ, помимо моей воли, беспрестанно слетали слова: «Ах, если бы хоть два или три человека... нет, хоть бы один человек спасся и приплыл ко мне! Тогда здесь, рядом со мной, было бы живое существо, с которым я мог бы разговаривать, которое стало бы моим товарищем, другом!». Воображение рисовало мне картины этого счастья; никогда ещё за все долгие годы моей отшельнической жизни не испытывал я та-



кой настоятельной потребности в обществе себе подобных, никогда ещё одиночество не заставляло меня так страдать. «Ах, если бы хоть один спасся! Хоть один!» — горестно повторял я тысячу раз и, произнося эти слова, судорожно сжимал кулаки и так крепко стискивал зубы, что потом не сразу мог их разжать. Но мне не суждено было тогда изведать счастья общения с людьми. До последнего года моего житья на острове я так и не узнал, спасся ли кто-нибудь с погибшего корабля. Я только сделал через несколько дней одно печальное открытие: нашёл на берегу, против того места, где разбился корабль, труп утонувшего юнги. На нём были короткие холщовые штаны, синяя холщовая рубаха и матросская куртка. Ни по каким признакам нельзя было определить его национальность: в карманах у него не оказалось ничего, кроме двух золотых монет да трубки.

После бури наступило полное затишье, и мне очень хотелось добраться в лодке до корабля. Я не сомневался, что найду там много такого, что может мне пригодиться. Но, в сущности, меня прельщало не это; во мне всё ещё жила надежда, что, может быть, на корабле остался кто-нибудь, кого я могу спасти от смерти; а потом, думалось мне, дружба со спасённым мною человеком скрасит мою печальную жизнь.

Эта мысль овладела моей душой: я чувствовал, что ни днём, ни ночью не буду знать покоя, что меня замучат угрызения совести, если я не сяду в лодку и не попытаюсь побывать на корабле.

Волнуемый этой мыслью, я поспешил вернуться в свою крепость и стал готовиться к поездке. Я взял хлеба, большой кувшин пресной воды, компас, бутылку рому (которого у меня оставался ещё изрядный запас), корзину с изюмом и, навьючив на себя всю эту кладь, отправился к своей лодке, выкачал из неё воду, спустил в море, сложил в неё всё, что принёс, и вернулся домой за новым грузом. На этот раз я взял большой мешок рису, второй большой кувшин с пресной водой, десятка два небольших ячменных ковриг или, вернее, лепёшек, бутылку козьего молока, кусок сыру и зонтик, который должен был служить мне защитой от палящего зноя. Всё это я с великим трудом, — в поте лица моего, можно сказать, — перетащил в лодку и отчалил. Стараясь держаться поближе к берегу, я прошёл на вёслах всё расстояние до северо-восточной оконечности острова, где скалистая гряда с песчаной отмелью далеко выдавалась вперёд. Отсюда мне предстояло пуститься в открытое море. Риск

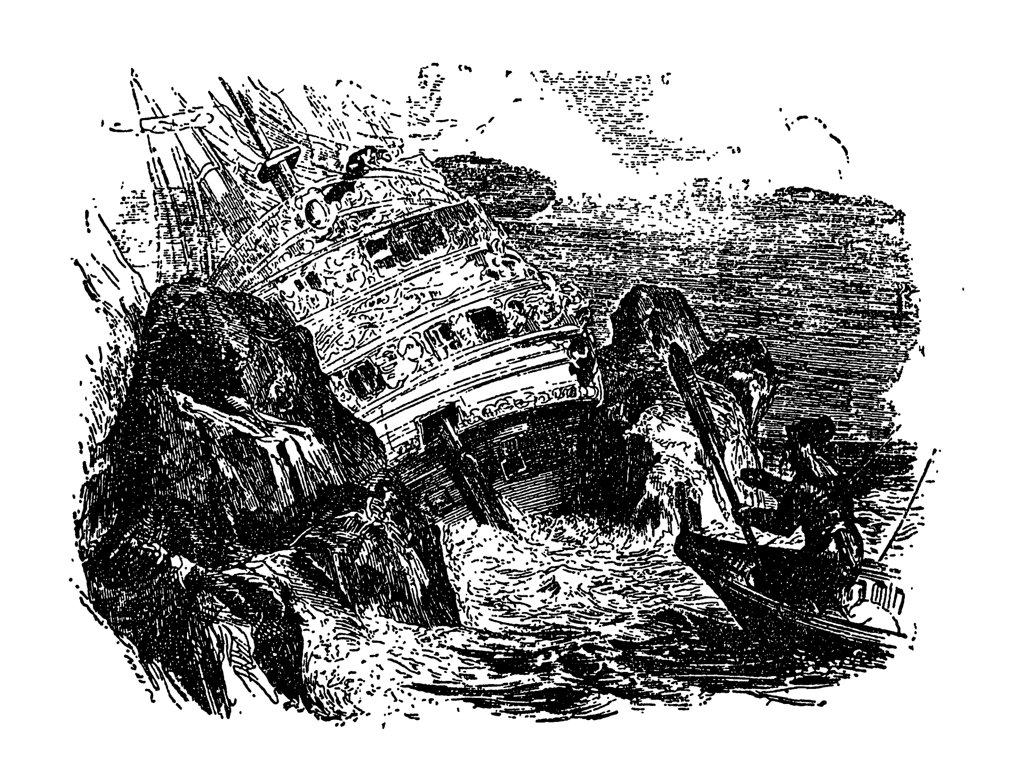
был большой. Идти или нет? Я взглянул на быструю струю морского течения, огибавшего остров на некотором расстоянии от берега, вспомнил своё первое плавание, вспомнил, какой страшной опасности я тогда подвергался, и решимость начала мне изменять; я говорил себе: «Если я попаду в струю течения, меня унесёт в открытое море. Лодка у меня маленькая; стоит только подняться свежему ветерку, как её захлестнёт, и я неминуемо погибну».

Я готов был даже отказаться от своего предприятия. Я причалил к маленькой бухточке, вышел из лодки и уселся на берегу, раздираемый желанием побывать на корабле и страхом перед подстерегавшими меня опасностями. В то время, как я был погружён в свои размышления, на море начался прилив, и волей-неволей я должен был отложить своё путешествие на несколько часов. Оглядевшись вокруг, я увидел невдалеке горку, невысокую, но на открытом месте, так что с неё должно было быть видно море по обе стороны острова, и направление течений. Поднявшись на эту горку, я не замедлил убедиться, что течение отлива идёт от южной стороны острова, а течение прилива — от северной. «Следовательно, — заключил я, — мне следует, возвращаясь с разбитого корабля, держать курс на север, и тогда я вполне благополучно достигну берега».

Ободрённый этим открытием, я решил пуститься в путь на следующее же утро, как только начнётся отлив Переночевал я в лодке, укрывшись матросским бушлатом, а наутро вышел в море. Сначала я взял курс в открытое море, прямо на север, и шёл этим курсом, пока не попал в струю течения, направлявшегося на восток. Меня понесло очень быстро, но всё же я свободно действовал рулевым веслом и менее чем через два часа очутился у корабля.

Грустное зрелище открылось мне: корабль (по типу — испанский) застрял между двух утёсов: вся корма была снесена; грот-мачта и фок-мачта были срублены до основания, но вся носовая часть уцелела.

Когда я подошёл к борту, на палубе показалась собака. Увидев меня, она принялась выть и визжать, а когда я поманил её, спрыгнула в воду и поплыла ко мне. Я взял её в лодку. Бедное животное буквально умирало от голода и жажды. Я дал ей хлеба, и она набросилась на него, словно наголодавшийся за зиму волк. Когда она наелась, я поставил



перед ней воду, и она стала так жадно лакать, что наверное лопнула бы, если бы я дал ей волю.

Затем я поднялся на корабль. Первое, что я там увидел, были два трупа; они лежали у входа в рубку, крепко сцепившись руками. По всей вероятности, когда корабль во время бури, свирепствовавшей в ту ночь, наскочил на подводные рифы, его всё время обдавало огромными волнами, и эти люди захлебнулись так же, как если бы они пошли ко дну. Кроме собаки, на корабле не было ни одного живого существа, и все оставшиеся на нём товары подмокли. Я видел в трюме какие-то бочонки, с вином или с водкой — не знаю, но они были так велики, что я не пытался их извлечь оттуда. Было там ещё несколько сундуков, должно быть, принадлежавших матросам; два сундука я переправил на лодку.

Если бы вместо носовой части уцелела корма, я бы, наверно, воротился с богатой добычей: по крайней мере, судя по содержимому двух

взятых мною сундуков, можно было предположить, что корабль вёз очень ценный груз. Вероятно, он шёл из Буэнос-Айреса или из Рио-де-ла-Платы мимо берегов Бразилии в Гаванну, или вообще в Мексиканский залив, а оттуда — в Испанию. Несомненно, на нём были большие богатства, но в ту пору никому от них не было проку, а что сталось с людьми, я тогда не знал.

Кроме сундуков, я взял ещё бочонок с каким-то спиртным напитком. Бочонок был небольшой, вместительностью около двадцати галлонов, но всё же мне стоило большого труда перетащить его в лодку. В каюте я нашёл несколько мушкетов и пороховницу, где оказался порох; мушкеты я оставил, так как они были мне не нужны, а порох взял. Я взял также лопаточку для угля и каминные щипцы, в которых очень нуждался для своего очага, затем два медных котелка и медный кофейник. Со всем этим грузом и с собакой я отчалил от корабля, так как уже начи-



нался прилив, и поздним вечером вернулся на остров, устав до последней степени.

Я провёл ночь в лодке, а утром решил перенести добычу в свой грот, чтобы не тащить её в крепость. Подкрепившись едой, я выгрузил на берег привезённые вещи и произвёл им подробный осмотр. В бочонке оказался ром, но весьма неважный, совсем не такой, как в Бразилии; зато в сундуках я нашёл много полезных вещей, например: изящной работы погребец, уставленный бутылками причудливой формы, с серебряными пробками (в каждой бутылке было до трёх пинт [1] очень хорошего ликёру), и две банки отличного варенья, так плотно закупоренных, что в них не попало ни капли морской воды. В том же сундуке лежало несколько штук совсем ещё крепких рубах — это была очень ценная для меня находка; затем полторы дюжины белых полотняных носовых платков и столько же цветных шейных; первым я очень обрадовался, представив себе, как будет приятно в жаркие дни утирать вспотевшее лицо тонким полотном. На дне сундука я нашёл три больших мешка с деньгами и несколько небольших слитков золота.

В другом сундуке была одежда, но довольно поношенная. Судя по содержимому этого сундука, он принадлежал корабельному канониру: в нём оказалось около двух фунтов превосходного пороху. В общем, в эту поездку я приобрёл немало полезных предметов. Деньги же не представляли для меня никакой ценности, это был ненужный хлам, и всё это богатство я бы охотно отдал за три-четыре пары обыкновенных башмаков и чулок, которых я не носил уже несколько лет. Правда, я раздобыл в эту поездку две пары башмаков, — я нашёл их в сундуке канонира. Они пришлись мне впору, но оказались непрочными. Во втором сундуке я нашёл еще пятьдесят штук разной монеты, но не золотой.

Все эти деньги я принёс в пещеру и спрятал, как раньше спрятал те, которые нашёл на нашем корабле.

Переправив в мой грот все привезённые вещи, я воротился, снова сел в лодку и отвёл её на вёслах на прежнюю стоянку, а сам отправился прямой дорогой на своё старое пепелище, где всё оказалось в полной неприкосновенности. Я снова зажил прежней мирной жизнью, справляя помаленьку свои домашние дела. Но, как уже знает читатель, в послед-

---

[1] Пинта — мера жидкостей, равняется 0,5 литра.



ние годы я стал гораздо осторожнее, чаще производил разведки и реже выходил из дому. Только восточное побережье острова не внушало мне опасений: я знал, что дикари никогда не высаживаются там; поэтому, отправляясь в ту сторону, я мог не принимать таких предосторожностей и не тащить на себе столько оружия, как в тех случаях, когда мой путь лежал в какую-нибудь другую часть острова.

ГЛАВА XV

Так прожил я почти два года, ни в чём не нуждаясь, но все эти два года моя беспокойная голова (видно, уж так она была устроена, что мне от неё всегда плохо приходилось) работала без у́стали. Я думал только об одном — как бы бежать со своего острова. Посещение погибшего корабля лишило меня покоя; я так надеялся найти на нём живых людей, узнать от них, где я нахожусь и ка́к мне вырваться на свободу! Я уверен, будь в моём распоряжении шлюпка вроде той, на которой я бежал из Салеха, я пустился бы в море очертя голову, нимало не заботясь о том,

куда меня занесёт. Я строил планы бегства, один другого опаснее и сложнее. Нередко я задумывался над тем, далеко ли от моего острова зе́мли дикарей, посещающих его, и подолгу искал способ переправиться к ним, как они переправляются ко мне.

Я не давал себе труда задуматься над тем, что́ я буду делать, когда переправлюсь на материк, что́ меня ожидает, если туземцы поймают меня там, и могу ли я надеяться спастись, если они на меня нападут. Я даже не спрашивал себя, есть ли у меня хоть какая-нибудь возможность добраться до материка незаметно для них; не думал и о том, ка̀к я буду питаться и куда направлю свой путь, если мне посчастливится ускользнуть от врагов. Ни один из этих вопросов не приходил мне в голову — до такой степени я был поглощён мыслью попасть в лодке на материк. Я смотрел на своё тогдашнее положение, как на самое бедственное, хуже которого может быть одна только смерть. Мне казалось, что если я доберусь до материка или пройду в своей лодке вдоль берега до какой-нибудь населённой страны, то, быть может, там мне окажут помощь; а возможно — как знать? — я встречу европейский корабль, который меня подберёт. Я тешил себя такими мечтаниями, пока трезвый рассудок не убедил меня, что все эти замыслы — плод разгорячённой фантазии и осуществить их невозможно.

Спустя немного времени у меня явилась другая мысль: захватить кого-нибудь из дикарей, посещающих мой остров, и притом, если возможно, одного из тех несчастных пленников, которых людоеды привозили с собой на берег, чтобы убить и съесть. «Если я спасу такому обречённому на гибель человеку жизнь,— говорил я себе,— он из благодарности будет мне верным помощником в деле моего освобождения». Я отдавал себе отчёт во всех трудностях и опасностях, сопряжённых с этим предприятием. Чтобы захватить нужного мне дикаря, я должен буду напасть на всю ораву людоедов и перебить их всех до единого. Под силу ли мне эта борьба? — с тревогой вопрошал я себя; правда, у меня перед дикарями огромное преимущество — огнестрельное оружие, но я-то один, а их высадится много! Кроме того, я содрогался при мысли, что мне придётся пролить столько человеческой крови, хотя бы и ради собственного избавления.

Долго в моей душе шла борьба, но, наконец, страстная жажда освобождения одержала верх над всеми доводами совести и рассудка, и я

решил захватить какого-нибудь туземца, чего бы это мне ни стоило. Оставалось только придумать, каким образом привести в исполнение этот план. Я долго ломал себе голову и, наконец, решил подстеречь дикарей в первый же раз, когда они высадятся на острове, предоставив остальное случаю и рассчитывая, что обстоятельства сами подскажут мне, как действовать.

Твёрдо решив добиться своего, я принялся караулить. Я почти ежедневно ходил на южную и западную оконечности острова смотреть, не подплывают ли к берегу лодки людоедов, но они не показывались. Эта неудача очень меня огорчала и волновала, но желание достигнуть намеченной цели нисколько не ослабевало; напротив, чем больше оттягивалось его осуществление, тем это желание становилось сильнее. Словом, насколько я прежде был осторожен и старался не попасться на глаза людоедам, настолько же нетерпеливо я теперь искал встречи с ними. В своих мечтах я воображал, что захвачу даже не одного, а двух-трёх дикарей и всецело подчиню их себе.

Так, в напряжённом ожидании, прошло около полутора лет. Я уже начал терять надежду. Представьте же себе моё изумление, когда однажды ранним утром я увидел у берега, на моей стороне острова, пять или шесть пирог. Все они стояли пустые: приехавшие в них дикари куда-то ушли. Я знал, что в каждую лодку садится обычно по четыре, по шесть человек, а то и больше, и, сознаюсь, многочисленность прибывших смутила меня. Я терялся в догадках о цели их приезда и, к тому же, не представлял себе, как я справлюсь один с двумя-тремя десятками дикарей. Приунывший, расстроенный, я засел в своей крепости, но предварительно сделал все задолго обдуманные приготовления к бою; я твёрдо решил действовать, если будет нужно. Я долго ждал, прислушиваясь, не донесётся ли со стороны берега какой-нибудь шум, но всё было тихо; наконец, сгорая от нетерпения узнать, что́ происходит, я поставил ружьё под лесенкой и полез на вершину холма обыкновенным своим способом — прислонив лесенку к уступу холма и затем поставив на неё вторую. Добравшись до вершины, я встал таким образом, чтобы голова моя не высовывалась над холмом, и принялся смотреть в подзорную трубу.

Дикарей было не менее тридцати человек. Они развели на взморье костёр и что-то стряпали на огне, — что́ именно, я не мог разобрать.



Я видел только, что они плясали вокруг костра, то высоко подпрыгивая, то странно изгибаясь.

Вдруг несколько дикарей отделились от плясавших и побежали в ту сторону, где стояли лодки; вслед затем я увидел, что они тащат к костру двух человек, очевидно, предназначенных на съедение; должно быть, до этой минуты несчастные лежали связанными в лодках. Одного из них сейчас же повалили, ударив по голове чем-то тяжёлым (дубиной или деревянным мечом, какие употребляют дикари), и притащившие его люди немедленно принялись за работу: вспороли ему живот и начали потрошить. Другой пленник стоял рядом, дожидаясь той же страшной участи; но когда дикари развязали несчастному руки и ноги, у него, очевидно, блеснула надежда на спасение. Он вдруг рванулся вперёд и с невероят-

ной быстротой пустился бежать по песчаному берегу в ту сторону, где было моё жильё.

Сознаюсь, я страшно перепугался, когда увидел, что он бежит к моей крепости, тем более, что мне показалось, будто вся ватага бросилась его догонять. Однако я остался на своём посту и приободрился, увидев, что за беглецом гонится всего два или три человека; окончательно же я успокоился, когда заметил, что он бежит гораздо быстрее своих преследователей; расстояние между ними всё увеличивалось, и я с облегчением подумал, что если ему удастся продержаться ещё полчаса, они его уже не поймают.

Бежавших отделяла от моей крепости бухточка, о которой я неоднократно упоминал в начале моего рассказа, — та самая, куда я причаливал со своими плотами, когда перевозил вещи с нашего корабля. Я сразу сообразил, что беглец должен переплыть её, иначе ему не уйти от погони. Действительно, он, не задумываясь, бросился в воду, в каких-нибудь тридцать взмахов переплыл бухточку, вылез на другой берег и, не убавляя шагу, побежал дальше. Из трёх его преследователей только двое бросились в воду, а третий не решился; он постоял на том берегу, поглядел вслед двум другим, потом повернулся и медленно пошёл назад: он избрал благую долю, как увидит сейчас читатель.

Я заметил, что двум дикарям, гнавшимся за беглецом, понадобилось вдвое больше времени, чем ему, чтобы переплыть бухточку. И тут-то я всем существом своим почувствовал, что пришла пора действовать, если я хочу приобрести слугу, а может быть, товарища и помощника; да и совесть не позволяла мне дольше оставаться равнодушным зрителем того, что здесь происходило. Не теряя времени, я сбежал по лесенкам к подножию холма, захватил оставленные мною внизу ружья, так же стремительно взобрался опять на холм, спустился с другой его стороны и побежал к морю, наперерез бегущим дикарям. Так как я взял кратчайший путь, то скоро оказался между беглецом и его преследователями. Я закричал во весь голос. Услышав мои крики, беглец оглянулся и в первую минуту испугался меня, кажется, ещё больше, чем своих врагов. Я сделал ему знак воротиться, а сам медленно пошёл навстречу преследователям. Когда передний поровнялся со мной, я неожиданно бросился на него и сшиб с ног ударом ружейного приклада. Стрелять я боялся, чтобы не привлечь внимания остальных дикарей, хотя на таком большом



расстоянии они едва ли могли услышать мой выстрел или увидеть дым от него.

Когда передний из бежавших упал, его товарищ остановился, видимо испугавшись, а я продолжал идти прямо на него. Приблизившись, я заметил, что дикарь держит в руках лук и стрелу и целится в меня; мне пришлось предупредить его нападение; я выстрелил и уложил его на месте. Хотя оба врага несчастного беглеца были убиты (так, по крайней мере, ему должно было казаться), он остановился, как вкопанный, до того он был напуган огнём и грохотом выстрела. Растерявшись, он не знал, идти ли ему ко мне или бежать от меня, и, вероятно, всё же больше склонялся к бегству; тогда я стал опять кричать ему и знаками подзывать его к себе; он меня понял, но, сделав несколько шагов, снова остановился. Тут я заметил, что он весь дрожит, как в лихорадке: я догадался, что бедняга считает себя моим пленником и думает, что я поступлю с ним совершенно так же, как поступил с его врагами. Я опять

поманил его к себе и вообще старался ободрить, как умел. Он подходил всё ближе и ближе, через каждые десять-двенадцать шагов падая на колени, очевидно, в знак благодарности за спасение его жизни. Я ласково ему улыбнулся и продолжал манить его рукой. Наконец, подойдя совсем близко, он снова упал на колени, поцеловал землю, прижался к ней лицом и, приподняв мою ногу, поставил её себе на голову. Последнее, повидимому, означало, что он клянётся быть моим рабом до гроба. Я поднял его, потрепал по плечу и всячески старался объяснить, что ему нечего бояться меня. Но оказалось, что я ещё не довёл начатое дело до конца; дикарь, которого я повалил ударом приклада, был не убит, а только оглушён, и я заметил, что он начинает приходить в себя. Я указал на него спасённому мной человеку и знаками объяснил ему, что враг его жив. В ответ он сказал мне несколько слов на своём языке, и хоть я ровно ничего не понял, но самые звуки его речи были для меня сладостной музыкой: ведь за двадцать пять с лишним лет я впервые услыхал человеческий голос. Однако не время было предаваться таким размышлениям: оглушённый мною людоед оправился настолько, что уже сидел на земле, и я заметил, что мой дикарь очень испугался. Желая его успокоить, я прицелился в его врага. Но тут мой дикарь (так я буду называть его впредь) стал показывать мне знаками, чтобы я дал ему висевшую у меня за поясом обнажённую саблю Я дал ему её. Он тотчас подбежал к своему врагу и одним взмахом снёс ему голову. Он сделал это так ловко и проворно, что ни один палач не мог бы сравниться с ним. Такое уменье владеть саблей очень удивило меня у человека, который, должно быть, в жизни не видел другого оружия, кроме деревянных мечей. Впоследствии я узнал, что дикари выбирают для этих мечей такое крепкое и тяжёлое дерево и так его оттачивают, что одним ударом могут отрубить голову. Сделав свое дело, мой дикарь вернулся ко мне с весёлым, торжествующим видом, сделав ряд непонятных мне телодвижений и положил подле меня голову сражённого врага и мою саблю.

Он, видимо, был поражён тем, как я убил человека на таком большом расстоянии. Указывая на убитого, он знаками просил позволения сходить взглянуть на него. Я знаками же изъявил согласие, и он тотчас побежал. Он остановился перед трупом в полном недоумении: поглядел на него, повернул его на один бок, потом на другой, осмотрел ранку. Пуля попала прямо в грудь; крови вышло немного. По всей вероятности,

произошло внутреннее кровоизлияние, и смерть наступила мгновенно. Сняв с мертвеца его лук и колчан со стрелами, мой дикарь воротился ко мне. Тогда я повернулся и пошёл прочь, приглашая его следовать за мной и стараясь знаками объяснить ему, что оставаться опасно, так как за ним может быть погоня.

Дикарь ответил мне тоже знаками, что следовало бы прежде зарыть мертвецов, чтобы его враги не нашли их, если придут на это место. Я выразил согласие, и он сейчас же принялся за дело. В несколько минут он руками выкопал в песке настолько глубокую яму, что в ней легко мог поместиться человек; затем он перетащил в эту яму одного из убитых и засыпал его землёй. Так же проворно распорядился он и с другим мертвецом; словом, вся процедура погребения заняла у него не более четверти часа. Когда он кончил, я опять сделал ему знак следовать за мной и повёл его — не в мою крепость, а совсем в другую сторону, в дальнюю часть острова, к моему новому гроту.

Придя в грот, я тотчас дал ему хлеба, ветку изюма и немного воды,— он сильно нуждался в питье после быстрого бега. Когда он подкрепился, я знаками предложил ему лечь и уснуть, указав на угол пещеры, где у меня лежала охапка рисовой соломы и одеяло, — я сам не раз спал на этом ложе. Бедняга не заставил себя долго просить; он лёг и мгновенно заснул.

Теперь я мог разглядеть его. Это был красивый малый высокого роста, безукоризненного сложения, руки и ноги у него были сильные, сухощавые. На вид ему можно было дать лет двадцать шесть. В его лице не было ничего дикого и свирепого: это было мужественное, открытое лицо, выражавшее, особенно когда он улыбался, доброту и кротость. Волосы у него были чёрные и длинные. Они не курчавились, а ниспадали прямыми прядями; лоб был высокий и открытый; цвет кожи не чёрный, а смуглый, но не того некрасивого оттенка, как у бразильских индейцев, а скорее оливковый, очень приятный для глаз. Лицо у него было круглое, нос небольшой, прямой. Прибавьте быстрые блестящие глаза, красиво очерченный, правильной формы рот с тонкими губами и белые, как слоновая кость, ровные зубы, и вы получите некоторое представление о внешности спасённого мною человека.

Проспав или, вернее, продремав около получаса, он проснулся и вышел ко мне. Я в это время доил своих коз в загоне подле грота. Как

только он меня увидел, он подбежал ко мне и распростёрся передо мной, выражая всей своей позой самую смиренную благодарность и производя при этом множество самых странных телодвижений. Припав лицом к земле, он опять поставил себе на голову мою ногу, как уже сделал это раньше, и вообще всеми доступными ему способами старался доказать мне свою бесконечную преданность и покорность и дать мне понять, что с этого дня он будет мне слугой на всю жизнь. Я угадал значение многого из того, что он хотел мне сказать, и в свою очередь постарался объяснить ему, что я им очень доволен. Тут же я начал говорить с ним и учить его отвечать мне. Прежде всего я растолковал ему, что буду называть его *Пятницей,* так как я спас ему жизнь в этот день недели. Затем я научил его произносить моё имя, научил также произносить слова *да* и *нет* и растолковал их значение. Я дал ему молока в глиняном кувшине. Отпив глоток, я обмакнул в молоко кусок хлеба и съел, а затем знаками предложил Пятнице последовать моему примеру. Он с готовностью повиновался и, в свою очередь, знаками показал мне, что угощение пришлось ему очень по вкусу.

Я переночевал с ним в гроте, но как только рассвело, дал ему знак следовать за мной. Я показал ему, что хочу его одеть. Когда мы проходили мимо того места, где были зарыты убитые нами дикари, он указал мне на приметы, которыми он для памяти обозначил могилы, и стал знаками объяснять мне, что нам следует откопать оба трупа и съесть их. В ответ на это я постарался как можно энергичнее выразить свой гнев и своё отвращение; я постарался показать, что меня тошнит при одной мысли о людоедстве, и повелительным жестом велел ему отойти от могил, что он и сделал с величайшей покорностью. После этого я повёл его на вершину холма посмотреть, ушли ли дикари. Вытащив подзорную трубу, я навёл её на то место побережья, где они были накануне, но их и след простыл: не было видно ни одной лодки. Очевидно они уехали, не потрудившись поискать своих пропавших товарищей.

Но я не удовольствовался этим открытием; набравшись храбрости и воспылав любопытством, я велел Пятнице следовать за мной; предварительно я вооружил его своей саблей и луком со стрелами, которым, как я уже успел убедиться, он владел мастерски Кроме того, я дал ему нести одно из моих ружей, а сам взял оба другие, и мы пошли к тому

месту, где накануне пировали дикари: мне хотелось узнать о них всё, что только возможно.

На берегу моим глазам предстала такая страшная картина, что я весь похолодел. В самом деле, зрелище было ужасающее, по крайней мере, для меня; Пятница — тот остался совершенно равнодушен к нему.

Весь берег был усеян человеческими костями, земля обагрена кровью; повсюду валялись недоеденные куски жареного человеческого мяса огрызки костей и другие остатки кровавого пиршества, которым эти изверги отпраздновали свою победу над врагом. Я насчитал три человеческих черепа, пять рук; нашёл в разных местах кости от трёх или четырёх ног и множество частей скелета. Пятница знаками рассказал мне, что дикари привезли на остров четверых пленных; троих они съели, а четвёртый был он сам. Насколько я мог понять из его объяснений, у этих дикарей произошло большое сражение с соседним племенем, к которому принадлежал он, Пятница. Враги его племени одержали победу, взяли много пленных и повезли в разные места, чтобы убить их и съесть, совершенно так же, как сделали те дикари, которые без малого полтора года назад привезли своих пленных на мой остров.

Я приказал Пятнице собрать все черепа, кости и куски мяса, свалить их в кучу, развести костёр и сжечь Я заметил, что моему слуге очень хочется полакомиться человечьим мясом, и знаками объяснил ему, что самая мысль о людоедстве приводит меня в негодование. Он понял и не посмел дать волю звериным инстинктам, которые, естественно, ещё были сильны в нём. Я всеми способами постарался дать ему понять, что убью его на месте, если он осмелится нарушить мой запрет.

Уничтожив следы кровавого пиршества, мы вернулись в крепость, и я немедленно принялся обшивать моего слугу. Прежде всего я дал ему холщовые штаны, которые достал из найденного мной на погибшем корабле сундука злосчастного канонира; после небольшой переделки они пришлись ему в самый раз. Затем я сшил ему куртку из козьего меха, приложив всё своё умение, чтобы она вышла получше (в то время я уже был довольно искусным портным), и в заключение смастерил для него шапку из заячьего меха, очень удобную и даже изящную. Таким образом, мой слуга был на первое время весьма сносно одет и пришёл в восторг от того, что теперь стал похож на своего хозяина. Правда, сначала ему было неловко в новом наряде; особенно мешали ему штаны, да

и рукава жали подмышками и натирали плечи, так что пришлось переделать их. Но мало-помалу он привык к своей одежде и стал хорошо чувствовать себя в ней.

На другой день я стал думать, где бы мне его поместить. Чтобы устроить его поудобнее и в то же время чувствовать себя в безопасности — как-никак, я ещё не вполне был уверен в нём, — я поставил ему маленькую палатку в свободном пространстве между двумя оградами моей крепости — внутренней и наружной; сюда выходил наружный ход из моего погреба, поэтому я поставил в конце его настоящую дверь из толстых досок, в прочном наличнике, и приладил её таким образом, что она отворялась внутрь, а на ночь я запирал её на засов; лесенки я тоже убирал к себе, таким образом, Пятница никак не мог проникнуть ко мне во внутреннюю ограду, а если бы вздумал попытаться, то неизбежно нашумел бы и разбудил меня. Дело в том, что всё пространство моей крепости за внутренней оградой, где стояла моя палатка, представляло собой крытый двор. Крыша была сделана из длинных жердей, одним концом упиравшихся в выступ холма. Для большей прочности я укрепил эти жерди поперечными балками и густо переплёл рисовой соломой, толстой, как камыш; в том же месте крыши, которое я оставил незакрытым, для того чтобы влезать по лесенке, я теперь приладил откидную дверцу, которая при малейшем напоре снаружи падала с оглушительным грохотом. Что до оружия — я на ночь брал его к себе.

Но все эти предосторожности были совершенно излишни; никогда ни у кого ещё не было такого любящего, верного, преданного слуги и товарища, какого я приобрёл в лице моего Пятницы: раздражительность, упрямство, своеволие — все эти дурные черты были чужды ему; всегда ласковый и услужливый, он любил меня, как родного отца. Я уверен, что если бы понадобилось, он, не задумываясь, пожертвовал бы ради меня жизнью. Он дал мне столько доказательств своей преданности, что у меня исчезли всякие сомнения, и я скоро пришёл к выводу, что мне совершенно не к чему остерегаться его.

Размышляя обо всём этом, я убедился, что дикари обладают теми же умственными способностями и душевными свойствами, что и мы: как у нас, у них есть разум, сознание долга, чувство привязанности и признательности, способность возмущаться несправедливостью, — словом, им присуще всё, что необходимо, чтобы творить и воспринимать добро; и

когда им представляется случай надлежащим образом применить все эти способности, они пользуются ими с той же, если не большей, готовностью, что и мы.

Но возвращаюсь к моему новому товарищу. Я очень привязался к нему и считал себя обязанным поделиться с ним всеми теми знаниями, какие могли принести ему пользу, а главное — научить его говорить на моём родном языке, чтобы мы могли понимать друг друга. Он оказался изумительно способным учеником, всегда внимательным, всегда прилежным, он так радовался, когда понимал меня или когда ему удавалось объяснить мне свою мысль, что для меня было истинным удовольствием заниматься с ним. С тех пор, как он был со мной, мне жилось так легко и приятно, что если б только я мог считать себя в безопасности от людоедов, я, право, без сожаления согласился бы остаться на острове до конца моей жизни.

ГЛАВА XVI

Дня через два или три после того, как я привёл Пятницу в мою крепость, мне пришло в голову, что отучить его от ужасной привычки есть человечье мясо можно только приохотив его к другой мясной пище. И вот, однажды утром, отправляясь в лес, я взял его с собой. У меня было намерение зарезать козлёнка из моего стада, принести его домой и сварить, но по дороге я увидел под деревом дикую козу с двумя козлятами. «Стой!» — сказал я Пятнице, схватив его за руку, и сделал ему знак не шевелиться; потом прицелился, выстрелил и убил одного из козлят. Бедный дикарь, который уже видел однажды, как я на расстоянии убил его врага, но и тогда не понял, каким образом это произошло, — весь затрясся от испуга, ноги у него подкосились; я думал, он сейчас лишится чувств. Он приподнял полу своей куртки, чтобы посмотреть, не ранен ли он. Судя по всему, бедняга не заметил козлёнка, в которого я целился, и вообразил, что я хотел убить его, Пятницу. Он тотчас упал передо мной на колени, стал обнимать мои ноги и долго лепетал что-то на своём языке. Я, конечно, ни слова не понял, но догадался, что он умоляет не убивать его.

Мне скоро удалось убедить его, что я не имею ни малейшего намерения причинить ему зло. Я взял его за руку, засмеялся и, указав на уби-

того козлёнка, велел подобрать, что он и исполнил. Покуда он возился с козлёнком, разглядывая его и выражая своё недоумение по поводу того, каким способом тот убит, я снова зарядил ружьё.

Немного погодя я увидел на дереве, на расстоянии ружейного выстрела от меня, большую птицу, похожую на ястреба. Решив дать Пятнице наглядный урок, я подозвал его к себе, показал ему пальцем сперва на птицу, потом на ружьё, потом на землю под тем деревом, на котором сидела птица, и знаками предложил ему смотреть, как она упадёт. Вслед затем я выстрелил, и он увидел, как птица упала. Она оказалась не ястребом, а попугаем. Пятница и на этот раз пришёл в неописуемое смятение. Пораздумав, я понял, почему он так пугается, несмотря на мои объяснения. Он ещё ни разу не видел, как я заряжаю ружьё и, вероятно, думал, что в этом диковинном предмете сидит какая-то волшебная разрушительная сила, на любом расстоянии приносящая смерть человеку, зверю, птице, вообще всякому живому существу. Ещё долгое время спустя он не мог совладать с изумлением, в которое его повергал каждый мой выстрел. Мне кажется, если б только я ему позволил, он стал бы воздавать божеские почести мне и моему ружью. Первое время после этого происшествия он не решался дотронуться до ружья, но зато, когда меня не было поблизости, разговаривал с ним, как с живым существом. Он признался мне потом, что упрашивал ружьё не убивать его.

Но вернёмся к событиям описываемого дня. Когда Пятница немного опомнился от испуга, я приказал ему принести мне убитую птицу. Он сейчас же пошёл, но замешкался, отыскивая её, потому что, как оказалось, я не убил попугая, а только ранил, и он отлетел довольно далеко от того места, где я его подстрелил. В конце концов, Пятница всё-таки нашёл его и принёс. Я воспользовался его отсутствием, чтобы снова вложить заряд; я рассчитывал, что нам попадётся ещё какая-нибудь дичь, но пока не хотел открывать ему секрет обращения с огнестрельным оружием. Я принёс козлёнка домой, в тот же вечер снял с него шкуру и выпотрошил его; потом, отрезав порядочный кусок свежей козлятины, сварил её в глиняном горшке, и у меня вышел отличный бульон. Я поел сам и угостил Пятницу. Ему очень понравилось это кушанье, только он удивился тому, что я ем суп и мясо с солью. Он стал показывать мне знаками, что с солью невкусно. Взяв в рот щепотку соли, он принялся отплёвываться и сделал вид, что его тошнит от неё, а потом прополо-



скал рот водой. Тогда я, в свою очередь, положил в рот кусочек мяса без соли и начал плевать, показывая, что мне противно есть несолёное. Но это не произвело на Пятницу никакого впечатления: я так и не мог приучить его солить мясо или суп. Лишь долгое время спустя он начал класть соль в кушанье, да и то совсем немного.

Приохотив таким образом моего дикаря к варёному мясу и бульону, я решил угостить его на другой день жареной козлятиной. Изжарил я

её особым способом, над костром, как это иногда делают у нас в Англии. По бокам костра я воткнул в землю две жерди, укрепил между ними поперечную жердь, повесил на неё большой кусок мяса и поворачивал его до тех пор, пока он не изжарился. Пятница пришёл в неописуемый восторг от моей выдумки; когда же он отведал жаркого, то самыми красноречивыми жестами дал мне понять, как ему нравится это блюдо, и, наконец, объявил, что никогда больше не притронется к человечьему мясу. Разумеется, это очень обрадовало меня.

На следующий день я засадил его за работу: заставил молотить и веять ячмень, показав сначала, как я это делаю. Он скоро понял и принялся работать очень усердно, особенно, когда узнал, что это делается для того, чтобы приготовить из зерна хлеб; я при нём замесил тесто и испёк ковригу. В скором времени Пятница стал вполне способен заменить меня в этой работе.

Теперь я должен был прокормить два рта вместо одного, а следовательно, расширить запашку. Я выбрал большой участок земли и при-



нялся его огораживать. Пятница не только весьма усердно, но с видимым удовольствием помогал мне в этой нелёгкой работе. Я объяснил ему назначение её, сказав, что на этом новом поле мы посеем зерно, много зерна, потому что нас теперь двое, и хлеба понадобится вдвое больше. Он был очень тронут тем, что я так о нём забочусь: он всячески старался растолковать мне, что понимает, насколько мне прибавилось дела теперь, когда он поселился у меня, и что мне только нужно давать ему работу и показывать, ка́к её делать, а уж он не побоится труда.

Это был самый счастливый год моей жизни на острове. Пятница научился довольно сносно говорить по-английски: он вскоре узнал названия почти всех предметов, которые могли мне понадобиться, и всех мест, куда я мог послать его. Он очень любил беседовать со мной, а я был счастлив, что кончилось, наконец, моё долголетнее вынужденное безмолвие. Но помимо удовольствия, которое мне доставляли наши беседы, самое присутствие этого человека было для меня постоянным источником радости, до такой степени он пришёлся мне по душе. С каждым днём меня всё больше и больше пленяли его честность и чистосердечие. Мало-помалу я всем сердцем привязался к нему, да и он со своей стороны, так меня полюбил, как, я думаю, никого не любил до той поры.

Как-то раз мне вздумалось расспросить Пятницу, не томится ли он тоской по родине и не хочется ли ему вернуться туда. В то время он уже настолько свободно владел английским языком, что мог отвечать почти на все мои вопросы; я спросил его, побеждало ли когда-нибудь в сражениях племя, к которому он принадлежал. Он улыбнулся и ответил: «Да, да, мы всегда биться лучше», то есть всегда сражаемся лучше других, — хотел он сказать. Затем между нами произошёл следующий диалог:

Я. Так вы всегда лучше бьётесь, говоришь ты. А как же случилось, что ты попал в плен, Пятница?

Пятница. А наши всё-таки много побили тех врагов.

Я. Но если твоё племя побило врагов, то как же вышло, что тебя взяли в плен?

Пятница. Их было больше, чем наших. В том месте, где я дрался, они схватили один, два, три, и меня. А наши побили их в другом месте, не там, где я дрался; там наши схватили... один, два, три, много-много тысяч.

Я. Отчего же ваши не пришли вам на помощь и не освободили вас?

Пятница. Те увели один, два, три и меня и посадили в пирогу, а у наших в то время не было пироги.

Я. А скажи мне, Пятница, что делают ваши с теми людьми, которые попадутся к ним в плен? Тоже куда-нибудь увозят на лодках и съедают потом, как те, ваши враги?

Пятница. Да, наши тоже едят людей; все едят людей.

Я. А куда они их увозят?

Пятница. Разные места — куда захотят.

Я. А сюда привозят?

Пятница. Да, да, и сюда. Разные места.

Я. А ты здесь бывал с ними?

Пятница. Бывал. — Затем, указывая на северо-западную оконечность острова, служившую, повидимому, местом сборищ его соплеменников, он прибавил: — там бывал...

Таким образом, оказалось, что мой верный друг Пятница был раньше в числе дикарей, посещавших дальние берега моего острова, и принимал



участие в таких же ужасных пиршествах, как то, на котором собирались съесть его самого. Когда некоторое время спустя я собрался с духом и повёл его на тот берег, где впервые увидел страшные следы пребывания людоедов, он тотчас узнал местность и рассказал мне, что один раз, когда он приезжал на мой остров со своими соплеменниками, они на этом самом месте убили и съели двадцать человек мужчин, двух женщин и ребёнка. Он не знал, как сказать по-английски «двадцать», и чтобы объяснить мне, сколько человек они тогда съели, положил двадцать камешков один подле другого и просил меня сосчитать.

Я рассказываю об этих беседах с Пятницей, потому что они служат введением к дальнейшему. После описанного разговора я спросил его, далеко ли от моего острова до той земли, где живёт его народ, и часто ли тонут лодки, переплывая это расстояние. Он отвечал, что путь безопасен и что лодки никогда не гибнут, потому что невдалеке от нашего острова проходит морское течение, которое по утрам направляется в одну сторону, а к вечеру — в другую, и всегда при попутном ветре.

Сначала я думал, что течение, о котором говорил Пятница, находится в зависимости от прилива и отлива, но потом узнал, что оно составляет продолжение течения многоводной реки Ориноко, устье которой, как я увидел впоследствии, находится против моего острова. Полоса же земли к западу и северо-западу от острова, которую я принимал за материк, оказалась большим островом Тринидад, лежащим к северу от устья той же реки. Я засыпал Пятницу вопросами об этой земле и её обитателях: каковы там берега, бурное ли там море, какие нравы у племён, живущих поблизости. Он с величайшей готовностью рассказал мне всё, что знал сам. Спрашивал я его также, как называются различные племена, обитающие в тех местах, но добился немногого. Он твердил только одно: «Кариб, кариб». Нетрудно было догадаться, что он говорит о караибах, которые, как показывают наши географические карты, обитают именно в этой части Америки, занимая всю береговую полосу от устья Ориноко до Гвианы и дальше, до города Санта-Марта[1]. Затем Пятница рассказал мне, что далеко «за луной», то есть в той стране, где садится луна, или, другими словами, к западу от его родины, живут такие же, как я, белые бородатые люди (при этом он указал на буйную растительность, покрывавшую мои щёки), и прибавил, что эти белые убили много-много народа.

[1] Санта-Марта — город в Колумбии, на берегу Караибского моря.

Я понял, что он говорит об испанцах, ибо жестокость, проявленная ими по отношению к коренному населению Америки, стяжала им печальную известность во всём мире, и среди туземцев память об их зверствах живёт по сей день, передаваясь от отца к сыну [1].

На мой вопрос, существует ли какая-нибудь возможность переправиться с нашего острова к белым людям, он отвечал: «Да, да, это можно: надо плыть на две лодки». Я долго не понимал, чтó он хотел сказать словами «две лодки», но, поломав себе голову, догадался, что он имеет в виду большое судно, вдвое больше обыкновенной пирóги.

Этот разговор очень обрадовал меня: с того дня у меня зародилась надежда, что рано или поздно мне удастся вырваться из моего заточения и что поможет мне в этом славный мой дикарь.

Беседы с Пятницей до такой степени заполняли все мои свободные часы, и так тесна была наша дружба, что я не заметил, как пролетели последние три года моего заточения на острове. Я был вполне счастлив, если только в подлунном мире возможно полное счастье.

Однако пора уже перейти к рассказу о событиях моей жизни за эти три последних года.

Когда Пятница не только научился понимать почти всё, что я ему говорил, но и сам начал довольно бегло, хотя и ломаным языком, изъясняться по-английски, я рассказал ему историю моей жизни; подробнее всего я повествовал о том, как я попал на мой остров и как я прожил долгие годы заточения. Я открыл ему тайну огнестрельного оружия — для него это была подлинно тайна — и научил его стрелять. Я подарил ему два предмета, от которых он пришёл в полное восхищение: нож и самодельную портупею, вроде тех, на каких у нас в Англии носят тесаки; только вместо тесака я вооружил его топором, так как топор мог служить не только оружием, но и рабочим инструментом.

Я рассказал Пятнице об европейских странах, в частности, об Англии, объяснив, что я оттуда родом; описал ему, как мы живём, какие у нас обычаи и нравы, как мы ведём торговлю во всех частях света, путешествуя по морям на больших кораблях. Я рассказал ему о крушении испанского корабля, разбившегося о рифы, и показал место, где находились его обломки, позднее унесённые волнами в море. Показал я ему также

[1] Речь идёт о бесчеловечном обращении испанцев с покорёнными ими народами Южной Америки.



остатки той шлюпки, на которой я спасался после того, как наш корабль, плывший из Бразилии в Гвиану, сел на мель (я уже упоминал о том, что позднее буря выбросила её на мой остров, но мне не под силу было сдвинуть её с места). Теперь шлюпка совсем развалилась.

Увидев её, Пятница призадумался и долго молчал. Я спросил его, о чём он думает, и он ответил: «Я видел лодка, как эта: плавала то место, где мой народ». Я долго не понимал, чтó он хотел этим сказать; наконец, после долгих расспросов, выяснилось, что точно такую шлюпку прибило к берегу в той земле, где живёт его племя. Я тотчас предположил, что около тех берегов потерпел крушение какой-нибудь европейский корабль и эту шлюпку с него сорвало бурей. Но почему-то мне не пришло в голову, что в шлюпке могли быть люди, европейцы, и, продолжая свои расспросы, я осведомлялся только о шлюпке.

Пятница описал мне её очень подробно, но только когда он с оживлением прибавил в конце своего рассказа: «Белые люди не потонули, — мы их спасли», я уяснил себе всё значение события, о котором он говорил, и спросил его, были ли в этой лодке белые люди. «Да, — ответил он, — полная лодка белых людей». «Сколько же их было?» — продолжал я свои расспросы, весь дрожа от нетерпения. Он насчитал по пальцам семнадцать. «Где же они? Что с ними сталось?» Ответ гласил: «Они живы; живут у нас, наши места».

Это навело меня на новую догадку: не с того ли самого корабля, что разбился в виду моего острова, были эти семнадцать человек? Убедившись, что корабль наскочил на подводную скалу и ему грозит неминуемая гибель, все они, должно быть, покинули его и пересели в шлюпку, а потом их прибило к земле дикарей, где они и остались. Я стал допытываться у Пятницы, наверно ли он знает, что белые люди живы. Он твёрдо отвечал: «Наверно, наверно», — и прибавил, что скоро будет четыре года, как они живут среди его земляков, и что те не только не обижают их, но даже кормят. На мой вопрос, каким образом могло случиться, что дикари не убили и не съели белых людей, он ответил: «Белые люди стали нам братья», — то есть, насколько я понял его, заключили с ними союз, и прибавил: «Наши едят людей только на войне». Этим он хотел сказать, что его соплеменники едят только людей, захваченных в бою с враждебными племенами.

Прошло довольно много времени после этой беседы. Как-то в ясный день мы с Пятницей поднялись на пригорок в восточной части острова; если припомнит читатель, много лет назад я с этого пригорка увидел землю, которую принял за материк Южной Америки. Пятница долго вглядывался вдаль по тому направлению и вдруг принялся прыгать, плясать и звать меня (я немного отстал). Нагнав его, я спросил, в чём дело. «Ох, как я рад! Как я счастлив! — восторженно воскликнул он. — Отсюда видать... моя земля, мой народ!»

Лицо его преобразилось от радости, глаза блестели, он весь был охвачен неудержимым порывом; казалось, дай ему волю — и он мигом умчался бы туда, к своим. Это ликование навело меня на мысли, под влиянием которых моё доверие к Пятнице поколебалось. Мне стало казаться, что при первой возможности он вернётся на родину и там позабудет не только всё, чем он мне обязан, но, пожалуй, и выдаст меня



своим соплеменникам: приведёт их сотню или две на мой остров и покажет им моё убежище, они убьют меня и съедят, и он будет пировать вместе с ними с таким же лёгким сердцем, как прежде, когда все они приезжали сюда праздновать свои победы над дикарями враждебных племён.

Думая так, я был крайне несправедлив к этому честному парню. Позднее я убедился в этом, и мне стало очень стыдно. Но в первые недели после этого памятного происшествия подозрительность моя возрастала с каждым днём, а будучи всё время настороже, я, естественно,

начал чуждаться Пятницы, стал резок и сух в обращении с ним. Повторяю, я был совершенно неправ: у этого добросердечного малого и в помыслах не было ничего дурного; он не изменил нашей дружбе, был попрежнему верен и предан мне.

Поскольку я подозревал его в предательских замыслах, я, понятно, пускал в дело всяческие ухищрения, чтобы заставить его проболтаться; но каждое его слово дышало такой простодушной искренностью, что я мало-помалу успокоился и вернул моему другу своё доверие. А он даже не заметил моего временного к нему охлаждения, и это было для меня лишним доказательством его чистосердечия.

ГЛАВА XVII

Однажды, когда мы с Пятницей опять поднялись на этот самый пригорок (только в этот раз на море стоял туман и берегов материка не было видно), я спросил его: «А что, Пятница, хотелось бы тебе вернуться на родину к своим?» — «Да, — отвечал он, — я был бы много-много рад вернуться к своим». — «Что ж бы ты там делал? — продолжал я. — Стал бы опять дикарём и принялся, как прежде, есть человеческое мясо?» Его лицо приняло сосредоточенное выражение; он покачал головой и ответил: «Нет, нет. Пятница в своей земле сказал бы всем: живите хорошо, ешьте хлеб, козлятину, птиц, молоко, никогда-никогда не ешьте человека». — «Но ведь, если ты будешь говорить им такие вещи, они тебя убьют». Он взглянул на меня всё так же серьёзно и сказал: «Нет не убьют, они будут рады учить доброе» — будут рады учиться добру, хотел он сказать. Затем он прибавил: «Они много учились от бородатых людей, что приехали на лодке». — «Так тебе хочется вернуться домой?» — повторил я свой вопрос. Он улыбнулся и сказал: «Пятница не может плыть так далеко». Когда же я предложил построить для него лодку, он ответил, что с радостью поедет, если я поеду с ним. «Как же мне ехать? — возразил я. — Ведь твои земляки меня съедят!» — «Нет, нет, не съедят, — горячо возразил Пятница, — я сделаю так, что не съедят, я сделаю, что они будут любить Робина Крузо». Добрый мой Пятница хотел этим сказать, что он расскажет своим землякам, как я перебил его врагов и спас ему жизнь. Он был уверен, что за это они полюбят меня. Затем он рассказал мне на своём ломаном языке, с какой добротой его соплеменники

относились к семнадцати белым бородатым людям, которых бурей прибило к берегу в их земле.

С этого дня я решил во что бы то ни стало переправиться на материк и разыскать там бородатых людей, о которых говорил Пятница; я не сомневался, что это испанцы или португальцы; если только мне удастся присоединиться к ним, говорил я себе, мы сообща, наверно, найдём способ добраться до какой-нибудь цивилизованной страны, тогда как, сидя отрезанный от людей на своём острове, в сорока-пятидесяти милях от материка, я не мог надеяться на освобождение. И вот, спустя несколько дней, я завёл с Пятницей разговор всё о том же. Я сказал, что дам ему лодку, чтобы он мог вернуться на родину, и пошёл с ним в бухточку, где стояла моя лодка. Вычерпав из неё воду (для большой безопасности она у меня была затоплена), я подвёл её к берегу; затем мы с Пятницей сели в лодку, чтобы проверить, годна ли она для плаванья. Пятница оказался превосходным гребцом: лодка неслась быстро. Когда мы отошли от берега, я сказал ему: «Ну, что же, Пятница, поедем к твоим землякам?» Он посмотрел на меня с грустным недоумением: очевидно, эта лодка казалась ему слишком маленькой для такого далёкого путешествия. Тогда я сказал ему, что у меня есть лодка побольше, и на следующий день повёл его к месту, где стояла моя первая лодка, которую я сделал много лет назад и не мог спустить на воду. Пятница нашёл, что эта лодка достаточно велика. Но так как со дня её постройки прошло двадцать два или двадцать три года и всё это время она оставалась под открытым небом, где её припекало солнце и мочил дождь, то она вся рассохлась и местами прогнила. Пятница заявил, что лодка таких размеров будет вполне подходящей и что в неё «можно будет положить много-много хлеба, и питья, и всего-всего».

Я настолько утвердился в своём намерении предпринять вместе с Пятницей путешествие на материк, что сказал ему: «Давай-ка построим точно такую же лодку, и ты сможешь на ней отправиться домой». Я думал, что Пятница выкажет бурную радость, но он нахмурился и долго молчал. Когда же я спросил, что́ с ним, он сказал: «За что Робин Крузо сердится на Пятницу? Что Пятница сделал Робину?». — «С чего ты взял, что я сержусь на тебя? Я нисколько не сержусь», — сказал я. — «Не сержусь, не сержусь! — повторил он ворчливо. — А зачем отсылаешь Пятницу домой?» — «Да ведь сам же ты сколько раз говорил, что тебе хочет-

ся домой», — заметил я. «Да, хочется, — отвечал он, — но только, чтоб вместе. Робин не поедет — Пятница не поедет: Пятница не хочет без Робина». Словом, он и слышать не хотел о том, чтобы покинуть меня. «Но послушай, Пятница, — продолжал я, — зачем я поеду туда? Что я там буду делать?» Он живо повернулся ко мне и взволнованно сказал: «Много делать, хорошо делать: учить диких людей быть добрыми, кроткими, разумными; делать им новую жизнь». — «Увы, мой друг! — сказал я со вздохом, — ты сам не знаешь, что говоришь. Куда уж такому невежде, как я, учить добру других!» — «Неправда! — воскликнул он с жаром. — Меня учил добру, их будешь учить». — «Нет, Пятница, — сказал я решительным тоном, — отправляйся без меня, а я останусь здесь один и буду жить, как жил прежде». Он опять помрачнел; потом вдруг побежал к лежавшему невдалеке топору, который обычно носил с собой, схватил его и протянул мне. «Зачем ты даёшь мне топор?»—спросил я в недоумении. Он отвечал: «Убей Пятницу». — «Зачем же мне тебя убивать?» — спросил я. «А зачем гонишь Пятницу прочь? — напустился он на меня. — Убей Пятницу — не гони прочь». Верный дикарь был искренне огорчён: я заметил на глазах его слёзы. Словом, привязанность его ко мне и его твёрдая решимость были настолько очевидны, что я тут же сказал ему и часто повторял потом, что никогда не прогоню его, покуда он захочет оставаться со мной.

Этот разговор окончательно убедил меня в том, что Пятница беззаветно предан мне и что единственный источник его желания вернуться на родину — горячая любовь к своим соплеменникам и надежда, что я научу их добру. Но сам я не был преувеличенно высокого мнения о своей особе и отнюдь не имел намерения браться за такое трудное дело, как просвещение дикарей. Впрочем, желание покинуть остров от этого ничуть не ослабело во мне. Моё нетерпение особенно усилилось после того, как из разговора с Пятницей я узнал, что семнадцать «бородатых людей» живут так близко от меня. Поэтому, не откладывая долее, я стал вместе с Пятницей искать дерево с толстым стволом, из которого можно было бы сделать большую пирóгу и пуститься на ней в путь. На острове росло столько строевого лесу, что можно было выстроить целую флотилию кораблей, а не то что лодок. Но наученный тем промахом, который я сделал при постройке первой лодки, я стал искать подходящее дерево



поблизости от берега, чтобы, построив лодку, можно было без особого труда спустить её на воду.

После долгих поисков Пятница, гораздо больше меня понимавший в этом деле, нашёл, наконец, вполне подходящее для нас дерево. Я и по сей день не знаю, какой породы оно было. Пятница стоял за то, чтобы выжечь внутренность колоды, как это делают дикари при постройке своих пирóг; но я объяснил ему, что проще будет выдолбить её плотницкими инструментами, и, когда я показал ему, как это делается, он согласился, что этот способ разумнее. Мы ретиво принялись за работу, и спустя месяц напряжённого труда лодка была готова. Мы обтесали её снаружи топорами (Пятница мигом этому научился), и вышла настоящая морская лодка, в которой могло поместиться человек двадцать. Но после этого понадобилось ещё около двух недель, чтобы спустить наше сооружение на воду, так как мы двигали его на деревянных катках буквально дюйм за дюймом.

Когда лодка была спущена на воду, я удивился, как ловко и смело, несмотря на её величину, управляется с ней Пятница, как быстро он заставляет её поворачиваться и как хорошо гребёт. Я спросил его, можем ли мы пуститься в море в такой лодке. — «О да, — ответил он, — такая лодка не страшно плыть даже в большой-большой ветер». Но прежде чем выйти в плаванье, я решил осуществить ещё одно намерение, о котором не говорил Пятнице, а именно: снабдить лодку мачтой, парусом, якорем и канатом. Сделать мачту было не трудно: на острове росло много кедров, прямых, как стрела. Я выбрал деревцо, росшее поблизости от бухты, велел Пятнице срубить его и дал ему указания, как очистить ствол от ветвей и обтесать его. Но над парусом мне пришлось поработать самому. У меня ещё хранились старые паруса или, лучше сказать, куски корабельной парусины, но они лежали уже более двадцати шести лет. Не думая, что они могут когда-нибудь пригодиться мне, я не особенно заботился о том, чтобы сохранить их в целости. Поэтому я был уверен, что все они сопрели. И действительно, бо́льшая часть оказалась гнильём; всё же я нашёл два куска покрепче и принялся за шитьё, на которое потратил много труда; в конце концов я состряпал, во-первых, довольно безобразное подобие большого треугольного паруса — «бараньей лопатки», какие употребляются в Англии, во-вторых, маленький парус — так называемый «блайнд». Такими парусами я хорошо умел управлять, потому что они были на той шлюпке, на которой я в молодые годы бежал от берберийских пиратов.

Около двух месяцев провозился я над оснащением нашего судна, но зато работа была сделана на славу. Кроме двух упомянутых парусов, я смастерил ещё третий, который укрепил на носу; он должен был помогать нам поворачивать лодку при перемене галса[1]. Но главное, — я сделал и приладил к корме руль, что должно было значительно облегчить управление лодкой. Я был неважный корабельный плотник, но, понимая, что такое приспособление, как руль, необходимо, я не пожалел труда на это дело; если принять во внимание неудачные первоначальные попытки, то, пожалуй, можно считать, что оно отняло у меня почти столько же времени, как постройка и снаряжение всей лодки.

---

[1] Галс — курс судна относительно ветра. Переменить галс — значит повернуть судно так, чтобы ветер стал дуть с другого борта.

Когда всё было готово, я стал учить Пятницу управлению лодкой, потому что хотя он был превосходным гребцом, но ни о руле, ни о парусах не имел никакого понятия. Он был поражён, когда увидел, как я действую рулём и как парус надувается то с одной, то с другой стороны, в зависимости от перемены галса. Тем не менее, он очень скоро постиг всю эту премудрость и сделался искусным моряком. Одному только он никак не мог научиться — употреблению компаса: это было выше его понимания. Но так как в тех широтах в засушливое время года почти никогда не бывает ни туманов, ни пасмурных дней, то в компасе для нашей поездки не представлялось особой надобности. Днём мы могли править на берег, который был виден вдали, а ночью — держать курс по звёздам. Другое дело — в дождливое время, но в этот период всё равно нельзя было путешествовать ни морем, ни сухим путём.

Наступил двадцать седьмой год моего пленения. Впрочем, три последние года можно было смело скинуть со счёта, ибо с появлением на острове моего милого Пятницы в моё жилище вошла радость и осветила мою печальную жизнь.

Я был твёрдо убеждён, что теперь мне уже недолго осталось томиться в пустыне. Несмотря на эту уверенность, я не забрасывал своего хозяйства. Как и в прежние годы, я возделывал свои поля, ходил за козами, сушил изюм. Словом, попрежнему работал не покладая рук.

Приближался период дождей, когда я обыкновенно бо́льшую часть дня просиживал дома. О том, чтобы пуститься в плаванье в это время года, думать не приходилось. А пока необходимо было позаботиться о безопасности нашей новой лодки. Мы привели её в ту бухточку, куда я причаливал со своими плотами в начале своего пребывания на острове. Дождавшись прилива, я подтянул лодку к самому берегу, ошвартовал её и приказал Пятнице выкопать на берегу яму такой величины и глубины, чтобы лодка поместилась в ней, как в доке. Во время прилива яма наполнилась водой, а с наступлением отлива мы соорудили со стороны моря крепкую плотину, чтобы в дальнейшем преградить доступ воде. Чтобы предохранить лодку от дождей, мы прикрыли её толстым слоем веток, под которыми она стояла, как под крышей. Теперь нам оставалось только спокойно дожидаться сухой и жаркой погоды, наступающей в этих широтах в ноябре или декабре; тогда, говорил я себе, мы, запасшись



всем необходимым, выйдем в море. Действительно, как только прекратились дожди и погода установилась, я начал деятельно готовиться к предстоящему плаванию. Я заранее рассчитал, какой запас провизии нам может понадобиться, и заготовил всё, что нужно. Недели через две я предполагал открыть свой док и спустить лодку на море. Но события приняли неожиданный оборот.

ГЛАВА XVIII

Как-то утром я по обыкновению был занят сборами в дорогу, а Пятницу послал на берег моря поймать черепаху; яйца и мясо этого животного были излюбленной нашей пищей. Пятница ушёл и через каких-нибудь четверть часа опрометью примчался назад. Как безум-

ный, не чувствуя под собой земли, он одним прыжком перемахнул через ограду и, прежде чем я успел спросить его, что случилось, закричал: «Ох! Беда! Беда! Плохо!»—«Что с тобой, Пятница?»—спросил я в тревоге. «Там, около берега, одна, две, три... одна, две, три, лодки!» Зная его способ считать, я подумал, что всех лодок было шесть, но, как потом оказалось, их было только три. «Ну и что ж, Пятница? Чего ты так испугался?» — сказал я, стараясь его ободрить. Бедняга был вне себя; вероятно, он вообразил, что дикари явились за ним, что они разыщут его, убьют и съедят. Он весь дрожал мелкой дрожью. Я не знал, что́ с ним делать; я успокаивал его, как умел: говорил, что во всяком случае я подвергаюсь такой же опасности, как и он, что если съедят его, так и меня вместе с ним. «Но мы постоим за себя, мы будем драться до последней капли крови, — прибавил я. — Скажи, ты готов драться?» — «Я буду стрелять, — отвечал он, — но их много, очень много». — «Не беда, — сказал я, — одних мы убьём, а остальные испугаются выстрелов и разбегутся. Я буду защищать тебя. Но обещаешь ли ты, что не струсишь, а главное, будешь делать всё, что я тебе прикажу?» Он отвечал: «Я умру, если ты велишь, Робин Крузо!». После этого я принёс из погреба рому и дал ему выпить. Затем мы собрали всё наше огнестрельное оружие, привели его в порядок и зарядили. Два охотничьих ружья, которые мы всегда брали с собой, когда бродили по острову, я зарядил самой крупной дробью, а в мушкеты (их я взял четыре штуки) положил по пять маленьких пуль и по два куска свинца; пистолеты я зарядил двумя пулями каждый. Кроме того, я вооружился, как всегда, саблей без ножен, а Пятницу снабдил топором.

Приготовившись таким образом к бою, я взял подзорную трубу и по лесенкам поднялся на свой холм для разведки. Направив трубу на берег моря, я скоро увидел дикарей: их было человек двадцать, да ещё трое связанных людей — очевидно, пленных. У берега стояли три пироги. Было ясно, что вся эта ватага явилась на остров с единственной целью — омерзительным пиром отпраздновать свою победу над врагом.

Я заметил также, что на этот раз они высадились не там, где высаживались три года назад, в день бегства Пятницы, а гораздо ближе к моей бухточке. Здесь берег был низкий, и густой лес подступал почти к самому морю. Меня взбесило, что дикари расположились так близко от моего жилья; но, разумеется, главной причиной охватившей меня

ярости было возмущение кровавым делом, ради которого они явились на остров. Спустившись с холма, я объявил Пятнице моё решение тотчас напасть на этих извергов и перебить их всех до единого; затем я ещё раз спросил его, будет ли он мне помогать. От теперь совершенно оправился от испуга (возможно, этому способствовал выпитый им ром) и с бодрым видом повторил, что готов умереть за меня.

Всё ещё пылая гневом, я поделил между нами приготовленное мною оружие, и мы тронулись в путь. Пятнице я дал один из пистолетов, который он тотчас заткнул себе за пояс, и три ружья, а сам взял всё остальное. На всякий случай я сунул в карман фляжку рому, а Пятнице дал нести большой мешок с запасным порохом и пулями. Я приказал ему следовать за мной, не отставая ни на шаг, и строго-настрого запретил заговаривать со мной и стрелять, покуда я не прикажу. Нам пришлось сделать большой крюк, почти в целую милю, чтоб обогнуть бухточку и подойти к берегу со стороны леса, потому что только с этой стороны можно было незаметно подкрасться к неприятелю на расстояние ружейного выстрела. В этом-то лесу я и решил засесть, выбрав место, с которого мог бы видеть всё, что происходит на берегу.

По узкой тропке мы вошли в лес. Я шёл впереди, Пятница следовал за мной по пятам. Мы шли со всевозможными предосторожностями, в полном молчании и стараясь ступать как можно тише. Подойдя к опушке леса с того края, который был ближе к берегу, я остановился, тихонько подозвал Пятницу и, указав ему высокое ветвистое дерево, велел взобраться на вершину и посмотреть оттуда, чтó дикари делают. Он проворно выполнил моё поручение и, спустившись на землю, сообщил мне, что с дерева отлично всё видно, что дикари сидят вокруг костра и едят мясо одного из привезённых ими пленников, а другой лежит связанный тут же на песке, и они, наверное, сейчас же убьют его. При этих словах я пришёл в ярость. Затем Пятница сказал мне, что второй пленник, которого дикари собираются съесть, — совсем такой, как те бородатые люди, которые приплыли в его землю на лодке. Чтобы удостовериться в этом, я подошёл к дереву и в подзорную трубу отчётливо увидел белого человека. Он лежал неподвижно, связанный по рукам и ногам гибкими прутьями. На нём была одежда, но не только по этому признаку, а и по лицу нельзя было не признать в нём европейца.

Ярдов на пятьдесят ближе к берегу, на пригорке, в расстоянии около половины ружейного выстрела от костра, я приметил другое высокое дерево, к которому можно было подкрасться незаметно для людоедов, так как всё пространство между этим деревом и тем местом, где мы стояли, было почти сплошь покрыто густой порослью. Сдерживая клокотавшую во мне ярость, я потихоньку пробрался за кустами к этому дереву и оттуда, как на ладони, увидел всё, что происходило на берегу.

У костра, сбившись кучкой, сидели девятнадцать человек дикарей. В нескольких шагах от них, подле распростёртого на земле европейца, стояли ещё двое дикарей и, нагнувшись над ним, развязывали ему ноги: очевидно, их только что послали за ним. Ещё минута, и они зарезали бы его, как барана. Надо было действовать без промедления. Я повернулся к Пятнице. «Будь наготове», — сказал я ему. Он кивнул головой. «Теперь смотри на меня, и что я буду делать, то делай и ты». С этими словами я положил на землю охотничье ружьё и один из мушкетов, а из другого мушкета прицелился в дикарей. Пятница тоже прицелился. «Ты готов?» — спросил я его. Он отвечал утвердительно. «Стреляй!» — скомандовал я, и тотчас прогремели два выстрела.

Прицел Пятницы оказался гораздо вернее моего: он убил двух человек и ранил троих, я же ранил только двоих и убил одного. Легко себе представить, какой переполох наши выстрелы произвели в толпе дикарей. Все уцелевшие вскочили на ноги и заметались по берегу, не зная, куда кинуться, в какую сторону бежать. Они не могли сообразить, откуда на них обрушилась гибель. Следуя моему приказанию, Пятница не сводил с меня глаз. Тотчас же после первого выстрела я бросил мушкет, схватил охотничье ружьё, взвёл курок и снова прицелился. Пятница в точности повторил каждое моё движение. «Ты готов?» — спросил я опять. «Готов». — «Тогда стреляй!» Снова почти одновременно грянули два выстрела, но так как на этот раз мы стреляли из охотничьих ружей, заряжённых крупной дробью, то убили только двоих. Зато раненых было много. Обливаясь кровью, бегали они по берегу, неистово вопя. Трое людоедов были, очевидно, тяжело ранены: они вскоре свалились наземь.

Бросив охотничье ружьё, я взял второй заряженный мушкет, крикнул: «Пятница, за мной!» — и выбежал из лесу. Мой храбрый соратник ни на шаг не отставал от меня. Заметив, что дикари увидели меня, я неистово завопил и приказал Пятнице тоже вопить как можно громче. Во



всю прыть, что, к слову сказать, было не слишком быстро, из-за тяжелых доспехов, которыми я был увешан, я понёсся к несчастному пленнику, лежавшему, как уже сказано, на берегу, между костром и морем. Оба палача, готовые расправиться со своей жертвой, бросили её при первых же звуках наших выстрелов. Не помня себя от страха, они стремглав кинулись к морю и вскочили в лодку; вслед за ними туда прыгнули ещё три дикаря. Я тотчас подумал: если им удастся спастись они вскоре вернутся с целой оравой соплеменников, и тогда нам конец. Я повернулся к Пятнице и приказал ему стрелять в них. Он мигом понял мою мысль и, стрелой пробежав ярдов сорок, чтобы быть ближе к беглецам, выстрелил; сперва я подумал, что он убил их всех, так как все пятеро повалились кучей на дно лодки; но двое сейчас же поднялись — очевидно, они упали просто со страху. Из трёх остальных двое были убиты наповал, а третий был так тяжело ранен, что уже не мог встать.

Покуда Пятница расправлялся с пятью беглецами, я вытащил нож и перерезал путы, которыми были стянуты руки и ноги пленника. Освободив его, я помог ему приподняться и спросил его по-португальски, кто он такой. Он ответил по латыни: Christianus (христианин). От слабости он с трудом держался на ногах и говорил едва слышно. Я вынул из кармана фляжку с ромом и поднёс ему ко рту, показывая знаками, чтобы он отхлебнул глоток; затем я дал ему хлеба. Когда он поел, я спросил его, какой он национальности, и он ответил: Espagnole (испанец). Немного оправившись, он принялся самыми красноречивыми жестами изъявлять мне свою признательность за то, что я спас ему жизнь. Призвав на помощь все свои познания в испанском языке, я сказал ему: «Сеньор, разговаривать мы будем потом, а теперь надо действовать. Если вы в силах сражаться, — берите саблю и пистолет, мы вместе ударим на врагов». Испанец с благодарностью принял то и другое и, почувствовав в руках оружие, словно переродился. Откуда только взялись у него силы? Как ураган, налетел он на своих мучителей и в одно мгновение зарубил двоих. Правда, несчастные дикари, ошеломлённые ружейными выстрелами и внезапностью нападения, до того перепугались, что со страху попадали наземь и не могли ни бежать, ни пустить в ход свои копья и стрелы.

Я держал заряжённый мушкет наготове, но не стрелял, приберегая заряд на случай крайней нужды, так как свой пистолет и саблю я отдал испанцу. Наши разряжённые ружья остались под деревом на том месте, откуда мы в первый раз открыли огонь; я подозвал Пятницу и велел ему сбегать за ними. Он мигом слетал туда и принёс их. Я отдал ему свой мушкет, а сам стал заряжать остальные. Покуда я заряжал мушкеты, между испанцем и одним из дикарей завязался ожесточённый бой. Дикарь набросился на него с огромным деревянным мечом, точно таким, каким людоеды прикончили бы своего пленника, не подоспей я к нему на выручку. Мой испанец оказался таким храбрецом, как я и не ожидал: несмотря на сильное истощение, он дрался, как лев, и саблей нанёс противнику два страшных удара по голове; но дикарь был дюжий, крепкий парень; схватившись с испанцем врукопашную, он скоро повалил своего противника, силы которого иссякли, и стал вырывать у него саблю; испанец не растерялся: он выпустил саблю из рук, выхватил из-

за пояса пистолет, выстрелил в дикаря и уложил его на месте, прежде чем я успел подбежать.

Тем временем Пятница, предоставленный самому себе, храбро преследовал бегущих врагов; топором, с которым он никогда не расставался, он прикончил трёх человек, раненных первыми нашими выстрелами; досталось от него и многим другим. Испанец тоже не терял времени даром. Взяв у меня охотничье ружьё, он пустился в погоню за двумя людоедами и ранил обоих; но так как долго бежать ему было не под силу, то раненые успели скрыться в лесу. Пятница погнался за ними. Одного он зарубил топором, а за другим не мог поспеть: тот оказался проворнее. Несмотря на свои раны, этот дикарь бросился в море, пустился вплавь за лодкой, в которой успели отчалить его соплеменники, и нагнал её. Эти четверо (в числе их один тяжело раненный, про которого мы не знали, жив он или умер) были единственные из всей ватаги, которые ускользнули из наших рук.

Дикари, спасшиеся в лодке, работали вёслами изо всех сил, стараясь поскорее уйти из-под выстрелов. Пятница раза два или три пальнул им вдогонку, но, кажется, не попал. Он стал уговаривать меня взять одну из их пиро́г и пуститься за ними в погоню. Меня тоже сильно тревожил их побег: ведь мне с самого начала было ясно — если они расскажут своим землякам о том, что случилось на острове, те нагрянут к нам, быть может, на двухстах, если не на трёхстах, лодках, и тогда нам не сдобровать. Поэтому я согласился на предложение Пятницы. Я подбежал к одной из лодок и прыгнул в неё, приказав ему следовать за собой.

Но каково же было моё изумление, когда я увидел на дне лодки нагого старика, связанного по рукам и ногам, как был связан испанец, и, очевидно, тоже обречённого дикарями на съедение! Он был полумёртв от страха, — он не понимал, что̀ творится вокруг; людоеды так крепко скрутили его, что он не мог даже выглянуть из-за борта лодки, и, повидимому, он так долго оставался связанным, что еле дышал.

Я тотчас перерезал стягивавшие его путы и хотел помочь ему встать. Но он не в силах был держаться на ногах; он даже не мог говорить, а только жалобно стонал: вероятно, несчастный думал, что его только затем и развязали, чтобы повести на убой.



Когда Пятница подошёл к нам, я первым делом велел ему объяснить этому человеку, что он свободен; затем я протянул фляжку с ромом, чтоб он дал бедняге отхлебнуть глоток. Радостная весть, в соединении с укрепляющим действием рома, оживила старика, и он приподнялся в лодке. Но надо было видеть, что́ сталось с Пятницей, когда он услышал голос пленника и увидел его лицо! Он бросился его целовать, обнимать, заплакал, засмеялся, завопил; потом стал прыгать вокруг него, и вдруг заплясал; снова заплакал, замахал руками, принялся колотить себя по голове и по лицу, — словом, вёл себя, как безумный. Я долго не мог добиться от него никаких объяснений. Наконец, немного успокоившись, он сказал, что старик — его отец.

Не могу выразить, до чего я был растроган этими проявлениями глубокой сыновней любви! Нельзя было смотреть без слёз на бурную

радость простодушного дикаря при неожиданной встрече со стариком-отцом, спасённым от смерти. Но в то же время нельзя было и не смеяться над ребяческими выходками, которыми выражались его любовь и восторг. Раз двадцать он выскакивал из лодки и снова вскакивал в неё; то он садился подле отца и, распахнув свою куртку, крепко прижимал его голову к своей груди, как мать прижимает ребёнка; то принимался растирать его одеревеневшие от пут руки и ноги. Я посоветовал Пятнице растереть старика ромом, — это очень ему помогло.

Теперь о преследовании бежавших дикарей нечего было и думать: за это время они почти скрылись из виду. Поэтому мы не пустились за ними в погоню на море и, надо сказать, к великому для нас счастью, так как спустя часа два, то есть прежде, чем мы успели бы проплыть четверть пути до материка, задул жестокий ветер, который бушевал потом всю ночь. Он дул с северо-запада, как раз навстречу беглецам; мы решили, что, по всей вероятности, их лодку опрокинуло и они погибли в волнах.

Но возвратимся к Пятнице. Он был так поглощён сыновними заботами, что у меня нехватало духу оторвать его от отца. Я дал ему немного прийти в себя и только тогда кликнул его. Он подбежал ко мне вприпрыжку, с радостным смехом, довольный и счастливый. Я спросил его, дал ли он отцу хлеба. Он горестно покачал головой: «Нет хлеба, подлый пёс ничего не оставил, всё съел сам». И он показал на себя. Тогда я вынул из сумки, где у меня было немного провизии, небольшой хлебец и горсть изюма и велел снести старику. Самому же Пятнице я предложил подкрепиться остатками рома, но и ром он отдал отцу. Напоив и накормив его, Пятница опять, сломя голову, побежал куда-то. Надо сказать, что он был удивительно лёгок на ногу, и прежде чем я успел опомниться, его и след простыл. Я кричал ему вдогонку, чтобы он остановился и сказал мне, куда бежит — не тут-то было! Так он и исчез. Смотрю — через четверть часа он возвращается, но уже не таким быстрым шагом. Когда он подошёл ближе, я увидел, что он что-то несёт. Оказалось, это кувшин с пресной водой, которую он притащил для отца. Он сбегал для этого домой, в нашу крепость, а кстати прихватил две ковриги хлеба. Хлеб он отдал мне, а воду поднёс старику, дав мне, впрочем, отхлебнуть несколько глотков, так как мне очень хотелось

пить. Вода оживила старика лучше всякого рома: оказалось, он умирал от жажды.

Когда он напился, я подозвал Пятницу и спросил, не осталось ли в кувшине воды. Он отвечал утвердительно, и я велел ему дать напиться испанцу, нуждавшемуся в этом не менее его отца. Я дал ему также для испанца ковригу хлеба. Бедняга был очень слаб: он в полном изнеможении лежал на траве, под деревом. Мучители так туго стянули ему руки и ноги, что теперь они у него страшно распухли. Когда Пятница подал ему воду и хлеб, он приподнялся, утолил жажду и поел; затем я принёс ему ветку изюма. Он поднял голову и взглянул на меня с безграничной признательностью. Бой с дикарями, в котором он проявил такую отвагу, вконец истощил его силы: он не мог стоять на ногах, как ни пытался. Я посоветовал ему не неволить себя понапрасну и приказал Пятнице растереть ему ноги ромом, так же, как он растирал их отцу.

Славный парень тотчас взялся за дело, но при этом поминутно оборачивался взглянуть, сидит ли его отец на том месте, где он его оставил. Вдруг, оглянувшись, он увидел, что старик куда-то исчез; он мгновенно сорвался с места и, не говоря ни слова, бросился к лодке с такой быстротой, что только пятки засверкали. Но когда, добежав, он увидел, что отец его прилёг на дно лодки отдохнуть, он тотчас воротился к нам.

Я сказал испанцу, что Пятница поможет ему встать и доведёт его до лодки, в которой мы доставим его в наше жилище, а там уж мы позаботимся о нём. Пятница был дюжий малый: недолго думая, он поднял испанца, как пёрышко, взвалил себе на спину и понёс. Дойдя до лодки, он осторожно посадил его сперва на борт, а потом на дно, подле отца. Потом вышел на берег, столкнул лодку в воду, опять вскочил в неё и взялся за вёсла. Я пошёл пешком. Пятница грёб превосходно, и, несмотря на сильный ветер, лодка так быстро понеслась вдоль берега, что я не мог за ней поспеть. Пятница благополучно привёл её в нашу бухточку и, оставив в ней обоих инвалидов, побежал назад на взморье, за другой лодкой, брошенной дикарями. Он объяснил мне это на бегу, встретив меня на полдороге, и помчался дальше. Пятница быстро сообразил, что лишняя пирóга очень нам пригодится. Положительно, ни один человек, ни одна лошадь не могли бы угнаться за этим парнем, такой он был быстроногий. Не успел я дойти до бухточки, как он уже явился туда с другой лодкой. Выскочив на берег, он стал помогать старику и

испанцу выйти из лодки, но они не в силах были двигаться. Бедный Пятница совсем растерялся и не знал, как с ними быть.

Пораздумавши, я нашёл выход из этого затруднения; по моему совету, Пятница посадил покамест наших гостей на берегу, а я, с его помощью, на скорую руку сколотил носилки, на которых мы с ним и доставили их обоих к наружной стене нашей крепости. Но тут мы опять стали втупик, не зная, что́ нам делать дальше. Перетащить двух взрослых людей через высокую ограду нам было не под силу, а ломать ограду я ни за что не хотел. Пришлось мне снова пустить в ход смекалку, и вскоре препятствие было обойдено. Мы с Пятницей принялись за работу, и часа через два за наружной оградой, между нею и рощей, у нас красовалась чудесная парусиновая палатка, сверху прикрытая от ветра и дождя зелёными ветками; в этой палатке мы, так удобно, как только могли, устроили две постели, положив на землю две большие охапки рисовой соломы и на неё — четыре одеяла, по два на каждого из гостей: одно служило вместо простыни, другое — чтобы укрываться им.

Водворив наших гостей в палатке, мы начали совещаться, чем их накормить. Я тотчас отрядил Пятницу в наш лесной загон, с поручением привести годовалого козлёнка. Мы зарезали его, отделили лучшую часть и порубили её на кусочки, половина которых пошла на бульон, а половина — на жаркое. Обед стряпал Пятница. Он заправил бульон ячменём и рисом, и вышло превосходное питательное блюдо. Стряпня происходила подле рощи, за наружной оградой (я никогда не разводил огонь внутри крепости), поэтому стол был накрыт в новой палатке. Я обедал вместе с гостями и всячески старался развлечь и приободрить их. Пятница служил мне переводчиком не только, когда я говорил с его отцом, но и для беседы с испанцем, так как последний довольно сносно объяснялся на языке дикарей.

Когда мы пообедали, или, вернее, поужинали, я приказал Пятнице взять лодку и съездить за нашими ружьями, которые за недосугом мы бросили на поле битвы; а на другой день я послал его зарыть трупы убитых, чтобы избежать зловония, которое не замедлило бы распространиться от них при жаркой погоде. Я велел ему также закопать ужасные остатки кровавого пиршества, которых было очень много. Я не мог без содрогания подумать о том, чтобы зарыть их самому: мне сделалось бы дурно от одного их вида. Пятница в точности исполнил всё, что я ему

приказал: он так старательно уничтожил все следы посещения дикарей, что, когда я, спустя несколько дней, пришёл на место побоища, я не сразу мог его узнать; только по расположению деревьев на опушке леса, подступавшего здесь к самому взморью, я убедился, что пиршество дикарей происходило именно здесь.

ГЛАВА XIX

На другой день я долго беседовал с моими новыми товарищами. Прежде всего, я велел Пятнице спросить своего отца, не следует ли нам опасаться, что четверо людоедов, успевших на лодке уйти в море, вернутся на остров с полчищами своих соплеменников, справиться с которыми нам будет не под силу. Старик отвечал, что, по его мнению, эти дикари никоим образом не могли добраться домой в такую ужасную бурю, какая бушевала в ту ночь; наверно, все они утонули, а если и уцелели каким-нибудь чудом, то их отнесло на юг и прибило к земле враждебного племени, где их неминуемо съедят. Что́ они предприняли бы, если бы благополучно добрались домой, он не знал; скорее всего, думалось ему, они были так напуганы нашим неожиданным нападением, что рассказали бы своим, будто их товарищи погибли не от руки человека, а были убиты громом и молнией. Меня же и Пятницу — уверял старик — они никак не могли принять за обыкновенных людей. Они, наверно, вообразили, что им явились два разгневанных духа, слетевших с небес, чтобы их истребить. Он уверял, что своими ушами слышал, как они это говорили друг другу, ибо они не могли представить себе, чтобы простой смертный мог изрыгать пламя, говорить громами и, как это делали мы, убивать на далёком расстоянии, даже не взмахнув рукой.

Старик был прав. Впоследствии я узнал, что никогда после этого дикари не пытались высадиться на моём острове. Очевидно, те четверо беглецов, которых мы считали погибшими, благополучно вернулись на родину и своими рассказами о пережитых ими ужасах смертельно напугали своих земляков; кто знает — возможно, у них даже возникло поверье, что всякий, кто дерзнёт ступить на заколдованный остров, будет сожжён небесным огнём.

Но в то время я этого не знал и поэтому пребывал в постоянной тревоге, ежеминутно ожидая нашествия дикарей. Я и моя маленькая армия всегда были готовы к бою: ведь нас теперь было четверо, и, явись к нам

хоть сотня дикарей мы бы не побоялись сразиться с ними. Но дни шли за днями, дикари не показывались, и страх перестал меня терзать. А вместе с тем я всё чаще возвращался к давнишней своей мечте о путешествии на материк, тем более, что, как уверял меня отец Пятницы, я — человек, спасший жизнь его сыну и ему самому, мог рассчитывать на радушный приём у его земляков.

Но после одного серьёзного разговора с испанцем я начал сомневаться в том, сто́ит ли осуществлять этот план. Из этого разговора я узнал, что хотя дикари действительно приютили у себя семнадцать человек испанцев и португальцев, спасшихся в шлюпке с погибшего корабля, и не обижают их, всё же эти европейцы терпят крайнюю нужду в самом необходимом, а нередко даже голодают. На мои расспросы о подробностях несчастья, постигшего их в пути, мой гость сообщил мне, что корабль их был испанский и шёл из Рио-де-ла-Платы в Гаванну, где должен был оставить свой груз, состоявший, главным образом, из мехов и серебра, и набрать европейских товаров, какие там будут. Он рассказал ещё, что по пути они подобрали пятерых матросов-португальцев с другого корабля, потерпевшего крушение раньше. Пять человек из их собственной корабельной команды погибли, как только волны хлынули на палубу, а шлюпку, где были остальные, после неописуемых бедствий, длившихся много дней, прибило к берегу людоедов; сначала несчастные моряки с минуты на минуту ожидали, что их поведут на страшную казнь. У них было с собой огнестрельное оружие, но они не могли им пользоваться за неимением пороха и пуль: порох, который они взяли с собой в шлюпку, почти весь подмок в пути, а ничтожное количество сухого они сразу же израсходовали, добывая себе пропитание охотой.

Я спросил его, какая, по его мнению, участь ожидает его товарищей в земле дикарей. Неужели, допытывался я, они никогда не старались выбраться оттуда? Он отвечал, что у них было много совещаний по этому поводу, но все они кончались слезами и отчаянием, так как у них не было ни судна, ни инструментов, чтобы его построить, ни продовольствия.

Тогда я попросил его чистосердечно ответить мне на вопрос: как он думает — согласятся ли они, если я предложу им всем собраться здесь, на моём острове, и сообща сделать попытку вырваться на волю? Я откровенно сказал ему, что пуще всего боюсь предательства и дурного об-

ращения. Пригласив их сюда, я тем самым отдам себя в их руки, а ведь известно, что люди иногда бывают неблагодарны и в своих поступках зачастую руководятся не столько памятью об оказанных им благодеяниях, сколь корыстью. Было бы слишком обидно, сказал я ему, выручить людей из беды только для того, чтобы они предали меня в руки властей Новой Испании [1], страны, откуда ещё не выходил живым ни один англичанин, как бы он туда ни попал — добровольно или по несчастной случайности. Я прибавил, что предпочёл бы быть съеденным дикарями, чем попасть в беспощадные когти духовенства и стать жертвой инквизиторов [2]. Я горячо убеждал его: если здесь соберутся все ваши товарищи, говорил я, то при таком количестве рабочих рук мы без особого труда построим большое крепкое судно, на котором мы все отправимся либо на юг, в Бразилию, либо, взяв курс на север, на Вест-Индские острова. Но, разумеется, если в награду за моё доброе дело, за то, что я сам вложу им в руки оружие, ваши товарищи обратят его против меня, если, пользуясь своим численным превосходством, они лишат меня свободы и отвезут в испанские владения, то мне будет ещё хуже, чем теперь.

Испанец отвечал с большим чистосердечием, что его товарищи жестоко бедствуют и хорошо сознают всю безнадёжность своего положения; поэтому он не допускает и мысли, чтоб они могли дурно поступить с человеком, который протянет им руку помощи; он тотчас вызвался съездить к ним со стариком-индейцем, передать им моё предложение и привезти мне ответ. Если они согласятся на мои условия, то он обяжет их беспрекословно повиноваться мне, как своему командиру и предводителю; он уговорит их принести мне торжественную клятву в верности и готовности последовать за мной в ту страну, которую я сам укажу им; более того, — он составит письменное обязательство, которое все они подпишут, и привезёт его мне.

Затем он сказал, что хочет немедленно сам поклясться мне в верности — поклясться, что он не покинет меня, покуда будет жив или покуда я сам не прогоню его, и что при малейшем поползновении со сто-

---

[1] Новой Испанией в те времена называлась Мексика, в XVI веке завоёванная испанцами.

[2] Инквизиторы — испанские монахи, беспощадно преследовавшие всех «еретиков», т. е. не католиков. «Еретиков» подвергали жесточайшим пыткам, а затем сжигали на кострах.

роны его соотечественников нарушить те обязательства, которые они возьмут на себя, он встанет на мою сторону и будет биться за меня до последней капли крови.

Впрочем, он не допускал возможности измены своих соотечественников; все они, по его словам, были честные, благородные люди. К тому же, они терпели большие лишения; у них не было ни пищи, ни одежды, ни оружия, дикари имели над ними полную власть; они потеряли надежду вернуться на родину, — словом, он был уверен, что, если только я их спасу, они будут готовы положить за меня жизнь.

Уверенность, с какою мой гость ручался за своих товарищей, рассеяла мои сомнения; я решил попытаться выручить их, если возможно, и немедля послать к ним для переговоров испанца в сопровождении старика. Но когда всё уже было готово к их отплытию, сам испанец завёл речь о том, что, по его мнению, нам не следует спешить с осуществлением нашего плана. Он выдвинул при этом соображения настолько благоразумные и так убедительно свидетельствовавшие о его честности, что я не мог не согласиться с ним, и по его совету решил отложить освобождение его товарищей по крайней мере на полгода. Причина, по которой он советовал отсрочить поездку, была весьма серьёзного свойства.

Дело заключалось в том, что, проведя у нас около месяца, испанец за это время успел присмотреться к моей жизни. Он видел, как много мне приходится работать, чтобы удовлетворить свои насущные потребности. Ему было в точности известно, сколько у меня запасено рису и ячменя. Конечно, для меня и Пятницы с избытком хватило бы этого запаса, но уже и теперь, когда моя семья возросла до четырёх человек, его надо было расходовать с большой осмотрительностью. Следовательно, мы и подавно не могли рассчитывать прокормиться, когда у нас прибавится ещё пятнадцать человек его товарищей. А ведь нам надо будет ещё заготовить запасы для дальнего плавания к тому времени, когда мы построим корабль. По всем этим соображениям, мой испанец находил, что прежде, чем выписывать гостей, нам следует обеспечить им пропитание. Вот в чём состоял его план. С моего разрешения, говорил он, они втроём, то есть Пятница, старик-индеец и он сам, возделают новый большой участок земли и высеют всё зерно, какое я смогу уделить для посева; затем мы должны будем дождаться урожая, чтобы хватило хлеба на всех испанцев, которые прибудут сюда; иначе, пере-



бравшись раньше времени на наш остров, они попадут из огня да в полымя, и нужда породит у нас распри. «Вспомните библию, — сказал он в заключение своей речи, — вспомните сынов Израиля: сначала они радовались своему избавлению из плена египетского, а потом, когда в пустыне у них нехватило хлеба, они возроптали на бога, освободившего их».

Я восхищался благоразумной предусмотрительностью моего гостя и горячо радовался тому, что этот рассудительный, благородный человек так предан мне. Его совет был так хорош, что, повторяю, я принял его без колебаний. Не откладывая дела в долгий ящик, мы вчетвером принялись вскапывать новое поле. Работа шла успешно (насколько успешно она могла идти при деревянных орудиях), и через месяц, когда наступило время посева, у нас был большой участок возделанной земли, на котором мы посеяли двадцать два бушеля ячменя и шестнадцать буше-

лей риса, то есть всё, что я мог уделить на посев. Для еды мы оставили себе в обрез ячменя на шесть месяцев, считая с того дня, когда мы приступили к распашке, а не со дня посева, ибо в этих местах от посева до жатвы проходит меньше шести месяцев.

Теперь нас было столько, что дикари могли нам быть страшны лишь в том случае, если бы они нагрянули в очень уж большом числе. Но мы не боялись их и свободно разгуливали по всему острову. А так как все мы были исполнены одной надежды — надежды на скорое освобождение, — то каждый из нас (по крайней мере, могу это сказать о себе) только и думал, что о наилучших путях и способах осуществления этой надежды. Поэтому во время своих скитаний по острову я отметил несколько деревьев, годных для постройки корабля. Я поручил Пятнице и его отцу срубить их, а испанца приставил руководить их работой. Я показал им доски моего изделия, которые я с такой неимоверной затратой сил вытёсывал из больших деревьев, и предложил сделать такие же. Они натесали их около дюжины. Это были крепкие дубовые доски в тридцать пять футов длины, два фута ширины и от двух до четырёх дюймов толщины. Можете судить, какое неимоверное количество труда было положено на эту работу.

В то же время я старался, по возможности, увеличить своё стадо. Для этого двое из нас ежедневно ходили ловить диких козлят; Пятница ходил каждый день, а мы с испанцем чередовались. Заприметив где-нибудь козу с сосунками, мы ловили козлят и пускали их в стадо. Таким образом у нас прибавилось до двадцати голов скота. Затем нам предстояло ещё позаботиться о заготовлении изюма, так как виноград уже созрел. Мы собрали и насушили его в огромном количестве; я думаю, будь мы в Аликанте, где вино делается из изюма, мы могли бы наполнить не менее шестидесяти бочонков. Наряду с хлебом, изюм составлял главную статью нашего питания, и мы очень любили его. Я не знаю более вкусной, здоровой и питательной еды.

За всеми этими делами мы не заметили, как подошло время жатвы. Урожай был не из самых богатых, но всё же настолько обильный, что мы теперь могли приступить к выполнению нашего замысла. С двадцати двух бушелей посеянного ячменя мы получили двести двадцать; таков же, приблизительно, был и урожай риса. Этого количества должно было не только хватить на прокормление до следующей жатвы всей нашей об-



щины (считая с пятнадцатью новыми членами, которых должны были привезти испанец и старик-индеец), но с таким запасом провианта мы могли смело пуститься в плавание и добраться до любой из прибрежных земель Южной Америки.

Убрав и вымолотив хлеб, мы принялись плести большие корзины, чтобы было в чём хранить зерно. Испанец оказался большим искусником в этом деле.

Когда таким образом продовольствие для ожидаемых гостей было припасено, я разрешил испанцу ехать за ними, снабдив его самыми точными инструкциями. Я строго наказал ему не привозить ни одного из своих товарищей, не взяв с него в присутствии старика-индейца клятвенного обещания, что он не только не сделает никакого зла тому человеку, который встретит его на острове, — человеку, стремящемуся освободить его и его соотечественников единственно из благородных побуждений, — но будет защищать этого человека от всяких злокозненных покушений и во всём подчиняться ему, куда бы все они ни попали под его

предводительством. Все эти условия, твердил я испанцу, должны быть изложены на бумаге и скреплены собственноручными подписями всех, кто согласится их принять. Но, толкуя о письменном договоре, мы с испанцем совсем позабыли, что у его товарищей не было ни бумаги, ни чернил, ни перьев!

С этими инструкциями испанец и старый индеец отправились в путь на той самой пироге, на которой они приехали или, вернее, были привезены на мой остров людоедами, собиравшимися съесть их. Я дал им обоим по мушкету, да пороху и пуль приблизительно на восемь зарядов, с наказом расходовать то и другое как можно экономнее, иначе говоря, — стрелять только в случае крайней необходимости.

С какой радостью я снарядил их в дорогу! За двадцать семь с лишним лет моего заточения это была с моей стороны первая серьёзная попытка вернуть себе свободу. Я снабдил своих послов запасом хлеба и изюма, достаточным для них на много дней, а для соотечественников испанца дал продовольствия на неделю. Наконец, наступил день отплытия. Я условился с отъезжающими, что на обратном пути они, подплывая к острову, вывесят какое-нибудь полотнище, по которому я мог бы издали признать их лодку, и они отчалили.

Вышли они при свежем ветре в день полнолуния, в октябре месяце. Я рассчитал это приблизительно, так как, однажды потеряв точный счёт дней и недель, уже не мог его восстановить; я даже не был уверен, правильно ли отмечены годы в моём календаре, но, проверив его впоследствии, убедился, что в годах я не ошибся.

ГЛАВА XX

Уже с неделю ожидал я своих путешественников, как вдруг произошло некое удивительное событие, быть может, беспримерное в истории.

Однажды утром, когда я ещё крепко спал в своей палатке, ко мне вбежал Пятница с громким криком: «Лодка! Лодка!». Я мигом вскочил, наскоро оделся, перелез через ограду и, не предвидя никакой опасности, выбежал в рощу. Повторяю: не думая об опасности (настолько я был уверен, что это возвращается испанец со своими соотечественниками), я, против обыкновения, не взял с собой никакого оружия; но как же я изумился, когда, взглянув в сторону моря, увидел милях в пяти от берега

лодку, совсем непохожую на нашу: то был баркас с боковым парусом; он держал курс прямо на остров и, подгоняемый попутным ветром, быстро приближался. При этом он шёл не от материка, а с южной оконечности острова.

Сделав это открытие, я приказал Пятнице спрятаться в роще; ведь это были не те люди, которых мы ожидали, и я не знал, враги это или друзья.

Затем я вернулся домой и взял подзорную трубу, чтобы лучше разглядеть прибывших. Приставив лесенку к выступу холма, я взобрался на вершину; так я поступал во всех тех случаях, когда хотел произвести разведку и рассмотреть всё вокруг, оставаясь незамеченным.

Взобравшись на холм, я тотчас увидел милях в восьми от моего жилья большой корабль. Он стоял на якоре у юго-восточной оконечности острова. От берега до него было не более пяти миль. Корабль был, несомненно, английский, да и лодка, которую я теперь мог ясно различить, оказалась английским баркасом.

Не могу выразить, в какое смятение меня повергло это открытие. Моя радость при виде корабля, притом английского, радость ожидания близкой встречи с моими соотечественниками, значит, как мне представлялось, друзьями, не поддавалась описанию. А вместе с тем какая-то тайная тревога предостерегала меня от них.

Прежде всего, мне показалось странным, что английский купеческий корабль зашёл в эти места, лежавшие, как мне хорошо было известно, в стороне от всех морских торговых путей англичан. Я знал, что его не могло пригнать бурей, так как за последнее время бурь не было. По какой же причине он зашёл сюда? Если это и были действительно англичане, то вероятнее всего они явились сюда с недобрыми намерениями, и лучше мне было скрываться от них, чем попасть в руки пиратов. Взвесив всё, я решил соблюдать величайшую осторожность. Я остался на холме и продолжал следить за движениями баркаса. Вскоре я увидел, что он приблизился к берегу; судя по всему, сидевшие в нём люди выбирали, где бы лучше пристать. К счастью, они не заметили бухточки, где я когда-то приставал с плотами, а причалили в другом месте, приблизительно в полумиле расстояния от неё; говорю, — к счастью, потому что, высадись они в этой бухточке, они очутились бы, можно сказать, у порога

моей крепости и, наверно, в скором времени вторглись бы туда, выгнали бы меня и, разумеется, обобрали бы до нитки.

Когда баркас причалил, люди вышли на берег, и я мог хорошенько их рассмотреть. Несомненно, это были англичане, по крайней мере, большинство из них. Одного или двух я, правда, принял за голландцев, но, как оказалось потом, ошибся. Всех было одиннадцать человек, причём трое из них, повидимому, были пленниками остальных; я решил так потому, что у этих трёх не было никакого оружия; кроме того, мне показалось, что у них связаны ноги: я видел, как пять человек, выскочившие на берег первыми, вытащили их из баркаса. Один из пленников сильно волновался; судя по движениям его рук, он страстно в чём-то убеждал, о чём-то умолял; он, видимо, был в неописуемом отчаянии. Двое других тоже говорили что-то, воздевая руки к небу, но в общем вели себя спокойнее.

Я был в полнейшем недоумении, не зная, как объяснить себе эту сцену. Вдруг Пятница крикнул мне на своём ломаном английском языке: «О Робин Крузо! Смотри: белые люди тоже едят пленных, совсем-совсем как дикие люди». — «С чего ты взял, Пятница, что они их съедят?» — «Конечно, съедят», — отвечал он с убеждением. — «Нет, нет, ты ошибаешься, — продолжал я, — боюсь, правда, что они их убьют, но можешь быть уверен, есть их они не станут».

Я с ужасом наблюдал разыгрывавшуюся на взморье непонятную драму, ежеминутно ожидая, что на моих глазах совершится кровавое дело. Я увидел даже, как над головой одной из жертв сверкнуло какое-то оружие — сабля или кинжал. Кровь застыла у меня в жилах: я был уверен, что несчастный сейчас свалится мёртвым. Как я жалел в эту минуту, что со мной нет моего испанца и старика, отца Пятницы! Я заметил, что ни у кого из разбойников не было с собой ружей. Будь мы здесь вчетвером, как просто было бы подкрасться к этим злодеям, дать залп и освободить пленных!

Но вскоре мысли мои приняли иное направление. Я увидел, что поиздевавшись над тремя пленниками, негодяи разбежались по острову, желая, вероятно, осмотреть местность. Я заметил также, что пленные остались без надзора. Но они не пытались уйти. Все трое сидели на земле, погружённые в мрачные думы и, повидимому, исполненные глубокого отчаяния.



Это напомнило мне первое время моего пребывания на острове. Точно так же и я сидел на берегу, дико озираясь кругом. Тогда я тоже считал себя обречённым. Какие ужасы мерещились мне в первую ночь, когда я забрался на дерево, боясь, что меня растерзают хищные звери! И как благополучно, вопреки ожиданию, обстоятельства сложились в дальнейшем! Благодаря тому, что разбитый корабль оказался неподалёку от берега, я на долгие годы запасся всем необходимым. А ведь

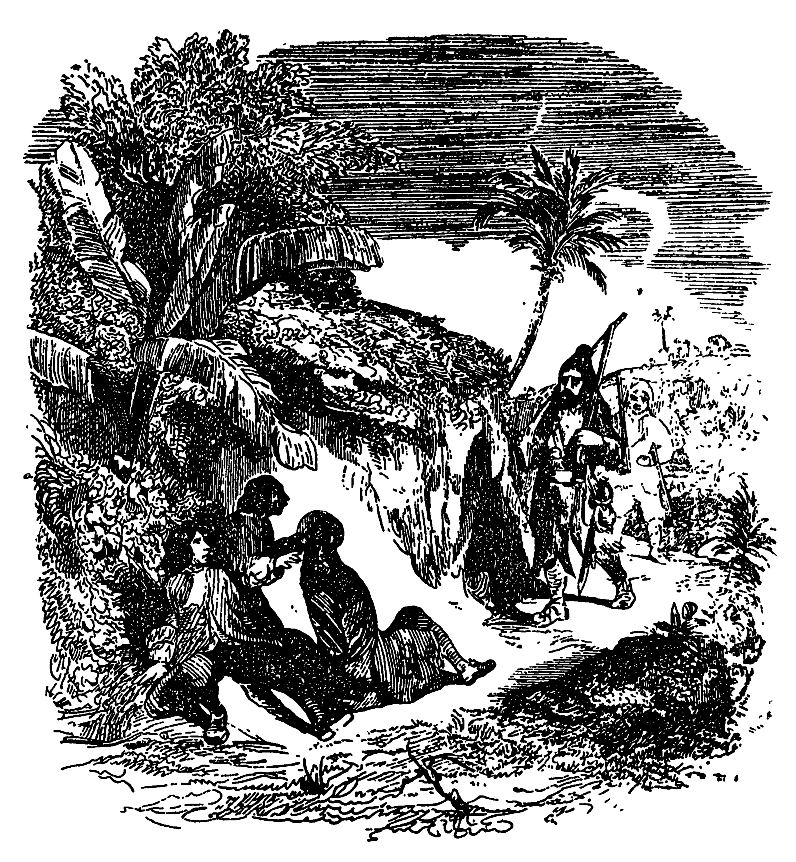
как я отчаивался в первые дни, думая, что гибель неотвратима! Так и эти трое несчастных не знали, что избавление и помощь совсем близко и что в тот самый час, когда они считали себя безвозвратно погибшими, они, в сущности, уже были спасены.

Баркас подошёл к берегу во время прилива, и пока разбойники вели разговоры с тремя пленниками да пока они шныряли по острову, прошло много времени: начался отлив, и баркас очутился на мели. Тут я обнаружил, что в нём оставалось два человека. (Позднее оказалось, что они были пьяны и крепко спали, разлёгшись на дне лодки.) Один из них проснулся и, увидев, что баркас стоит на песке, попытался столкнуть его в воду, но не мог. Он стал скликать остальных. Они сбежались на его крики и принялись ему помогать, но песчаный грунт был такой рыхлый, а лодка такая тяжёлая, что все их старания спустить её на воду не привели ни к чему.

Тогда они, как истые моряки, — а моряки, как известно, самый легкомысленный народ в мире, — бросили баркас и снова разбрелись по острову. Я слышал, как один из них, уходя в глубь леса, громко крикнул другому: «Полно, Джек! Чего там надрываться! Всплывёт с приливом». Это было сказано по-английски, так что теперь уже не оставалось никаких сомнений, что эти люди — мои земляки. Те двое ушли вместе с остальными.

Всё это время я то выходил на свой наблюдательный пост на вершине холма, то сидел, притаившись, в своей крепости и радовался, что я так хорошо её оградил. До начала прилива оставалось не менее десяти часов; к тому времени должно было стемнеть. Тогда, говорил я себе, я смогу незаметно подкрасться к морякам и буду следить за их действиями, а также подслушаю их разговоры и выясню, кто они и каковы их намерения.

Пока что я начал готовиться к бою, но с большой осмотрительностью, так как знал, что теперь буду иметь дело с врагом гораздо более опасным, нежели дикари. Пятнице, который под моим руководством стал превосходным стрелком, я тоже приказал вооружиться. Ему я отдал три мушкета, а себе взял два охотничьих ружья. В своей мохнатой куртке из козьих шкур и такой же шапке, с обнажённой саблей у бедра, двумя



пистолетами у пояса и двумя ружьями за спиной, я имел поистине грозный вид.

Как уже сказано, я сперва решил ничего не предпринимать, покуда не стемнеет. Но часа в два, когда жара стала нестерпимой, я, поднявшись на вершину холма, убедился, что на берегу нет никого из моряков. Вероятно, они дошли до леса, в этом месте вплотную подступавшего к берегу, и там, разморённые зноем, крепко уснули.

Несчастным пленникам было не до сна. Все трое понуро сидели под большим деревом, не более как в четверти мили от меня. Из леса, соображал я, те, другие, не могут их увидеть. Значит, надо, не дожидаясь вечера, показаться пленным и разузнать, кто они такие, что́ с ними приключилось и как они попали сюда. Я тотчас отправился на берег в том

самом фантастическом одеянии, которое только что списал. Пятница шёл за мной на некотором расстоянии. Мой слуга тоже был вооружён до зубов, но всё-таки меньше походил на пугало.

Я совсем близко подкрался к трём пленникам и, прежде чем они успели заметить меня, громко спросил их по-испански: «Кто вы, господа?».

Они вздрогнули от неожиданности и обернулись на голос, но, кажется, ещё больше перепугались, увидя перед собой такое странное существо. Ни один из них не ответил ни слова, и мне показалось, что они собираются бежать. Тогда я заговорил с ними по-английски.

«Господа, — начал я, — не пугайтесь; быть может, вы найдёте друга там, где меньше всего ожидали встретить его». — «Если так, значит вас посылает нам само небо, — ответил мне торжественно один из трёх, снимая шляпу и низко кланяясь мне, — потому что мы не можем надеяться на помощь людей». — «Я с радостью окажу вам всяческую помощь, сударь, — сказал я, — если только вам угодно будет указать чужому человеку, как помочь вам, ибо, судя по всему, вы находитесь в плачевном положении. Я видел, как вы высаживались, видел, как вы о чём-то умоляли приехавших с вами негодяев и как один из них замахнулся кинжалом».

Бедняга залился слезами и пролепетал, весь дрожа: «Кто со мной говорит: человек или бог? Обыкновенный смертный или ангел?» — «Да не смущают вас такого рода сомнения, сударь, — отвечал я, — можете быть уверены, что перед вами простой смертный. Поверьте, если бы бог послал вам на выручку ангела, тот был бы не в таком одеянии и иначе вооружён. Итак, прошу вас, отбросьте ваш страх. Я — самый обыкновенный человек, ваш соотечественник, и полон желания помочь вам. Как видите, нас только двое, я и мой слуга, но у нас есть ружья и заряды. Говорите же прямо: чем мы можем вам служить? Что с вами произошло?

«Слишком долго рассказывать всё, как было, — отвечал он. — Наши злодеи близко. Но вот вам, сударь, вся наша история в немногих словах. Я — капитан корабля; мой экипаж взбунтовался; едва удалось упросить этих людей не убивать меня; наконец, они согласились высадить меня на этот пустынный берег вместе с моим помощником и одним пассажиром; вот они, вы видите их перед собой. Мы были уверены,

что умрём здесь от голода, так как считали эту землю необитаемой». — «Где эти негодяи — ваши враги? — спросил я. — В какую сторону они пошли?» — «Вон они лежат под теми деревьями, сударь, — отвечал капитан, указывая в сторону леса. — У меня сердце замирает от страха при мысли, что они могут увидеть вас и услышать наш разговор; тогда всему конец. Они всех нас перебьют».

«Есть у них ружья?»— спросил я. Он отвечал: «Только два, и ещё одно они оставили в лодке».—«Превосходно,— сказал я,— а теперь всё предоставьте мне. Они крепко уснули; нам было бы нетрудно перебить их всех до единого, но не лучше ли взять их в плен?» На это капитан сказал мне, что между этими людьми есть два отпетых негодяя, которых опасно было бы пощадить; но если отделаться от этих двоих, то остальные, он в этом уверен, образумятся и вернутся к исполнению своих обязанностей. Я попросил его указать мне этих парней; он сказал, что не может узнать их на таком расстоянии, и прибавил, что он отдаёт себя в полное мое распоряжение и будет беспрекословно исполнять все мои приказания. «В таком случае, — продолжал я, — прежде всего отойдём подальше, чтобы не разбудить их, и решим сообща, как нам действовать».

Все трое с полной готовностью последовали за мной. Я увёл их довольно далеко, чтобы мятежники не могли подслушать наш разговор.

«Так вот, сударь, — сказал я, обращаясь к капитану, — я попытаюсь вызволить вас, но сначала я поставлю вам два условия...» Он не дал мне договорить. «Я весь в вашей власти, — сказал он поспешно, — распоряжайтесь мной по своему усмотрению, — и мной, и моим кораблём, если нам удастся отнять его у мятежников; если же это не удастся, то, клянусь честью, — я до конца своих дней буду вашим верным, преданным слугой, последую за вами хоть на край света и, если понадобится, умру за вас». Оба его товарища обещали то же самое.

Тогда я сказал: «Если так, господа, то вот мои условия: во-первых, покуда вы у меня на острове, вы во всём будете повиноваться мне; если я дам вам оружие, вы обязуетесь не злоумышлять ни против меня, ни против моих подчинённых на этом острове; вы будете беспрекословно выполнять все мои распоряжения и возвратите мне оружие по первому моему требованию. Во-вторых, если нам удастся овладеть вашим кораблём, вы бесплатно доставите на нём в Англию меня и моего слугу».

Капитан заверил меня всеми клятвами, какие только может придумать человеческий ум, что он исполнит эти вполне справедливые требования и, кроме того, всегда и при всех обстоятельствах будет помнить, что обязан мне спасением своей жизни.

«Значит к делу, господа! — сказал я. — Прежде всего, вот вам три мушкета, порох и пули. А теперь говорите, чтó, по вашему мнению, нам следует предпринять». Но капитан опять рассыпался в изъявлениях благодарности и объявил, что роль предводителя по праву принадлежит мне. Тогда я заявил: «Я считаю, что нам надо действовать решительно. Подкрадёмся к ним, покуда они спят, и дадим по ним залп; предоставим судьбе решать, кому быть убитым нашими выстрелами и кому остаться в живых. Если же те, что уцелеют, сдадутся, их можно будет пощадить».

На это капитан робко возразил, что ему не хотелось бы проливать столько крови и что, если можно, он предпочёл бы этого избежать, но что два неисправимых негодяя, настоящих висельника, по словам капитана, поднявшие мятеж на корабле и увлёкшие за собой остальных, поставят нас в опасное положение, если ускользнут и вернутся на корабль, потому что они приведут сюда весь экипаж и перебьют всех нас. «Значит, тем более необходимо принять мой совет и дать залп, — сказал я тогда: — для нас это единственное средство спастись». Заметив, однако, что капитан всё ещё колеблется, страшась кровопролития, я сказал ему, чтобы он со своими товарищами пошёл вперёд и поступал, как знает.

Пока у нас шли эти переговоры, матросы начали просыпаться, и вскоре я увидел, что трое из них поднялись. Я спросил капитана, не это ли зачинщики бунта. «Нет», — ответил он. «Так пусть уходят с миром: не будем им препятствовать, — сказал я, — раз сама судьба даёт им возможность спастись. Но уж если вы дадите ускользнуть остальным, пеняйте потом на себя!»

Эти слова заставили капитана принять решение; он схватил мушкет, заткнул за пояс пистолет и ринулся вперёд в сопровождении обоих своих товарищей, тоже вооружившихся мушкетами. Один из проснувшихся матросов обернулся на шум их шагов и, увидев в их руках оружие, поднял тревогу. Но было уже поздно: в ту минуту, как он закричал, грянуло два выстрела. Стреляли помощник капитана и пассажир,



сам же капитан приберегал свой заряд. Стрелявшие не дали промаха: один матрос был убит наповал, другой тяжело ранен. Раненый вскочил на ноги и стал звать на помощь. Но тут к нему подошёл капитан и воскликнул: «Теперь уже поздно! Не жди помощи ниоткуда! Вот, получай возмездие за своё предательство!» С этими словами капитан прикончил его ударом приклада по голове. Оставалось ещё трое, из которых один был легко ранен.

Тут подошёл я. Поняв, что сопротивление бесполезно, наши противники запросили пощады. Капитан ответил, что он готов их пощадить, если они на деле докажут ему, что каются в своём вероломстве, и поклянутся помочь ему овладеть кораблём и отвести его обратно на Ямайку, откуда они отплыли. Они наперебой стали заверять его в искренности своего раскаяния и обещали беспрекословно повиноваться ему.

Капитан был склонен удовлетвориться их обещаниями и пощадить их жизнь. Я не противился этому, но только потребовал, чтобы в течение всего пребывания на моём острове они оставались связанными по рукам и ногам.

Пока всё это происходило, я отрядил Пятницу и помощника капитана к баркасу, приказав им снять с него мачту, парус и вёсла. Тем временем появились ещё три матроса, повидимому, зашедшие, к счастью для них, в глубь леса; услыхав выстрелы, они воротились и, увидев, что капитан из пленника превратился в победителя, даже не попытались сопротивляться. Они покорно дали себя связать. Итак, мы одержали полную победу.

ГЛАВА XXI

Теперь капитану и мне оставалось только поведать друг другу наши приключения. Я начал первый и рассказал ему всю мою историю, которую он выслушал с жадным вниманием, изумляясь чудесной случайности, благодаря которой я остался жив. Мой рассказ глубоко взволновал его. От моей необычайной судьбы мысль его естественно перенеслась к его собственным мытарствам. Ему казалось, что я был сохранён здесь провидением для спасения его жизни; из глаз его хлынули слёзы, и он ни слова больше не мог выговорить.

После этого я пригласил его и обоих его спутников к себе в крепость, куда мы вошли моим обычным путём, то есть приставив к ограде лесенку. Я предложил моим гостям подкрепиться тем, что у меня было, а затем показал им своё домашнее хозяйство со всеми хитроумными приспособлениями, какие были сделаны мною за долгие, долгие годы моей одинокой жизни.

Они изумлялись всему, что я им показывал, всему, что они от меня узнавали. Но капитана больше всего поразили воздвигнутые мной укрепления и то, как искусно моё жильё было скрыто в лесной чаще. Я объяснил моим новым знакомым, что эта крепость — главная моя резиденция, но что, как у всех владетельных особ, у меня есть и другая — летний дворец (так я называл свою лесную дачу). Я обещал показать им его в другой раз, теперь же нам прежде всего следовало решить, как отвоевать у разбойников корабль.

Капитан вполне согласился со мной, но прибавил, что он не представляет себе, как взяться за это дело, ибо на корабле осталось двадцать шесть человек экипажа. Так как все они — участники мятежа, то есть тяжкого преступления, за которое по английским законам полагается смертная казнь, то они будут сопротивляться до последней крайности. Им хорошо известно, что стóит им только сдаться, и они будут повешены тотчас по прибытии в Англию или в какую-нибудь из английских колоний. Можно себе представить, продолжал капитан, с какой яростью они будут драться, зная, что̀ им угрожает. Поэтому, сказал он в заключение, немыслимо вступить с ними в бой, располагая такими ничтожными силами. Его доводы показались мне очень вескими. И всё же медлить не приходилось. Надо было тотчас принять то или иное решение. Либо постараться хитростью заманить мятежников на остров и ошеломить их неожиданным нападением, либо помешать им высадиться и перебить нас.

Тут меня пронизала мысль, что вскоре экипаж корабля начнёт тревожиться за судьбу баркаса и его команды и, наверно, отправит на берег других людей разыскать их. На этот раз они, должно быть, явятся вооружённые, и тогда нам не справиться с ними. Капитан счёл моё предположение весьма вероятным и тревожно спросил: «Что же нам делать?»

Я ответил, что, по-моему, нам прежде всего следует позаботиться о том, чтобы разбойники не могли увести обратно баркас, на котором приехала первая партия, а для этого надо поскорее сделать его непригодным к плаванию. Мы тотчас отправились на баркас, сняли с него оружие, пороховницу, две бутыли — одну с водкой, другую с ромом, — мешок сухарей и большой кусок сахару, завёрнутый в парусину. Я очень обрадовался этой добыче, особенно водке и сахару: ни того, ни другого я не пробовал уже много, много лет.

Вытащив на берег весь этот груз (как я уже говорил, мачта, вёсла, парус и руль были убраны раньше), мы пробили в днище баркаса большую дыру. Таким образом, если бы нам и не удалось одолеть неприятеля, он, по крайней мере, не мог бы забрать у нас свою лодку. Сказать по правде, я и не надеялся, чтобы нам посчастливилось захватить в свои руки корабль; но что касается баркаса, то починить его было бы совсем нетрудно, а на таком судне можно было добраться до Подвет-

ренных островов[1], посетив по дороге наших друзей-испанцев, о которых я не забывал.

Общими силами оттащив баркас на такое место, куда не достигал прилив, и пробив в днище дыру, которую нельзя было быстро заделать, мы присели отдохнуть и посоветоваться, чтó нам делать дальше. Но не успели мы приступить к совещанию, как до нашего слуха донесся пушечный выстрел, и на корабле замахали флагом. Это был, очевидно, призывный сигнал для баркаса. Баркас, как и следовало ожидать, не тронулся с места. Немного погодя раздался второй выстрел, а за ним — ещё несколько. Сигналить флагом тоже продолжали; но все эти сигналы и выстрелы оставались без ответа, и баркас всё не двигался. Наконец, с корабля спустили шлюпку (всё это мы наблюдали в подзорную трубу). Шлюпка направилась к берегу, и, когда она подошла ближе, мы увидели, что в ней было не менее десяти человек, и все с ружьями.

От корабля до берега было около шести миль, так что мы могли с помощью подзорной трубы рассмотреть сидевших в шлюпке людей. Мы различали даже их лица. Течением шлюпку относило немного восточнее того места, куда мы оттащили баркас; поэтому матросы гребли вдоль берега, совсем близко от него, чтобы пристать именно к тому месту, где он стоял.

Таким образом, повторяю, мы отчётливо видели лицо каждого моряка. Капитан всех их узнавал и тут же охарактеризовал мне всех их, одного за другим. По его словам, между ними было три хороших парня. Он был уверен, что их вовлекли в заговор против их воли, вероятно, угрозами; зато боцман и все остальные были, по его отзыву, отъявленные мерзавцы. «Они отлично знают, какое тяжкое преступление совершили, — прибавил капитан, — и будут драться с мужеством отчаяния. Страх берёт при мысли, как они расправятся с нами», — мрачно закончил он.

Я улыбнулся и сказал, что люди, находящиеся в таком бедственном положении, как наше, не вправе поддаваться страху; хуже, чем сейчас, нам уж никак не будет. Следовательно, любой выход из этого положе-

---

[1] Подветренные острова — группа островов, принадлежащих к Малым Антильским (Гваделупа, Мартиника и др.).

ния, даже смерть, мы должны считать избавлением. Я напомнил ему, с каким волнением он выслушал рассказ о моей жизни, и спросил его — неужели он не находит, что мне стóит рискнуть жизнью ради своего спасения из неволи. Я всячески старался вдохнуть в него бодрость. «Где же, сударь, — сказал я, наконец, — ваша уверенность в том, что я сохранён здесь провидением для спасения вашей жизни, — уверенность, которую вы так красноречиво выражали каких-нибудь два-три часа назад?»

Я говорил бодрым, решительным тоном, с весёлым лицом. Моя уверенность передалась капитану, и мы энергично принялись за дело. Мы заблаговременно, как только с корабля была спущена шлюпка, позаботились о том, чтобы разлучить наших пленников и хорошенько запрятать их. Двоих, как самых ненадёжных (так, по крайней мере, о них отзывался капитан), я отправил под конвоем Пятницы и помощника капитана в свою пещеру. Это было достаточно укромное место, откуда крики узников не могли донестись до берега, как бы громко они не вопили. Убежать из пещеры им тоже было нелегко, так как едва ли они нашли бы единственную тропинку в лесу, окружавшем мою крепость. Мы снабдили их едой и предупредили, что если они будут вести себя смирно, то через день-два их освободят, но зато при первой же попытке бежать убьют без всякой пощады. Затем их снова связали. Они обещали терпеливо переносить своё заключение и очень благодарили за то, что их не оставили без пищи и позаботились, чтоб они не сидели впотьмах, — Пятница дал им несколько наших самодельных свечей. Они были уверены, что Пятница остался караулить у входа в пещеру.

С четырьмя остальными матросами мы, посовещавшись, поступили менее сурово. Правда, двоих мы оставили пока связанными, так как капитан за них не ручался, но двух других я, по рекомендации капитана, принял к себе на службу, и они торжественно поклялись быть мне верными, преданными помощниками.

Итак, считая этих двоих и капитана с двумя его товарищами, нас было теперь семеро хорошо вооружённых людей, и я не сомневался, что мы управимся с теми десятью, которые подплывали к берегу, тем более, что в числе их, по словам капитана, были три или четыре честных парня.

Подойдя к острову в том месте, где мы оставили баркас, они причалили, вышли из шлюпки и вытащили её на берег, чему я был очень рад.

Признаться, я боялся, что они из предосторожности станут на якорь, не доходя до берега, и что часть людей останется караулить шлюпку: тогда мы не могли бы её захватить.

Выйдя на берег, вновь прибывшие первым делом бросились к баркасу, и легко представить себе их изумление, когда они увидели, что с него исчезли все снасти и весь груз и что в днище зияет огромная дыра.

Потолковав между собой по поводу этого неприятного сюрприза, они принялись громко звать своих товарищей, столь таинственно исчезнувших с баркаса. Они долго орали изо всех сил, но вокруг всё было тихо. Тогда они стали в кружок и по команде дали залп из ружей. По лесу раскатилось гулкое эхо, но и от этого их дело нимало не подвинулось вперёд; пленники, сидевшие в пещере, ничего не могли услышать, а если бы и услышали, то их ответные крики не донеслись бы до взморья. А те, что сопровождали нас, хоть и слышали, но откликнуться не смели.

Мятежники были так поражены исчезновением своих товарищей, что (так они сами сказали нам потом) решили вернуться на корабль с донесением, что баркас продырявлен, а люди, вероятно, все перебиты. Мы видели, как они торопливо спустили на воду свою шлюпку и сели в нее.

Капитан, который до сих пор всё надеялся, что нам удастся захватить корабль, теперь совсем упал духом. Он боялся, что, узнав об исчезновении команды баркаса, уцелевшие моряки решат тотчас сняться с якоря и корабль будет навсегда потерян для него!

Скоро у капитана явился новый повод для тревоги. Шлюпка с людьми не отошла и четверти мили от берега, как мы увидели, что она возвращается: должно быть, посоветовавшись между собой, матросы изменили свои планы. Мы продолжали наблюдать. Причалив к берегу, они оставили в шлюпке трёх человек, а остальные семеро вышли и отправились в глубь острова, очевидно, на розыски пропавших.

Дело принимало невыгодный для нас оборот. Даже если бы мы захватили тех семерых, что высадились на берег, это не принесло бы нам никакой пользы, раз мы тем временем упустили бы шлюпку с тремя остальными: вернувшись на борт, эти трое всё равно расскажут о таинственном происшествии, корабль выйдет в море, и тогда — прощай все надежды, все смелые замыслы!

Как бы то ни было, нам оставалось только терпеливо выжидать, чем всё это кончится. После того как семь человек вышли на взморье,

шлюпка с тремя остальными отошла на порядочное расстояние от берега и стала на якорь, лишив нас, таким образом, возможности захватить её и оставшихся в ней матросов.

Семеро разведчиков, держась плотной кучкой, стали подыматься на холм, под выступом которого было моё жильё. Нам было отлично их видно, но они не могли видеть нас. Мы всё ждали, не подойдут ли они поближе, тогда мы могли дать по ним залп, — или не уйдут ли, напротив, подальше, тогда мы могли бы выйти из нашего убежища.

Но, добравшись до гребня холма, откуда открывался вид на всю северо-восточную часть острова, спускавшуюся к морю отлогими лесистыми долинами, они остановились и снова принялись кричать и аукать, покуда не охрипли. Наконец, боясь, должно быть, удаляться от берега и друг от друга, они уселись под деревом и стали совещаться. Нам оставалось только надеяться, что они заснут, как те, что приехали на баркасе; тогда наше дело было бы выиграно. Но страх не располагает ко сну, а эти люди, видимо, сильно тревожились, хотя не знали, какая им грозит опасность и откуда она может прийти.

Тут капитану пришла в голову довольно дельная мысль. «Возможно, — сказал он, — что эти матросы снова попытаются дать сигнал своим пропавшим товарищам и с этой целью все разом выстрелят из ружей Что если мы бросимся на них в ту самую минуту, когда они дадут залп и, следовательно, их ружья будут разряжены? Тогда они вынуждены будут сдаться, и дело обойдётся без кровопролития.

План был недурён, но привести его в исполнение можно было только при том условии, что мы будем на достаточно близком расстоянии от моряков в тот момент, когда они дадут залп, и успеем добежать до них прежде чем они снова зарядят ружья. Но неприятель был далеко от нас, да и не думал стрелять. Прошло много времени. Мы всё сидели в засаде, не зная, на что решиться. Наконец, я сказал, что, по моему мнению, мы ничего не можем предпринять до наступления ночи. Если же к тому времени эти семеро не вернутся на берег, тогда мы в темноте незаметно проберёмся к морю, и, может быть, нам удастся какой-нибудь хитростью выманить из шлюпки тех троих, что остались в ней.

Время тянулось нестерпимо медленно. Наши враги не трогались с места. Нам казалось, что их совещанию не будет конца, как вдруг они все разом вскочили и быстрым шагом направились прямо к морю. Дол-

жно быть, страх перед неведомыми опасностями, подстерегавшими их на острове, где так таинственно исчезли их товарищи, оказался сильнее дружеских чувств; они решили бросить всякие поиски, воротиться на корабль и продолжать плавание.

Когда я увидел, что они направляются к берегу, я сразу понял, что они надумали. Я поделился своими опасениями с капитаном, и тот пришёл в совершенное отчаяние. Он уже не надеялся вернуть себе корабль. Но тут у меня внезапно сложился план, направленный к тому, чтобы заставить неприятеля воротиться. Мне удалось выполнить его как нельзя лучше.

Я приказал Пятнице и помощнику капитана идти от бухточки на запад, к месту, где несколько лет назад высадились дикари в день освобождения Пятницы, а затем, пройдя ещё с полмили, подняться на пригорок и кричать изо всей мочи, пока мятежники их не услышат; когда же те откликнутся, перебежать на другое место и снова кричать, и, таким образом, постоянно меняя места, заманивать врагов всё дальше и дальше в глубь острова, пока они не заплутаются в лесу; а тогда Пятница и его спутник должны были окольными путями, которые я им указал, вернуться ко мне.

Матросы уже садились в шлюпку, когда со стороны бухточки раздался крик Пятницы и помощника капитана. Они сейчас же откликнулись и пустились бежать вдоль берега, на голос; но, добежав до бухточки, они принуждены были остановиться, так как было время прилива, и вода в бухточке стояла очень высоко. Посоветовавшись между собой, они крикнули тем, кто оставался в шлюпке, чтобы те подплыли и перевезли их на другой берег. На это-то я и рассчитывал.

Матросы переправились и пошли дальше, прихватив с собой ещё одного человека. Таким образом, в шлюпке осталось только двое. В подзорную трубу я увидел, как они отвели её в самый конец бухточки и привязали там к дереву.

Всё складывалось как нельзя лучше для нас. Предоставив Пятнице и помощнику капитана дальше делать своё дело, я скомандовал остальному отряду следовать за мной. Переправившись через бухточку незаметно для двух матросов, оставшихся стеречь шлюпку, мы неожиданно появились перед ними. Один матрос сидел в шлюпке, другой лежал на берегу и дремал. Увидев нас в трёх шагах от себя, он сделал было дви-

жение, чтобы вскочить, но капитан, шедший во главе нашего отряда, бросился на него и хватил его прикладом. Затем, не давая другому матросу опомниться, он крикнул ему: «Сдавайся, или ты умрёшь!»

Не требуется большого красноречия, чтобы убедить человека сдаться, когда он видит, что он один против пятерых, и когда, вдобавок, единственный его союзник только что свалился замертво у него на глазах. К тому же, этот матрос был как раз одним из тех трёх парней, о которых капитан говорил, что они примкнули к заговору не по своей охоте, а под влиянием угроз. Поэтому он не только сдался по первому требованию, но и тут же заявил о своём желании, повидимому, вполне искреннем, перейти на нашу сторону.

Тем временем Пятница с помощником капитана так ловко продолжали морочить остальных мятежников, что лучше нельзя было и желать. Аукая и откликаясь на ответные крики матросов, они водили их по всему острову, от холма к холму, по лесам и рощам, покуда не завели их в дальние места, откуда не было никакой возможности выбраться на взморье до наступления ночи. О том, как они измучили неприятеля, можно было судить по тому, что и сами они вернулись в крепость, еле волоча ноги.

Теперь нам оставалось только подкараулить в темноте, когда моряки будут возвращаться, и, ошеломив их неожиданным нападением, расправиться с ними, не подвергая себя большому риску.

Прошло несколько часов со времени возвращения Пятницы и его товарища, а люди, блуждавшие в лесу, всё не показывались. Наконец, мы услышали их голоса. Передний кричал задним, чтобы они поторопились, а те сердито отвечали, что не могут прибавить шагу, потому что совсем сбили себе ноги и падают от усталости. Нам было очень приятно слышать это.

Наконец, они подошли к тому месту, где оставили шлюпку. Нужно сказать, что за эти несколько часов начался отлив, и шлюпка, которая, как я уже говорил, была привязана к дереву, очутилась на берегу. Невозможно описать что сталось с матросами, когда они увидели, что шлюпка стоит на мели, а люди, бывшие в ней, исчезли. Мы слышали, как они проклинали свою судьбу, вопя, что остров заколдован, что здесь хозяйничают разбойники или черти и что, повидимому, всех, кто сюда попадает, ждёт страшная участь: либо их убивают разбойники,

либо их уносит нечистая сила. Несколько раз они принимались кликать обоих своих товарищей, ныне наших пленников, называя их по именам, но, разумеется, не получали ответа. При тусклом свете догоравшего дня нам было видно, как они то бегали, ломая руки, то, утомившись этой беготнёй, в безысходном отчаянии бросались в шлюпку, то снова выскакивали на берег и опять шагали взад и вперёд, и так без конца.

Мои люди просили у меня разрешения напасть на неприятеля, как только стемнеет. Но я хотел избежать ненужного кровопролития, а главное, — я знал, как хорошо вооружены наши противники, и не хотел рисковать жизнью своих верных помощников. Поэтому я решил подождать, не разделятся ли силы неприятеля, а чтобы вó-время захватить врагов, я придвинул свою засаду к шлюпке. Пятнице с капитаном я приказал красться ползком, чтобы мятежники не заметили их, и стрелять в упор, как только я скомандую.

Пятница и капитан ползли недолго; на них едва не наткнулись отделившиеся от остальных два матроса и боцман, который, как уже сказано, был главным зачинщиком бунта, но теперь отчаялся и растерялся больше всех остальных. Услышав его голос, капитан пришёл в неистовство, — ведь боцман был главным виновником всех его бедствий. С трудом совладав с собой, капитан подождал, пока боцман подошёл совсем близко, удостоверился, что это он, вскочил на ноги и в упор выстрелил в него.

Боцман был убит наповал, другой матрос — ранен в грудь навылет. Он тоже свалился, как сноп, но умер только часа через два. Третий матрос убежал.

Услышав выстрелы, я тотчас двинул вперёд главные силы своей армии, численность которой, считая с авангардом, достигала теперь восьми человек. Вот её полный состав: я — главнокомандующий; Пятница — генерал-лейтенант; затем капитан с двумя его друзьями и трое военнопленных, которых мы под поручительство капитана приняли в число рядовых и вооружили ружьями.

Мы подошли к неприятелю, когда уже совсем стемнело, чтобы он не мог разобрать, сколько нас. Я приказал матросу, которого мятежники днём оставили в шлюпке и который, как я уже упоминал, добровольно примкнул к нам, окликнуть по именам своих бывших товарищей. Прежде чем стрелять, я хотел попытаться вступить с ними в переговоры и, если

только возможно, покончить дело миром. Мой расчёт вполне оправдался, что, впрочем, и понятно: наши враги очутились в таком положении, что им оставалось только сдаться. Итак, мой парламентёр заорал во всё горло: «Том Смит! Том Смит!». Том Смит сейчас же откликнулся: «Кто это? Ты, Миллс?» Он, очевидно, узнал его по голосу. Миллс отвечал: «Да, да, это я. Бога ради, Том, бросай оружие и сдавайся, а не то через минуту всех нас прикончат». — «Кому же нам сдаваться? Где эти люди?» — прокричал опять Том Смит. «Здесь! — откликнулся Миллс. — Здесь наш капитан и с ним пятьдесят человек. Вот уже два часа как они гоняются за вами. Боцман убит, Уилл Фрей ранен, а я попал в плен. Если вы не сдадитесь сию же минуту, вы все погибли».

«А нас помилуют, если мы сдадимся?» — спросил Том Смит. «Сейчас я спрошу капитана», — отвечал Миллс. Тут вступил в переговоры сам капитан. «Эй, Смит, и все вы там! — закричал он громовым голосом. — Вы узнаёте мой голос? Если вы немедленно положите оружие и сдадитесь, я обещаю вам пощаду, — всем, кроме Уилла Аткинса». — «Капитан, ради бога смилуйтесь надо мной! — взмолился Уилл Аткинс. — Чем я хуже других? Все мы одинаково виноваты». К слову сказать, это была ложь, потому что, когда начался бунт, Уилл Аткинс первый бросился на капитана, осыпая его оскорбительнейшей бранью, и связал ему руки. Капитан сказал ему, чтоб он сдавался без всяких условий, а там уж пусть правитель острова решает, жить ему или умереть. «Правителем» капитан и все люди его отряда величали меня.

ГЛАВА XXII

Итак, бунтовщики сложили оружие и стали умолять о пощаде. Наш парламентёр и ещё два человека, по моему приказанию, связали их всех, после чего моя грозная армия в пятьдесят воинов (на самом деле, вместе с тремя пленными, их было ровным счётом восемь) окружила их и завладела их шлюпкой. Сам я и Пятница, однако, не показывались пленным по некоторым важным соображениям.

Капитан обратился к бунтовщикам с речью, в которой клеймил позором их преступное поведение по отношению к нему и те мерзкие дела, которые они задумали, но ещё не успели осуществить. Из его слов мне стало ясно, что они хотели заняться морским разбоем, грабить встреч-

ные суда. Он дал им понять, что такие дела к добру не приводят и что, пожалуй, их ожидает виселица.

Преступники каялись, повидимому, от чистого сердца и молили только об одном — чтобы у них не отняли жизнь. Капитан ответил им, что это не в его власти.

«Вы не мои пленники, — сказал он, — ваша жизнь в руках правителя острова; вы были уверены, что высадили нас троих на пустынный необитаемый берег, но провидению угодно было направить вас к населённому месту, правителем которого является англичанин. Он мог бы, — закончил капитан, — всех вас повесить, если бы только захотел; однако ему угодно было помиловать вас, и, по всей вероятности, он отправит вас в Англию, где с вами будет поступлено по закону. Но Уиллу Аткинсу губернатор приказал готовиться к смерти: он будет повешен завтра поутру».

Всё это капитан, разумеется, выдумал, но его выдумка возымела должное действие. Аткинс упал на колени, умоляя капитана ходатайствовать за него перед «всемогущим правителем», остальные тоже стали униженно просить, чтобы их не отправляли в Англию.

«Наконец-то, — сказал я себе, — настал час моего освобождения. Эти парни поверили, что их жизнь в моих руках, и теперь нетрудно будет убедить их пойти на всё, чтобы помочь мне и капитану овладеть кораблём».

Отойдя подальше, под деревья, чтобы они не могли рассмотреть, какой нелепый вид у грозного правителя острова, я велел одному из наших людей позвать капитана. Моё приказание тотчас было выполнено. На громкий возглас: «Капитан, вас требует к себе правитель острова», — последовал ответ: «Передай его светлости, что я сейчас явлюсь».

Это подействовало ошеломляюще: все пленные решили, что губернатор со своей армией в пятьдесят человек где-то совсем близко.

Когда капитан подошёл ко мне, я сообщил ему свой план овладения кораблём. Он пришёл в восторг и решил привести этот план в исполнение на другой же день. Но чтобы успешно выполнить это опасное предприятие, я посоветовал капитану прежде всего разделить пленных. По моему мнению, Аткинса и двух других отпетых негодяев следовало связать по рукам и ногам и засадить в пещеру, где уже сидели два уз-



ника. Отвести их туда я поручил Пятнице и тем двум спутникам капитана, которых бунтовщики высадили на берег вместе с ним.

Они отвели этих трёх пленных в мою пещеру, словно в тюрьму, да она и в самом деле имела довольно мрачный вид, особенно для людей в их положении. Остальных я отправил на свою лесную дачу. Высокая ограда делала эту дачу тоже достаточно надёжным местом заточения, тем более, что узники были связаны и знали, что от их поведения зависит их участь.

На другой день я послал к ним для переговоров капитана. Я поручил ему разведать, каковы истинные чувства этих людей и можем ли мы быть уверены в том, что они не предадут нас, если мы попытаемся с их помощью овладеть кораблём. Капитан снова обратился к ним с речью. Он напомнил им о том, как злодейски поступили с ним, и ярко изобра-

зил их плачевное положение. Он сказал им, что хотя правитель острова и помиловал их своей властью, но по прибытии в Англию они несомненно будут повешены; если же, однако, — объявил он в заключение, — они помогут ему, капитану, осуществить справедливое начинание, — отвоевать у остальных мятежников свой корабль, то правитель острова испросит для них прощение.

Нетрудно догадаться, с какой готовностью это предложение было принято людьми, уже почти отчаявшимися в своём спасении. Они бросились к ногам капитана и клятвенно обещали остаться верными ему до последней капли крови, заявив, что, если он исходатайствует им прощение, они всю свою жизнь будут считать себя неоплатными его должниками, будут чтить его, как родного отца, и пойдут за ним хоть на край света. «Ладно, — сказал им тогда капитан, — всё это я передам правителю, и со своей стороны буду ходатайствовать за вас перед ним». Затем он отдал мне отчёт в том, как он исполнил моё поручение, добавив, что, по его искреннему убеждению, можно вполне положиться на верность этих людей.

Но для большей надёжности я предложил капитану возвратиться к матросам, взять из них пятерых и сказать им, что мы не нуждаемся в людях и что только во внимание к ходатайству капитана я назначаю этих пятерых ему на подмогу; остальные же двое вместе с теми тремя, что сидят в крепости, останутся у правителя острова в качестве заложников, если те пятеро изменят своей клятве, то все заложники будут повешены на взморье.

Это строгое решение показало пленным, что с правителем острова шутки плохи. Волей-неволей им пришлось принять мои условия. Теперь внушить этим людям, чтобы они не изменили своей клятве, было уже делом заложников и капитана.

Итак, мы располагали теперь следующими боевыми силами: во-первых, капитан, его помощник и пассажир; во-вторых, двое пленных из первой партии, которым, под поручительство капитана, я возвратил свободу и оружие; в-третьих, ещё двое пленных, которых я накануне отправил связанными на дачу и которым теперь, по просьбе капитана, предоставил некоторую свободу; в-четвёртых, пятеро матросов, освобождённых в последнюю очередь Итого — двенадцать человек, кроме тех пятерых, которые остались в пещере заложниками.

Я спросил капитана, находит ли он возможным атаковать корабль с этими силами. Что касается меня и Пятницы, то нам никак нельзя было отлучиться: у нас на руках оставалось семь человек, которых нужно было держать порознь, стеречь и кормить, так что дела было довольно.

Пятерых заложников, посаженных в пещеру, я решил держать строго. Два раза в день Пятница носил им еду и питьё; двум другим пленным Пятница ставил еду в некотором расстоянии от дачи, и они сами брали её.

Этим двум заложникам я, наконец, показался; я пришёл к ним в сопровождении капитана. Он сказал им, что я — доверенное лицо правителя, который поручил мне надзор за военнопленными, что поэтому без моего разрешения они не имеют права никуда отлучаться и что при первой же попытке бежать их закуют в кандалы и посадят в крепость. Так как я ещё ни разу не изображал перед ними правителя острова, то мне нетрудно было играть роль доверенного, и я наговорил им всяких небылиц о могущественном правителе, сильном гарнизоне, неприступной крепости, и прочее и прочее.

Теперь капитану оставалось только велеть заделать дыру в баркасе, затем снова оснастить его и, наконец, распределить своих людей между баркасом и шлюпкой. Командиром шлюпки он назначил своего пассажира и отдал в его распоряжение четырёх человек. Сам же он, его помощник и пятеро матросов сели в баркас. С починкой и оснасткой справились так быстро, что баркас отчалил вечером и в полночь уже подошёл к кораблю. Капитан велел Миллсу окликнуть экипаж и сказать, что он привёз людей и шлюпку, но что их долго пришлось разыскивать; затем Миллс стал рассказывать разные небылицы. Пока он таким образом отвлекал внимание людей на корабле, баркас причалил к борту. Капитан с помощником первые вбежали на палубу с оружием в руках; ударами прикладов они сшибли с ног второго помощника капитана и корабельного плотника. При дружной поддержке своего отряда, капитан взял в плен всех, кто находился на палубе и на шканцах, а затем приказал запереть люки, чтобы задержать внизу остальных. Подоспевшая тем временем шлюпка пристала к носу корабля; её команда быстро заняла ход в корабельную кухню и взяла в плен еще трёх человек.

Очистив от неприятеля палубу и шканцы[1], капитан приказал своему верному помощнику взять трёх матросов и взломать дверь рубки, которую занимал новый капитан, выбранный бунтовщиками. Тот, услыхав шум на палубе, приготовился к вооружённому отпору; с ним в рубке находились два матроса и юнга. Когда помощник капитана со своими людьми высадил дверь рубки, самозванный капитан и его приверженцы выстрелили в них. Помощнику капитана раздробило пулей руку; два матроса тоже были ранены, но никто не был убит.

Помощник капитана позвал на помощь. Несмотря на свою рану, он ворвался в каюту и прострелил самозванному капитану голову; пуля уложила мятежника на месте. Тогда весь экипаж сдался, и больше не было пролито ни капли крови.

Когда всё было кончено, капитан приказал произвести семь пушечных выстрелов. Это был условный знак, которым он должен был дать мне знать об успешном окончании дела. Я просидел на берегу до двух часов ночи, поджидая этого сигнала; судите сами, с каким облегчением я вздохнул, когда грянул первый выстрел.

Ясно услышав все семь выстрелов, я лёг и, крайне утомлённый всеми волнениями этого дня, крепко уснул. Меня разбудил новый выстрел. Я мгновенно вскочил и услышал, что кто-то зовёт меня: «Правитель! Дорогой правитель!». Я сейчас же узнал голос капитана. Он стоял на холме над моей крепостью. Я живо поднялся к нему, он заключил меня в свои объятия и, указывая на море, сказал: «Мой бесценный друг! Мой избавитель! Вот ваш корабль! Он ваш со всем, что на нём, и со всеми нами». Взглянув на море, я действительно увидел корабль, стоявший теперь всего в полумиле от берега. Восстановив себя в правах командира, капитан тотчас приказал сняться с якоря и, пользуясь попутным ветерком, подошёл к той бухточке, где я когда-то причаливал со своими плотами; дождавшись прилива, он тотчас на ялике вошёл в бухточку, высадился и стремглав примчался ко мне.

Увидев корабль, так сказать, у порога моего дома, я от неожиданной радости чуть не лишился чувств. Пробил, наконец, час моего избавления! Если можно так выразиться, я уже осязал свободу. Все препят-

[1] **Шканцы** — площадка на верхней палубе судна.



ствия были устранены; к моим услугам был большой корабль, готовый доставить меня, куда я только захочу. От волнения я не мог вымолвить ни слова: язык не слушался меня. Если бы капитан не поддерживал меня своими сильными руками, я упал бы на землю.

Заметив, в каком я состоянии, капитан достал из кармана пузырёк с каким-то лекарством, которое он захватил нарочно для меня, и дал мне выпить глоток; затем он осторожно посадил меня на землю. Я немного пришёл в себя, но долго ещё не в силах был говорить.

Капитан и сам не мог опомниться от радости, хотя для него она уже не была такой неожиданной, как для меня. Он успокаивал меня, как малого ребёнка, и говорил тысячи самых нежных и ласковых слов. Но я плохо понимал, что́ он говорит, так велико было душевное смятение, охватившее меня от избытка счастья. Наконец, моё волнение разрешилось слезами, после чего дар речи вернулся ко мне.

Тогда я обнял моего друга и освободителя, и мы радовались вместе.

Когда мы немного успокоились, капитан сказал мне, что привёз мне кое-что из корабельных запасов, которых ещё не успели расхитить негодяи, так долго хозяйничавшие на корабле. Вслед за тем он кликнул матросов, сидевших в шлюпке, и велел им выгрузить на берег тюки, предназначенные для меня. Их было столько, что можно было вообразить, будто я вовсе не собираюсь уезжать с капитаном, а остаюсь на острове до конца моих дней. Главное, мой друг позаботился снабдить меня одеждой. Он привёз мне полдюжины новёхоньких рубашек, шесть очень хороших шейных платков, две пары перчаток, шляпу, башмаки, чулки и отличную, почти не надёванную одежду, принадлежавшую самому капитану, словом, — одел меня с головы до ног.

Легко себе представить, как приятен был для меня этот подарок! Но до чего неуклюжий был у меня вид, когда я облёкся в новую одежду, и до чего мне было неловко и неудобно в ней первое время!

Закончив осмотр подарков, я велел отнести их в мою крепость, и мы стали совещаться, что нам делать с пленными. Вопрос был в том, не будет ли рискованным взять их с собой в плавание, особенно тех двоих, которых капитан считал отпетыми негодяями. По его словам, это были такие мерзавцы, что, если бы он и решился взять их на корабль, то не иначе, как на положении арестантов, то есть закованными в кандалы, с тем, чтобы отдать их в руки правосудия в первой же английской колонии, куда корабль зайдёт в пути. Словом, капитан был в большом смущении по этому поводу.

Тогда я предложил ему, не теряя времени, устроить так, что эти два молодца станут сами упрашивать нас оставить их на острове. «Пожалуйста, устройте, я буду очень рад», — отвечал мне капитан. «Хорошо, — сказал я. — Сейчас я пошлю за ними и обращусь к ним от вашего имени». Затем, позвав к себе Пятницу и тех двух заложников, которых мы уже освободили, я приказал им вывести пятерых пленников из пещеры и проводить на лесную дачу. Но я запретил развязывать им руки.

Спустя некоторое время я отправился на лесную дачу в своей новой одежде, на этот раз уже в роли самого правителя. Капитан сел подле меня; я велел привести к себе всех узников и сказал им, что все они — тягчайшие преступники в глазах сурового английского закона. Преступны, говорил я, их действия в отношении капитана, которого они лишили сво-



боды и хотели умертвить, преступен захват корабля, и всего более преступно их намерение использовать корабль для пиратства.

Я сообщил им, что, по моему приказу, корабль возвращён его командиру и приведён на рейд, а выбранный ими капитан получил заслуженное возмездие за свою измену; затем я спросил у них, что̀ они могут сказать мне в своё оправдание; если их доводы не убедят меня — я велю казнить их как пиратов, на что имею право по своему высокому званию.

Один из них ответил за всех, что им нечего сказать в своё оправдание, но напомнил, что, когда они сдались, капитан обещал им пощаду, и потому они смиренно умоляют меня оказать им великую милость — даровать им жизнь. На это я заявил им:

«Право не знаю, какую милость я вам могу оказать. Я решил покинуть этот остров со всеми моими людьми; мы уезжаем в Англию на корабле вашего капитана. Что же касается вас, то капитан говорит,

что взять вас с собой он может не иначе, как закованными в кандалы, с тем, чтобы, по прибытии в Англию, предать вас суду за измену и бунт. А вы сами знаете, что вам за это грозит виселица. Итак, едва ли мы окажем вам благодеяние, взяв вас с собой. Я могу посоветовать вам лишь одно — остаться на острове; постарайтесь прожить здесь, — только при этом условии я могу вас помиловать».

Они с радостью согласились на моё предложение и горячо благодарили меня, говоря, что, конечно, лучше жить в пустыне, нежели воротиться в Англию только затем, чтобы попасть на виселицу.

Капитан притворился, будто у него есть возражения против моего плана и он не решается оставить матросов здесь. Тогда я, в свою очередь, сделал вид, что рассердился на него. Я властным тоном сказал ему: «Они мои пленники, а не ваши. Я обещал помиловать их и сдержу своё слово, если же вы не находите возможным согласиться со мной, — я сейчас же выпущу их на свободу, и тогда ловите их сами, как знаете».

Пленники ещё раз горячо поблагодарили меня за заступничество, и таким образом дело было улажено. Я приказал развязать их и сказал им: «Теперь ступайте в лес на то место, где мы вас схватили, и ждите там моих распоряжений. Я прикажу оставить вам несколько ружей, пороху, провизии и дам необходимые указания на первое время. Вы можете отлично существовать здесь, если не будете сидеть сложа руки».

Вернувшись домой после этих переговоров, я начал собираться в дорогу. Впрочем, я предупредил капитана, что буду готов не раньше следующего утра, и попросил его отправиться на корабль без меня и готовиться к отплытию, а поутру прислать за мной шлюпку.

Когда капитан уехал, я велел позвать ко мне пятерых пленников и завёл с ними серьёзный разговор об их положении. Я повторил, что, по моему мнению, они поступают разумно, оставаясь на острове, так как, если они вернутся на родину, их непременно повесят.

Затем, заставив их ещё раз подтвердить, что они согласны остаться, я сказал, что ознакомлю их с историей моей жизни на острове, чтоб облегчить им первые шаги. Я подробно рассказал им, как я попал на остров, как построил жилище, как завёл коз, как собирал и сушил виноград, как возделывал поля, как научился печь хлеб. Я показал им



свои укрепления, свои поля и загоны, — словом, сделал всё от меня зависящее для того, чтобы они могли завести хозяйство и жить в достатке; не забыл и предупредить их о том, что в скором времени к ним должны приехать шестнадцать испанцев; я дал им письмо для ожидаемых гостей и взял с них слово, что они примут их в свою общину на равных с собою правах.

Я оставил им все своё оружие: семь мушкетов, три охотничьих ружья и три сабли, а также полтора бочонка пороху, которого у меня сохра-

нилось так много потому, что, за исключением двух первых лет, я почти не стрелял. Я подробно объяснил им, как ходить за козами, как их доить и откармливать, как делать масло и сыр, — словом, передал им весь опыт, накопленный за долгие трудные годы жизни на острове. В заключение я обещал им упросить капитана оставить им ещё два бочонка пороху и семян огородных овощей, которых мне так недоставало и которым я был бы так рад. Мешок с горохом, который капитан привёз мне в подарок, я тоже отдал им на хозяйство, посоветовав целиком употреблять его на посев.

Снабдив их этими наставлениями, я простился с ними и на другой день перебрался на корабль. Но как мы ни спешили с отплытием, а всё-таки не успели сняться с якоря в ту ночь. А на следующее утро, на рассвете, двое из пяти изгнанников подплыли к кораблю, поднялись на борт и, горько жалуясь на трёх своих товарищей, стали слёзно умолять нас взять их с собой, хотя бы потом их повесили, потому что, по их словам, им всё равно грозит смерть, если они останутся на острове.

В ответ на их просьбу капитан сказал, что он не может взять их без моего разрешения. Но в конце концов, заставив их дать торжественную клятву в том, что они исправятся и будут вести себя примерно, мы приняли их на корабль. После изрядной головомойки они стали весьма порядочными и смирными парнями.

Дождавшись прилива, капитан отправил на берег шлюпку с вещами, которые были обещаны поселенцам. К этим вещам, по моей просьбе, он присоединил их сундуки с вещами и одеждой, за что они были очень благодарны.

Покидая остров, я взял с собой на память сделанную мною собственноручно большую шапку из козьего меха, мой зонтик и одного из моих попугаев. Не забыл я взять и деньги, о которых уже упоминал раньше; но они так долго лежали у меня без употребления, что совсем потускнели и заржавели, и только после основательной чистки стали опять похожи на серебро; я взял также золотые монеты, найденные мною в обломках испанского корабля.

Я покинул остров 19 декабря 1686 года, прожив на нём двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней. После продолжительного морского путешествия я, в сопровождении верного моего Пятницы, прибыл в Англию 11 июня 1687 года, пробыв в отсутствии тридцать пять лет.

Так завершился длительный период моей жизни, полный случайностей и приключений, похожий на мозаику, подобранную с таким разнообразием материалов, какое редко встречается в этом мире; жизни, начавшейся безрассудно и кончившейся гораздо счастливее, чем на то можно было надеяться.



РОМАН ДАНИЭЛЯ ДЕФО «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

29 июля 1703 года в Лондоне с самого утра царило необычайное оживление. В этот день по приговору суда был подвергнут гражданской казни — выставлен у позорного столба на площади перед королевской биржей — известный английский памфлетист Даниэль Дефо.

Дефо осудили за сатирический памфлет, направленный против яростного религиозного фанатизма церковников. Суд приговорил писателя к уплате большого денежного штрафа. Кроме того, Дефо должен был быть троекратно выставлен у позорного столба и подвергнут заключению в тюрьме, «доколе будет угодно королеве».

Политические враги Дефо — могущественные церковники — требовали беспощадной расправы с сатириком. Они заранее представляли себе, как толпа будет осыпать оскорблениями и побоями выставленного у позорного столба писателя. В Лондоне бывали случаи, когда толпа насмерть забивала осуждённого во время гражданской казни, были и такие случаи, когда некоторые осуждённые, затравленные толпой, сходили с ума.

Но на тот раз враги Дефо просчитались. Народ Лондона увидел в осуждённом сатирике жертву политической реакции и взял его под свою защиту. Дефо стал на какой-то момент героем своего родного города, и день его гражданской казни оказался днём политического триумфа писателя.

Уже с утра у ворот Ньюгэйтской тюрьмы толпа встретила осуждённого цветами и приветственными кликами. У позорного столба ему устроили настоящую овацию. Толпа забрасывала его венками и букетами и распевала «Гимн позорному столбу» — сатирическое стихотворение, написанное Дефо в тюрьме незадолго до гражданской казни.

Этот эпизод биографии Даниэля Дефо непосредственно вводит нас в бурную политическую атмосферу английской истории начала XVIII века, с которой неразрывно связаны жизнь и творчество автора прославленного романа о Робинзоне Крузо.

Восемнадцатый век был эпохой превращения Англии в самую могущественную капиталистическую державу мира.

Буржуазная революция, совершавшаяся в Англии в середине XVII столетия, потрясла основы феодального строя и открыла широкие возможности для развития капитализма. Страх перед революционной активностью народных масс заставил буржуазию отказаться от решительной революционной ломки старого феодального общества и толкнул её на сговор с дворянством, которое втягивалось в процесс капиталистического развития.

В результате этого сговора между буржуазией и дворянством, совершённого без ведома и участия народа, произошёл государственный переворот 1688 года, отдавший английский престол ставленнику буржуазно-дворянских кругов Вильгельму Оранскому и поставивший у власти «наживал из землевладельцев и капиталистов»[1]. Так, уже в конце XVII века, по выражению Энгельса, «буржуазия стала скромной, но признанной частью господствующих классов Англии»[2]. По мере роста экономической мощи английского капитализма росло и политическое влияние буржуазии в стране.

Массовое ограбление, порабощение, жестокая эксплуатация капиталистами трудящихся людей Англии сопровождались кровавым насилием, разбоем, грабежом в колониях. «Новорожденный капитал источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят»[3], — говорил Маркс.

Колониальная система с её морской торговлей и ожесточёнными войнами способствовала развитию финансовых спекуляций, а учреждение в 1694 году Английского банка содействовало обогащению «новой банкократии, этой только что вылупившейся из яйца финансовой знати...»[4].

С середины XVIII века в Англии начинается невиданная по своему размаху промышленная революция, означавшая гигантский шаг вперёд по пути капиталистического развития страны. Промышленная революция принесла экономическое и политическое торжество классу капиталистов. Но самым важным общественным результатом промышленной революции было появление рабочего класса, которому история уготовила великую революционную роль могильщика буржуазии.

* * *

С конца XVII века в Англии распространяется широкое антифеодальное идеологическое движение, известное под названием Просвещения.

По своему общественно-историческому содержанию это движение было буржуазным. Оно являлось составной частью новой буржуазной надстройки и активно содействовало укреплению капиталистического строя.

Историческое национальное своеобразие английского Просвещения было обусловлено тем, что просветительское движение получило развитие уже после окончания буржуазной революции, в обстановке сговора между буржуазией и дворянством. Поэтому оно

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVII, стр. 792.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. II, стр. 298.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVII, стр. 831.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVII, стр. 792.

было лишено боевого наступательного революционного характера, столь свойственного, например, французскому Просвещению XVIII века. Английские просветители стремились закрепить завоевания буржуазной революции; в большинстве своём они выступали как защитники и апологеты капиталистической Англии.

Но было бы неправильным представлять себе развитие английского Просвещения без острой идейной борьбы. В эту эпоху буржуазия была ещё классом исторически прогрессивным. Буржуазные просветители боролись против старого, реакционного, уже изжившего себя паразитического и загнивающего феодального общества. В своей борьбе против старого мира наиболее передовые представители Просвещения поднимались подчас до выражения чувств, надежд и чаяний простого народа. Именно это придавало силу, энергию, горячую убеждённость их выступлениям.

В произведениях наиболее выдающихся английских просветителей нашла некоторое отражение и глубочайшая неудовлетворённость простых людей Англии результатами буржуазной революции, буржуазным обществом, которое принесло народу новую кабалу, страдания и муки.

С самого начала своего возникновения английское Просвещение не было единым, в нём действовали и сталкивались более левые — демократические — и более правые — консервативные — течения и элементы. На протяжении своей истории оно прошло через несколько этапов, характер и смена которых обусловлены процессом классовой борьбы и общественно-историческими изменениями, совершавшимися в жизни Англии.

Первый период английского Просвещения охватывает конец XVII и примерно первую треть XVIII века. Он является порождением и отражением английской общественной жизни накануне промышленного переворота. Англия уже твёрдо стояла в это время на пути капиталистического развития.

Политическая жизнь Англии начала XVIII века проходила под знаком борьбы за власть между двумя парламентскими партиями — тори, которые представляли в парламенте интересы крупного землевладения, и вигами, названными Марксом «аристократическими представителями буржуазии»[1].

В этой обстановке формировались взгляды ранних английских просветителей. Большинство из них не видело, а отчасти и не могло видеть противоречий этого общества, выраставшего из недр старого феодального строя, и представляло его себе в приукрашенном идеализированном виде. Поэтому просветители оказываются гораздо сильнее и последовательнее в антифеодальной критике, чем в своих положительных взглядах и идеалах.

Одним из крупнейших представителей раннего английского Просвещения является автор «Робинзона Крузо» Даниэль Дефо.

* * *

Дефо (1660—1731 гг.) прожил бурную, богатую приключениями жизнь, в которой ярко отразились характерные особенности английской действительности того времени

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. IX, стр. 6.

Сын зажиточного лондонского торговца, он с юношеских лет увлекался коммерческими делами и в 23 года стал купцом, открыв собственную торговлю в одном из наиболее оживлённых кварталов Сити. Дефо объездил почти всю Европу, торговал галантереей, вином, тканями, пускался в самые рискованные спекуляции, богател, разорялся и вновь богател.

На старости лет, вспоминая прожитую жизнь, Дефо сочинил двустишие в память своих многочисленных приключений:

Судеб таких изменчивых никто не испытал,
Тринадцать раз я был богат и снова бедным стал.

В годы своей молодости Дефо находился в оппозиции к господствующим феодально-монархическим кругам. В 1688 году он присоединился к высадившимся в Англии войскам Вильгельма Оранского и горячо приветствовал государственный переворот, укрепивший экономические и политические позиции буржуазии. С этой поры Дефо начинает активно участвовать в политической жизни страны.

В 1701 году он выступил со стихотворным памфлетом «Чистокровный англичанин», в котором защищал нового короля от нападок со стороны реакционных дворянских кругов и высмеивал английскую феодальную аристократию.

Памфлет имел огромный успех. Дефо призвали ко двору, и он стал одним из неофициальных советников и тайных агентов короля.

После смерти Вильгельма Оранского в стране вновь активизировались силы феодально-монархической и церковной реакции. В эту пору и произошло столкновение Дефо с церковниками по поводу его острого сатирического памфлета «Кратчайший способ расправы с диссидентами» (1702 год).

Но если политическим врагам Дефо, добившимся для него жестокого приговора о гражданской казни и тюремном заключении, не удалось расправиться с дерзким памфлетистом, то и Дефо не сумел надолго удержаться на той политической высоте, куда подняли его народное доверие и сочувствие.

Атмосфера политической безнравственности и беспринципности, столь характерная для английских парламентских нравов, развращённых упорным и мелочным соперничеством тори и вигов, сказалась и на Дефо. Он превратился в буржуазного политика, дельца и интригана, работавшего и на тори и на вигов, умело совмещавшего политику с коммерцией.

С первых лет нового, XVIII века Дефо обращается к журналистике и становится одним из выдающихся публицистов своего времени. Он был создателем первой крупной английской газеты «Обозрение», которую вёл единолично с 1704 по 1713 год.

Перу Дефо принадлежат многочисленные обширные статьи политического и экономического характера, сатирические памфлеты, научные трактаты и т. п. Большое место в его работах занимают проблемы развития и укрепления буржуазной экономики. В своём большом трактате «Опыт о проектах» (1698 г.) он выступил с предложением об организации государственного банка, сберегательных касс, страхования жизни и т. п. Целый ряд работ Дефо посвятил истории английской торговли. Кроме того, он написал несколько наставлений по коммерческим вопросам. Наибольшую известность

из этих трудов приобрели в своё время книги «Полный английский коммерсант» и трёхтомная «Поездка по Великобритании».

К художественному творчеству Дефо обратился уже в старости. Ему было под шестьдесят лет, когда вышел в свет его первый и лучший роман — роман о Робинзоне Крузо.

Первая часть «Робинзона» была опубликована в апреле 1719 года. Её встретил успех, превзошедший все ожидания автора На склоне лет он неожиданно для себя стал знаменитым писателем. Успех «Робинзона» был стимулом для издания второго тома романа, вышедшего в свет в августе того же, 1719 года.

С этого времени Дефо полностью отдаётся художественному творчеству. Он выпускает роман за романом, иногда по нескольку книг в течение одного года. К числу этих книг относятся «Мемуары кавалера», «Жизнь, приключения и пиратские похождения знаменитого капитана Сингльтона», «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс», «Дневник чумного года», «История весьма примечательной жизни и необычайных приключений полковника Джека» и др.

Наибольший интерес из них представляет роман о Молль Флендерс, описывающий жизнь лондонского «дна».

Но ни один из этих романов не мог завоевать такого успеха, какой выпал на долю «Робинзона», переведённого на все европейские языки, вызвавшего бесчисленные литературные подражания и ставшего одной из самых популярных в мире детских книг.

* * *

Роман Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» сыграл большую роль в развитии английской реалистической литературы эпохи Просвещения. Это был один из первых реалистических романов XVIII века, отразивший глубокие исторические сдвиги, совершавшиеся в английской действительности того времени.

Обстоятельно и серьёзно описывает Дефо в своём романе жизнь и приключения рядового англичанина, человека ничем особенно не замечательного, делового и энергичного представителя английской буржуазии конца XVII и начала XVIII столетия. Таков был новый герой английской литературы, выдвинутый самой жизнью в процессе классовой борьбы и исторического развития общества.

Этот обыкновенный английский буржуа показан Дефо как центральная фигура современной ему общественной жизни.

Робинзон Крузо — купец, плантатор, деловой человек — противопоставлен дворянскому обществу. Робинзон высмеивает дворянскую мораль, возмущается дворянским чванством и праздностью. Себя же и таких купцов, как он сам, Робинзон считает настоящими хозяевами жизни.

Обращение к новому герою во многом определяло новаторский характер романа Дефо. Этот герой потребовал создания нового типа романа — реалистического романа о жизни буржуазного общества. Предметом художественного изображения стали обыденные люди с их трезво-практическим отношением к действительности и денежными расчётами, их дела, занятия и интересы.

Сама форма повествования стала иной — подчёркнуто простой и безыскусственной, создающей впечатление правдивого рассказа о человеческой жизни. Даже удивительные приключения героев получили совершенно новую художественную окраску, — автор связал их с реальной действительностью, дал им трезвое житейское объяснение и оценку и окружил их той атмосферой простоты и естественности, которая составляет характерную особенность произведения Дефо.

Маркс и Энгельс неоднократно обращались к образу Робинзона и использовали его в своих трудах как классический пример типичного английского буржуа. Маркс иронически отмечает, что, даже попав на необитаемый остров, Робинзон остаётся верным своей буржуазной природе — «...наш Робинзон, спасший от кораблекрушения часы, гроссбух, чернила и перо, тотчас же, как истый англичанин, начинает вести учёт самому себе»[1]. Во взглядах и понятиях Робинзона, в его отношении к жизни, даже в его необычайных приключениях, отразились существенные особенности поднимавшегося тогда буржуазного класса.

Робинзон уже не удовлетворяется узкими горизонтами патриархального быта своей семьи. Его привлекает жизнь, полная приключений и опасностей. Ещё совсем молодым человеком он уходит от родителей и отправляется в плавание. Очень скоро под влиянием окружающей среды его юношеские мечты о дальних странах и далёких морских путешествиях приобретают вполне практическое и прозаическое направление. Он становится купцом и мечтает нажить себе состояние на торговле с туземцами. Перед героем раскрываются широкие и разнообразные возможности обогащения — морская торговля сулит ему огромные прибыли, плантация, купленная им в Бразилии, обещает сделать его богатым человеком. В своё первое дальнее путешествие к берегам Гвинеи он везёт с собой товары для торговли с туземцами и возвращается из поездки с круглой суммой в 300 фунтов стерлингов чистой прибыли.

В каждом новом деле, за которое он берётся, Робинзон проявляет смелость, уверенность в себе, практическую смётку и уменье приспособиться к условиям, в которые ставит его жизнь. Эта жизненная цепкость Робинзона является одной из наиболее важных особенностей его характера. Автор твёрдо уверен, что его герой нигде не пропадёт Впервые в жизни занявшись морской торговлей, Робинзон возвращается из первой же поездки с большими барышами. Взявшись за разведение сахарного тростника, он быстро добивается повышения доходности своей плантации.

Автор проводит своего героя через самые различные препятствия и опасности.

Каждое новое испытание, из которого Робинзон благодаря своему упорству, энергии и решительности выходит, в конечном счёте, победителем, ещё раз подтверждает замечательную жизнеспособность героя.

Но этот деятельный, энергичный, волевой герой очень далёк от народа, — это человек буржуазного общества. Дефо правдиво показывает, при всей своей симпатии к герою, его эгоизм и чёрствость, его равнодушие к общественным вопросам и поглощённость узко личными материальными интересами.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVII, стр. 86.

Круг друзей и знакомых Робинзона состоит почти исключительно из купцов и плантаторов. Дефо изображает их людьми деловыми и узко практическими. Все их интересы и разговоры сосредоточены на вопросе получения прибылей. Даже личные дружеские связи Робинзона раскрываются в романе преимущественно в плане денежных расчётов и отношений. Друзья помогают Робинзону выгодно поместить свои деньги, дают советы о покупке товаров, помогают продать товары наиболее выгодным образом, а Робинзон благодарит их за дружбу денежными подарками. О других проявлениях дружеских чувств в романе обычно не говорится. Даже отношение Робинзона к самым близким и преданным ему друзьям — вдове английского капитана и португальскому капитану — охарактеризованы только в одном этом плане.

Торговля, денежные расчёты и соображения составляли реальное содержание жизни Робинзона до того, как он попал на необитаемый остров.

Дефо постоянно указывает время или даже точные даты описываемых событий. Это создаёт впечатление правдивости его рассказа. Читатель точно знает, когда родился Робинзон, когда он впервые сел на корабль, когда он уехал из Бразилии, потерпел кораблекрушение и попал на необитаемый остров. Это был важный период в английской истории — период буржуазной революции, республики и феодальной реставрации. Каждая дата, указанная в романе, была полна для писателя самыми жгучими политическими впечатлениями и переживаниями. Но в жизни, интересах, размышлениях Робинзона политические события его времени не нашли никакого отражения. Так складывался новый тип буржуазного героя английской просветительской литературы XVIII века — частного человека с его замкнутой, обособленной жизнью. По мере того как буржуазия постепенно утрачивала свою революционную роль представителя широких демократических кругов, постепенно мельчал и герой буржуазной литературы.

На заре буржуазного капиталистического развития, в эпоху Возрождения, типическими представителями эпохи, в которых наиболее глубоко раскрывалась её социально-историческая сущность, были выдающиеся люди того времени — титаны «по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учёности» [1]. Лучшие черты этих титанических личностей нашли отражение в образах героев выдающихся произведений литературы эпохи Возрождения.

Самой важной и характерной чертой людей эпохи Возрождения, по мнению Энгельса, было то, «что они почти все живут всеми интересами своего времени, принимают участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии, и борются кто словам и пером, кто мечом, а кто и тем и другим. Отсюда та полнота и сила характера, которая делает из них цельных людей» [2].

Но в XVIII веке английское общество, английская буржуазия стали иными. Охваченная жаждой наживы, буржуазия стремилась охранить себя от революционной активности обманутого и ограбленного ею народа и с этой целью пошла на сговор с дворянством.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 476.

[2] Там же.

В этих условиях происходит формирование буржуазных нравов и складывается характер английского буржуа. Как на типические черты буржуазных нравов, особенно остро проявившиеся именно в Англии, Энгельс указывает на жестокое равнодушие и бесчувственное сосредоточение каждого человека исключительно на своих частных интересах, «...эта обособленность каждого, этот ограниченный эгоизм есть основной принцип нашего современного общества...» [1], — говорит Энгельс, описывая капиталистический Лондон.

В свете этого исторического процесса становится понятным появление нового героя, наиболее характерным и ярким воплощением которого является Робинзон Крузо.

* * *

Идейным и художественным ядром романа является рассказ о пребывании Робинзона на необитаемом острове. Именно эта часть романа определила огромный успех произведения Даниэля Дефо и его особенную популярность у молодых читателей.

История Робинзона на острове не была полностью вымышленной. За несколько лет до того как был написан роман Дефо, лондонское общество с живейшим интересом обсуждало удивительные приключения шотландца Александра Селькирка. Селькирк служил матросом на корабле, совершавшем рейс по Тихому океану. Поссорившись с Селькирком, капитан корабля приказал высадить непокорного матроса на один из необитаемых островов у берегов Чили. Через четыре года проходивший мимо острова английский корабль подобрал Селькирка. За это время матрос совершенно одичал, даже почти разучился говорить.

История Селькирка была описана в книге «Путешествие вокруг света от 1708 до 1711 г.» мореплавателя Вудса Роджерса — того самого, чей корабль подобрал матроса на диком острове Хуан-Фернандес. Есть основания полагать, что именно отсюда Дефо почерпнул сюжет своего «Робинзона». Однако между действительной судьбой матроса, попавшего на безлюдный остров Хуан-Фернандес, и вымышленной историей Робинзона Крузо на необитаемом острове против устья реки Ориноко — огромная разница, которая сразу же бросается в глаза: вместо того, чтобы одичать и почти потерять человеческий облик, как это произошло с шотландцем Селькирком, Робинзон закладывает на острове основы буржуазной цивилизации.

Такое разрешение судьбы Робинзона на необитаемом острове было связано с идейным замыслом романа Дефо. Буржуазный просветитель Дефо был горячим сторонником и защитником буржуазного строя.

Как и многие просветители XVIII века, Дефо считал, что буржуазные отношения являются нормальными, естественными отношениями, соответствующими человеческой природе. Поэтому человек буржуазного общества представлялся ему неиспорченным, как тогда говорили «естественным», человеком.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. III, стр. 321.

Исходя из ошибочного взгляда на человеческую природу и историю общества, просветители утверждали, что буржуазный человек не сформировался в процессе исторического развития, а был будто бы создан самой природой, и уже таким мы его встречаем в далёком прошлом у истоков человеческой цивилизации. Подобная точка зрения была антинаучной, антиисторической. Рассуждая таким образом, просветители, по существу, пытались поставить историю с ног на голову. В действительности же этот человек XVIII века являлся результатом длительного исторического развития, продуктом «с одной стороны, разложения феодальных общественных форм, а с другой — развившихся с XVI века новых производительных сил...» [1].

Характерной антиисторической ошибкой просветительской мысли XVIII века, объявившей буржуазного индивида идеальным «естественным» человеком, было представление о том, что исходной точкой человеческой истории является не общество, а единичная обособленная личность. «Единичный и обособленный охотник и рыболов, с которых начинают Смит и Рикардо, принадлежат к лишённым фантазии выдумкам XVIII века» [2], — писал Маркс.

Эти антиисторические просветительские теории — «выдумки XVIII века» — получили у Маркса характерное ироническое прозвище «робинзонад», которое непосредственно восходит к роману Дефо о Робинзоне Крузо.

Роман Дефо был задуман автором не просто как увлекательное авантюрное произведение, но и как книга с серьёзным просветительским историко-философским замыслом. Роман о Робинзоне был идейным оружием в борьбе, которую вели просветители за окончательное торжество буржуазного строя, и в нём отразились характерные особенности просветительской философской мысли начала XVIII века.

Оставив Робинзона на необитаемом острове, Дефо хотел заставить своего героя как бы заново пережить человеческую историю, от первобытного общества до буржуазной цивилизации, но вся эта огромная многовековая история должна была теперь уместиться в пределах одной человеческой жизни.

Попав на остров, Робинзон оказывается, как это думает Дефо, в положении первобытного человека. Сначала он живёт охотой и рыболовством, потом начинает приручать и разводить диких коз, обращается к земледелию, овладевает различными ремёслами. Его хозяйство разрастается, он стремится получить всё большее количество жизненных благ, освободить себя от наиболее тяжёлой физической работы. У него появляется раб — Пятница. «Робинзон именно затем и поработил Пятницу, чтобы заставлять его работать в свою пользу» [3], — указывает Энгельс.

Так, постепенно, на маленьком, затерявшемся в океане безлюдном острове Робинзон, по замыслу автора, должен был повторить основные этапы истории человеческой культуры и заложить основы буржуазной цивилизации, — т. е. прийти к тем же результатам, к которым до него пришло человеческое общество и которые Дефо считал высшими, окончательными итогами человеческого развития.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XII, ч. I, стр. 173.

[2] Там же.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 162.

История Робинзона на необитаемом острове, повторившая, как казалось Дефо, основные этапы мировой истории, должна была, по замыслу писателя, продемонстрировать, что буржуазная цивилизация является будто бы прямым и необходимым следствием «естественного» развития человека и его борьбы за своё существование.

Историю Робинзона на острове Дефо построил так же, как представляли себе человеческую историю буржуазные философы и политэкономы XVIII века, т. е. у истоков истории он поставил не общество, которое производит материальные ценности и творит историю, а оторванного от общества, отдельно взятого человека, одинокого охотника и рыболова. Однако Дефо как будто не замечает, что его герой совершенно не похож на первобытного человека. Это потерпевший кораблекрушение английский купец, настоящий буржуа, как называет его Энгельс, вооружённый опытом многовековой истории человечества. Непосредственным материальным воплощением этого опыта является оружие, которое ему удалось достать с разбитого корабля, порох, топоры, гвозди и прочее, вплоть до семян ячменя и риса. Поэтому Робинзону не пришлось двигаться вперёд по неизведанным путям истории и прокладывать человечеству новые дороги.

Однако это противоречие между реальным характером образа Робинзона и содержанием его деятельности на острове с общим идейным замыслом производства совершенно не смущает Дефо. Согласно его просветительским взглядам, Робинзон, как член буржуазного общества, является «естественным» человеком, и поэтому между ним и тем одиноким первобытным охотником или рыболовом, с воображаемой фигуры которого просветители начинали общественную историю, нет принципиального различия.

* * *

В продолжение двух с лишним веков роман Дефо о Робинзоне Крузо окружён ореолом немеркнущей литературной славы. Он прочно вошёл в ряды любимых детских книг.

Многое из того, что связывало этот роман с идейным движением его эпохи, в течение веков потеряло свою актуальность и представляет сейчас только исторический и историко-литературный интерес. Однако роман выдержал испытание временем, так как основная, самая главная его идея, наиболее ярко раскрытая в художественных образах книги, оказалась гораздо долговечнее буржуазно-просветительских иллюзий и заблуждений писателя. Эта идея, определившая общий прогрессивный гуманистический характер романа о Робинзоне, заключается в том, что основой жизни человека и всей человеческой истории является труд.

В ту пору, когда Дефо создавал своего «Робинзона», английская буржуазия была ещё исторически прогрессивным классом, носителем новых, передовых для того времени капиталистических производственных отношений. Буржуазные просветители, бывшие тогда представителями передовой общественной мысли, почитали себя защитниками интересов не только буржуазного класса, но и широких народных масс, — и в некоторой, хотя и ограниченной степени были таковыми.

В своих лучших произведениях просветители, критикуя пороки феодального строя, выдвигали и отстаивали демократические и гуманистические идеалы. Характерной чертой просветительской философии была глубокая вера в человека, во всемогущество человеческого разума.

Роман Дефо, тесно связанный с ранним английским Просвещением, был проникнут передовыми гуманистическими идеалами своего времени. История пребывания Робинзона на острове раскрывает перед читателем могущество человека, покоряющего природу. Потерпев кораблекрушение, герой Дефо попадает на необитаемый остров. Рядом с Робинзоном нет ни души. Неведомые опасности подстерегают его со всех сторон. В этих необычайных обстоятельствах Робинзон может положиться только на самого себя. Ясный разум, практическая смётка и неутомимое трудолюбие приходят ему на помощь. Писатель показывает нам, на примере своего героя, какие необъятные возможности заключает в себе человеческий труд.

С полузатонувшего корабля Робинзону удаётся спасти целый ряд необычайно важных и ценных для него вещей и доставить их к берегу на самодельном плоту, который Робинзон сам построил из запасных корабельных мачт. Каждый предмет, попавший в его распоряжение, напоминает Робинзону о неутомимой работе человеческого разума и помогает ему в борьбе с природой.

Писатель неоднократно подчёркивает, что изо всех многочисленных и разнообразных вещей, которые удалось спасти Робинзону с корабля, совершенно бесполезным для него оказалось только золото — деньги, которые в буржуазном обществе казались ему самой большой ценностью. «Ненужный хлам, — говорит Робинзон о золотых монетах. — Зачем ты мне теперь? Ты не стоишь и того, чтобы я нагнулся и поднял тебя с полу».

Писатель во всех подробностях описывает трудовую жизнь своего героя на острове. Труд Робинзона имеет созидательный характер, и именно это придаёт подробному описанию его трудовой деятельности необычайную увлекательность и поэтичность.

Робинзон начинает строить себе жилище, и писатель подробно рассказывает, с какими трудностями столкнулся его герой, какой выход он нашёл из этих трудностей и как, в конечном счёте, преодолел их.

Робинзону нужно рыть пещеру в скале, но у него нет лопаты. Он начинает ломать себе голову, — как быть? После долгих поисков ему удаётся найти в лесу дерево необыкновенной твёрдости, и Робинзон принимается делать из него лопату. Затем Робинзону надо приладить точило к колесу с ремнём, чтобы точить топоры, и этот как будто бы совершенно прозаический эпизод тоже оказывается очень увлекательным, потому что героем его является человек, охваченный творческими исканиями.

«Вероятно, ни один государственный муж, ломая себе голову над важным политическим вопросом, — говорит Робинзон, — и ни один судья, решая, казнить ли человека или помиловать, не тратил столько умственной энергии, сколько потратил я на разрешение этой задачи».

Рассказ о том, как Робинзон стал сеять ячмень и рис, как он научился плести корзины, как он сам стал изготовлять глиняную посуду, — это подлинный гимн

неутомимому творческому труду. Робинзон ищет, изобретает, работает не покладая рук, и труд его творит чудеса.

Люди, позднее попавшие на остров, были поражены тем, что сумел сделать Робинзон. Но труд не только стал источником его материального благополучия, обеспечив ему кров, одежду, пропитание. Трудовая жизнь не позволила ему опуститься и одичать.

Это глубокое уважение к человеческому труду, пронизывающее всю историю приключений Робинзона на необитаемом острове, изображение труда как основы жизни, определяет художественное и воспитательное значение романа Дефо.

Реакционное буржуазное литературоведение многократно пыталось исказить действительный смысл произведения Дефо, скрыть его гуманистическую направленность, использовать роман в своих идеологических целях.

Однако буржуазным фальсификаторам не удалось обмануть широкие читательские массы.

Как произведение, прославляющее разум человека и его труд, роман о Робинзоне вошёл в сокровищницу мировой классической литературы. Реакционная английская буржуазия, выбросившая за борт знамя буржуазно-демократических свобод, продавшая интересы нации и предавшая свой народ, давно уже утратила права наследия на национальные культурные ценности. Как и другие создания национального гения, знаменитый роман о приключениях Робинзона на маленьком безлюдном острове, затерявшемся в Атлантическом океане, является законным наследием всего прогрессивного человечества.

Т. Вановская.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Редактор *В. Жиженко*
Техредактор *В. Вариончик*
Корректор *Р Метелица*

АТ 03312. Сдано в набор 14/IX 1953 г.
Подписано в печать 7 I 1954 г. Тираж 75 000 экз.
Бумага 70×92¹/₁₆. Бум. л. 7,75. Печ. л. 18,1.
Уч.-изд. л. 15,35. Авт л. 15,10. 33 870 зн. в печ. л.
Цена 6 руб. 10 коп. Зак 614.

Типография имени Сталина, Минск,
проспект имени Сталина, 105.

Цена 6 руб. 10 коп.